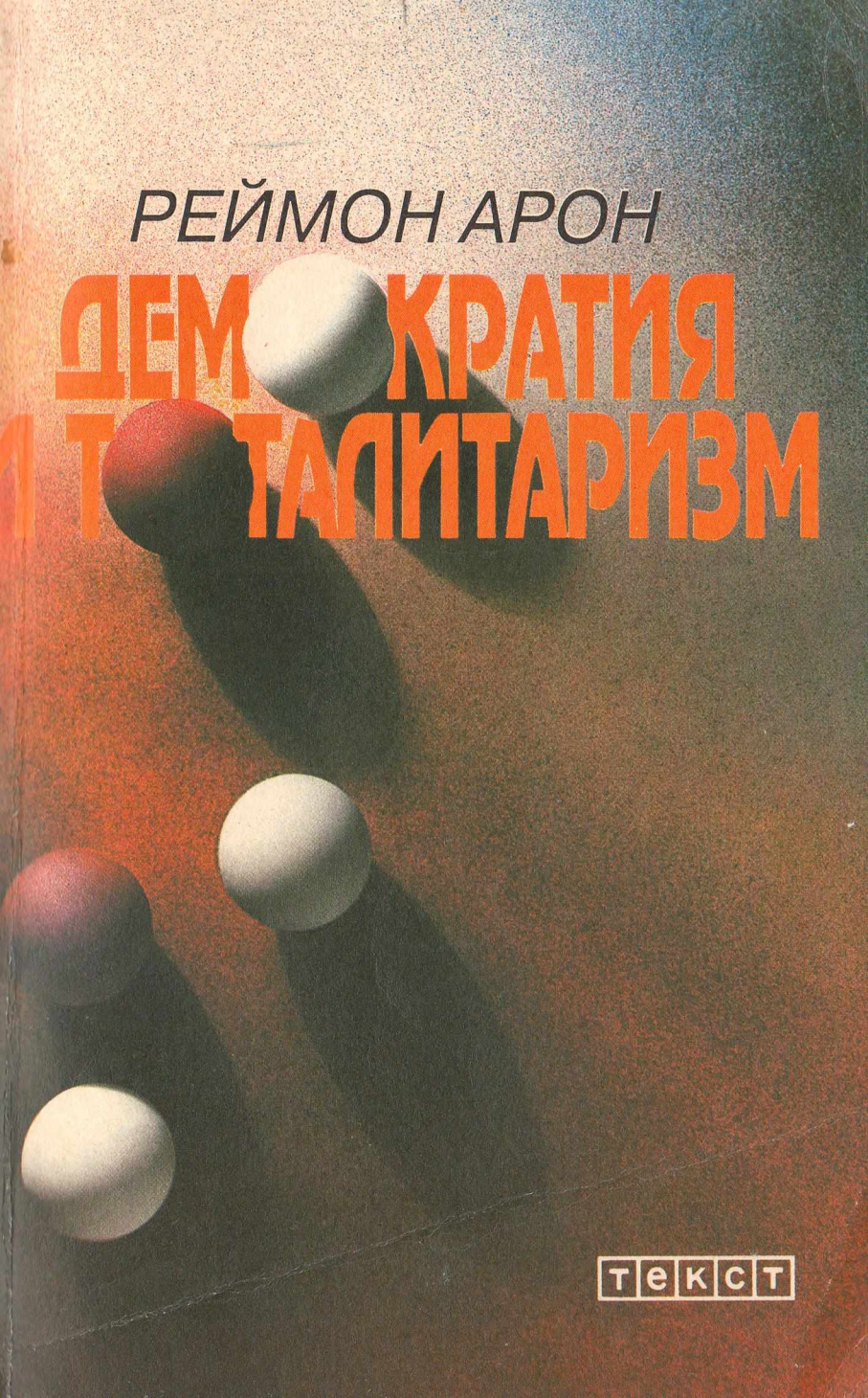
РЕЙМОН АРОН

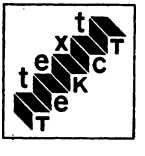
ДЕМОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ



ТЕКСТ

Raymond Aron

Démocratie et totalitarisme



Издание осуществлено
при содействии
Министерства иностранных дел
Французской Республики
и при поддержке Отдела культуры,
науки и техники
Посольства Французской Республики
в России

РЕЙМОН АРОН

ДЕМОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Перевод с французского Г.И.Семенова

МОСКВА ТЕКСТ 1993

ББК 66.2(0)
А 84

Художник Владимир Кузнецов

ISBN 5-87106-073-0

© Editions Gallimard, 1965
© «Текст», 1993

Режимы, которые мы выбираем

Почему Арон? Почему мы сочли нужным представить нашим читателям научный труд более чем четвертьвековой давности? Почему из огромного числа социологических, политологических исследований было выбрано именно это?

Всемирно известная работа знаменитого французского ученого долгое время была у нас под строжайшим запретом. Получить ее в спецхране стоило больших трудов, и даже ученым и исследователям (отечественным, разумеется) она часто бывала известна лишь в пересказе и цитатах. Ввести в научный и культурный обиход одну из самых известных социологических книг второй половины века — дело, конечно, нужное и благородное. Но не это соображение повлияло на наш выбор.

Книга Арона — не легкое публицистическое чтиво из числа тех, что в обилии появились в последнее время на русском языке. Это серьезнейшее научное исследование о государственных режимах XX века. Читать ее нелегко — как любой научный труд, тем более что автор свободно оперирует историческими реалиями, философскими и литературными цитатами, не всегда нам знакомыми и с ходу понятными, вводит зачастую свою собственную терминологию, к которой надо привыкать, излагает мысли тяжелым, подчас несколько занудным и — на первый взгляд — заумным языком. Хотя, наверное, видный ученый не обязан излагать свои мысли гладким, чуть ли не художественным слогом. И надо помнить, что эта работа — цикл лекций, изданных в том виде, в каком они были прочитаны, практически без последующей обработки. Отсюда — частые повторы, а порой, напротив, известная схематичность изложения. Иногда, ради доказательства главного, автор не обращает внимания на мелочи (так, Хрущева и Гомулку он упорно называет генеральными, а не первыми, как надо бы, секретарями). Однако не только научная значимость и широкая масштабность труда определили наш выбор.

Мы пошли на нелегкий труд перевести книгу Р. Арона, потому что она показалась нам необычайно актуальной сегодня, когда наше общество вплотную подошло к черте, за которой альтернатива: демократия или тоталитаризм. Р. Арон ни в коем случае не подсказывает выбор — он предоставляет его читателю. Он безжалостно препарирует режимы Запада и Востока, Европы и Америки. Бесстрастно вскрывает недостатки и показывает преимущества тех и иных государственных устройств. В своей книге Арон зачастую не раскрывает авторства приведенных цитат — рассчитывая, что эрудированный читатель их узнает и без подсказки. Точно так же не дает он и рекомендаций, считая, очевидно, что читатель-единомышленник сделает выводы сам.

Сейчас, когда положение у нас в стране на редкость тяжелое, когда многим так хочется иногда помянуть добрым словом псевдопокой и псевдоизобилие недавнего прошлого, когда все чаще раздаются призывы «навести порядок», когда от имени народа ведется человеконенавистническая пропаганда, а над свободой слова и печати снова заносится серп и молот красно-коричневых, мы надеемся, что не останется не услышанным трезвый голос Реймона Арона, его внешне бесстрастный, но на самом деле тревожный вопрос: так что же вы выбираете? Демократию или тоталитаризм?

«Текст»

ВВЕДЕНИЕ

Этот том, впервые вышедший в Центре университетской документации под названием более точным, но более длинным: «Социология индустриальных обществ; набросок теории политических режимов», завершает цикл, в который вошли также «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе» и «Классовая борьба», выпущенные Центром университетской документации в книге «Развитие индустриального общества и социальная стратификация». Хотя каждая из книг представляет собой завершенный труд и ее можно читать отдельно, лишь вся трилогия целиком позволяет вскрыть истинный смысл проведенного исследования.

Включенные в этот том девятнадцать лекций прочитаны в Сорбонне в 1957—1958 учебном году. Поэтому не лишне повторить строки из предисловия к «Восемнадцати лекциям об индустриальном обществе»: «Настоящий курс — этап исследования, пособие для учащихся — предлагает определенный метод, включает в себя наброски взглядов автора, излагает некоторые факты и мысли и потому несет — не может не нести — отпечаток учебного процесса, импровизации. Лекции заранее не были написаны. Вот почему здесь сохранен стиль живой речи, с его неизбежными недостатками, которые последующие поправки могут лишь смягчить, но не устранить полностью».

Чтобы правильно понять некоторые лекции, в частности одиннадцатую, «Разложение французского режима», а в особенности — последнюю, девятнадцатую, прочитанную во второй половине мая, после событий 13 мая и накануне прихода к власти генерала де Голля, читателю не следует забывать, в каком году читался этот курс. Естественно, что рассуждения о французском режиме, то есть о режиме IV Республики, сегодня уже утратили актуальность. Остается чисто ретроспективный интерес, как к режиму Веймарской республики. Но

это вовсе не означает, что исследование утратило свое значение. Напротив, его важность в историческом плане возросла, быть может, настолько, насколько снизилась политическая или публицистическая актуальность. Переход от IV к V Республике ярко иллюстрирует конец разложившейся демократии; эта трансформация стала столь же хрестоматийной, как превращение Веймарской республики в Третий рейх. Но первый пример — в чем-то обнадеживающая иллюстрация, в то время как веймарский пример внушал ужас.

В обоих случаях налицо государственный переворот — в рамках закона или полузаконный. Гитлера призвал на пост канцлера президент Гинденбург, а де Голль, на которого пал выбор Рене Коти, получил инвеституру на самых законных основаниях от Национального собрания. Однако голосование в последнем случае лишь выглядело свободным: договору предшествовал заговор. Историки все еще спорят о роли самого де Голля в алжирских событиях. Нельзя утверждать, что только он один мечтал о бунте армии и алжирских французов и готовил бунт. Но начиная с переданного прессе 15 мая заявления, когда восстание в алжирской столице вроде бы и началось, но никто не решался еще перейти Рубикон, именно он твердо руководил событиями, чтобы выглядеть если не спасителем, то хотя бы третейским судьей в глазах всех активных политических деятелей IV Республики. Эти деятели сознавали, что утратят власть, едва она вновь окажется в руках отшельника из Коломбе*, и что они потеряют не только власть, если будет до конца доведена операция, получившая название «Воскресение». Франция вновь показала, что в совершенстве владеет «искусством государственных переворотов в рамках закона», если воспользоваться формулировкой из девятнадцатой лекции. Голосование, прошедшее в Национальном собрании в июне 1958 года, было вынужденным —как и в Виши в июле 1940 года. Над «Домом без окон» Бурбонского дворца, как и

---

* Коломбе-ле-дез-Эглиз — родовое имение Шарля де Голля. (Здесь и далее примечания редактора. Авторские примечания выделены курсивом.)

за восемнадцать лет до того над Казино в Виши, нависла тень преторианцев. В XX веке у республики депутатов нет мучеников, подобных Бодену, жертве осуществленного Луи-Наполеоном откровенного государственного переворота.

Как ни оценивай переход от одной республики к другой в мае — июне 1958 года и роль генерала де Голля, едва ли можно оспорить то обстоятельство — и наш курс свидетельствует об этом,— что и деятели IV Республики, и политические наблюдатели в 1957—1958 годах ощущали кризис режима. Кризис был связан с тем, что мучительная проблема Алжира, в то время еще называвшегося французским, сочеталась со слабостью режима, который утратил право на уважение. Если современный историк захочет (в меру беспристрастно — с той поры утекло немало времени) дать оценку IV Республике в целом, ее положение будет выглядеть не столь катастрофическим, каким казалось еще восемь лет назад. Несмотря на инфляцию, успешно модернизировалась экономика. Адаптация к мировой конъюнктуре, примирение с Германией (с Федеративной Республикой), пул «уголь-сталь» — все это вполне ощутимые результаты. Был уже подписан Римский договор. IV Республике, чтобы соответствовать требованиям века, оставалось преодолеть всего лишь два препятствия. Во-первых, покончить с министерской чехардой, делавшей «страну законности» посмешищем в глазах остального мира, хотя последствия этой чехарды не были столь трагичными, какими они рисовались французам с их традиционным неприятием парламентаризма. А во-вторых — разрешить конфликт в Алжире и пойти на деколонизацию, которая диктовалась и духом времени, и антиколониальной политикой обеих великих держав, и ослаблением Франции после второй мировой войны.

Оба эти препятствия казались непреодолимыми. И генерал де Голль никогда бы не поддержал деколонизацию, если бы заслуга принадлежала не ему, а кому-то иному. Это был не пожилой государственный муж, озабоченный лишь тем, чтобы наставить страну на путь истинный, а политический деятель, стремящийся добиться того единственного

поста, который он считал достойным себя,— поста верховного вождя, олицетворения закона. Что бы там ни говорили, республике депутатов перестроиться было бы затруднительно. Исторические и социальные обстоятельства, с которыми обычно связывают функционирование IV Республики, весьма многообразны. Начиная с 1789 г., во Франции не было ни одного режима, который не подвергался нападкам, при котором партии были бы немногочисленными и хорошо организованными. Не было пусть неписаных, но соблюдавшихся этических правил парламентаризма, не было устойчивых правительств в условиях парламентского строя. Наконец за два столетия не найти ни единого случая, когда какой-либо режим во Франции был в состоянии реформироваться собственными силами.

Для IV Республики преодолеть эти препятствия было нереально уже из-за состава последнего Национального собрания, а также противодействия сторонников де Голля. Сам генерал хранил таинственное молчание; каждый, кто приезжал в Коломбе, возвращался с ощущением, что де Голль разделяет его чувства. Правда, либералы были в этом убеждены больше, чем крайне правые, рассчитывавшие, впрочем, что правительство сумеет заставить бывшего главу «Сражающейся Франции»* следовать девизу, за который он боролся в ходе войны: сохранить каждую пядь территорий, над которыми прежде развевался трехцветный флаг. Тем временем «ультра» голлистского толка продолжали поносить французов, посмевших выступать за политический курс, которому несколько лет спустя было суждено стать предметом национальной гордости.

Таким образом, тот, кого восемь лет назад я называл спасителем в рамках законности, стал наследником разложившейся республики (и сам как мог содействовал этому разложению), сыграв, как я это предвидел в девятнадцатой лекции, роль диктатора (в древнеримском значении слова) и законода-

---

* «Сражающаяся Франция» (до 1942 г.— «Свободная Франция») — основанное де Голлем в 1940 г. патриотическое движение, примкнувшее к антигитлеровской коалиции.

теля. Навязанное им решение алжирского кризиса подтверждает вытекающую из моих лекций точку зрения: французы ошибочно возлагали на свой режим ответственность за утрату империи, или за деколонизацию, которая под сокрушительным воздействием сил мирового масштаба стала необходимостью. На самом же деле совершенно справедливо утверждалось, что IV Республика могла скорее не сохранить, а потерять Алжир. Франция нуждалась в сильном правительстве, чтобы возвыситься до героизма отречения. Призрак генерала и его соратники мешали правителям IV Республики делать то, что большинству из них представлялось необходимым и желательным. Лишь немногие трагические фигуры — такие как Жорж Бидо* — оставались до конца, вплоть до изгнания или тюрьмы, верными самим себе, а может быть, и образу генерала де Голля. Не могу не испытывать симпатии к тем, кто, в отличие от ортодоксальных голлистов, поставил верность своим взглядам выше неукоснительной приверженности одному человеку.

Если содержащийся в этих лекциях анализ подтверждается деятельностью диктатора, можно ли сказать то же самое о деятельности законодателя? Наши рассуждения в одиннадцатой лекции основаны на предположительной оценке того, как могло развиваться политическое положение IV Республики. В них нет ничего о возможности революции, даже мирной революции, более или менее укладывающейся в рамки закона. V Республику не отнесешь ни к одному из классических режимов, о которых толкуют политологи: это не парламентское правление (чистейшим образцом которого служит Великобритания) и не правление президентское (наиболее частый пример — США); это возвращение парламентской империи — избираемый на семь лет на основе всеобщего избирательного права император обладает прерогативами главы исполнительной власти и чрезвычайно свободно прибегает к референдумам.

---

* Бидо Жорж (1899—1983) — премьер-министр Франции в 1946 г. и 1949—1950 гг. Участник Движения Сопротивления. В 1961 г. стал членом ОАС, в 1962 г. бежал из Франции. Амнистирован в 1968 г.

Действующий с 1958 года режим по сути своей голлистский. Он в большей степени определяется личностью главы государства, чем текстом Конституции. Пока генерал де Голль пребывает в Елисейском дворце, ни у кого нет ни малейших сомнений, как распределяется власть между президентом и премьер-министром. Именно усилия де Голля определили результат парламентских выборов 1962 года, когда парламентское большинство составили депутаты ЮНР* и независимые, выступавшие за сотрудничество с ЮНР. В иных случаях возможно соперничество между обеими главами исполнительной власти и столкновения точек зрения парламентского большинства и президента Республики. Таким образом, было бы неосторожно утверждать, будто Конституция 1958 года, с которой столь бесцеремонно обращается сам ее создатель, способна покончить с политико-конституционными авантюрами Франции. Возврат к утехам и забавам III и IV Республик мне представляется совершенно невозможным. Какие бы изменения ни суждено было претерпеть Конституции V Республики после генерала де Голля, она предоставляет исполнительной власти такое поле действий, что в течение еще долгого времени едва ли мыслимо воскрешение республики депутатов. Согласно распространенному мнению, для развития индустриального общества необходимы упадок влияния парламента и укрепление власти правительства и администрации. Говоря языком Гегеля, хитрость разума, использовав, очевидно, страсти тех, кто ратовал за французский Алжир, вызвала революцию, которой «исторический герой» в свою очередь воспользовался для того, чтобы установить во Франции строй, отвечающий нуждам современной цивилизации.

Такое толкование не исключает другого, которое я назвал бы «принципом маятника». На смену республике депутатов, когда глава исполнительной власти, о котором граждане зачастую не имеют почти никакого представления, получает свой пост в результате скрытого соперничества между партиями

---

* Союз за новую республику — партия, основанная в 1958 г. сторонниками де Голля.

и интриг ведущих политических деятелей, еще раз пришла республика консульская. В центре ее — один-единственный человек, который своим могуществом превосходит любых королей. Его легитимность основана на волеизъявлении народа, даже если это волеизъявление сделано не на выборах, а на референдуме. Очевидно, с исторической точки зрения V Республика представляет собой III Империю, либеральную и парламентскую с первых же шагов,— впрочем, и сейчас, восемь лет спустя, попрежнему недостаточно парламентскую (быть может, даже менее парламентскую в 1965 г., чем в 1959 г.).

Оба толкования — назовем их для простоты социологическим и историческим — выявляют две стороны политической обстановки во Франции. Можно сказать, что теперешний режим повторяет опыт прежних времен,— но с оговорками, обусловленными определенной личностью; можно также сказать, что этот режим знаменует начало нового этапа. Нынешняя Конституция открывает возможности для весьма различных приемов политической борьбы — в зависимости от того, как складываются отношения между главами исполнительной власти, между парламентским большинством и премьер-министром или президентом Республики. Теперешние порядки неизбежно должны измениться с уходом генерала де Голля; не исключено, что сам текст Конституции будет изменен, чтобы соответствовать президентскому правлению или правлению парламентскому, но в обоих случаях — с целью ограничить полномочия президента.

Я охотно признаю, что будущее неизвестно, и не вижу в этом ничего трагичного. Обозреватели склонны судить о политических режимах, отвлекаясь от возложенных на эти режимы задач. Задачи же, выпавшие на долю IV и даже III Республики, были нелегкими. После 1945 года Франции предстояло и восстановить разрушенное, и включиться в дипломатическую игру, не похожую ни на что в прошлом, и примириться с мыслью об объединении Европы, и перестроить свою экономику, и коренным образом преобразовать империю под угрозой полной ее утраты. Постоянное противоборство между де Голлем и партиями в период с 1946 по 1958 год легло

тяжким бременем на IV Республику и стало одной из причин паралича этого режима. Голлисты постоянно критиковали усилия по объединению Европы и по ликвидации колониализма,— именно те самые усилия, которые ныне дают V Республике право на признательность французов.

Голлистская республика такое тяжелое наследие не оставит. Проблемы, с которыми Франции пришлось столкнуться после 1945 года, уже решены. И если не произойдет чего-то непредвиденного, столь серьезные проблемы вряд ли возникнут. Возможно, самым сложным станет как раз устранение явлений, присущих голлизму: склонности к авторитарности, произволу, унаследованной от президента Республики его преемниками более мелкого масштаба. Или отказ от внешней политики, ориентированной на блеск и сенсационные триумфы, а не на долгосрочную, кропотливую работу; политики, которая уже не в состоянии отличить тактику от стратегии, игру от результата и, в конечном счете, явно направлена лишь на самоутверждение в постоянно обновляющейся игре.

В первой части этого цикла лекций IV Республика служила мне примером разложения конституционного и многопартийного режима. Во второй части в качестве примера строя с монопольно владеющей властью партией я взял советский режим. Так что мне нужно сказать еще несколько слов — как менялся этот режим между 1958 и 1965 годами.

Разумеется, перемены здесь куда более ограниченны, чем во Франции. В целом советский строй остается таким же, каким он был, когда я читал эти лекции: продолжаются обличения Сталина, культа личности. Развитие пошло в сторону либерализации, что представлялось мне наиболее вероятным. Я даже склонен полагать, что противоречия однопартийного режима, которые я разбираю в лекциях шестнадцатой, семнадцатой и восемнадцатой, проявились достаточно четко.

Основное же противоречие можно сформулировать так: коль скоро интеллигенции предоставлено право дискутировать по многим вопросам, как можно отказать ей в праве ставить под сомнение монополию партии, то есть отождествление про-

летариата и партии, а значит — саму основу законности строя? Такое противоречие может показаться чисто теоретическим и потому не должно вызывать особых опасений со стороны властей. На самом деле положение совсем иное: усомниться в законности режима значит усомниться в самом режиме. А раз и террор в то же самое время сводится к минимуму, хотя, может быть, и не полностью отменяется, теряют силу оба принципа Монтескье. Чего бояться, раз соблюдается социалистическая законность,— иными словами, если бояться суровости законов надлежит одним только виновным? Откуда взяться энтузиазму, если основные проблемы связаны с рационализацией хозяйства, которая требует хозрасчета, процентной ставки, введения цен, учитывающих относительный товарный дефицит, короче говоря — большинства понятий и организационных форм, присущих капитализму, а точнее, рынку?

Я вовсе не делаю вывод, что советский режим обречен, если только не полагать, что обречены все политические режимы еще со дня своего возникновения. Советские граждане гордятся своим строем, могуществом, которого он достиг, и склонны отождествлять режим с родиной. Привычка заменяет энтузиазм или страх. Условия жизни улучшаются. Возврат к повседневной жизни (die Veralltäglichung*, по выражению Макса Вебера) рассеивает как иллюзии идеалистов, так и кошмары пророков-пессимистов.

И все же однопартийный режим в том виде, в каком он существует в настоящее время в Советском Союзе, представляется и слишком деспотичным — с учетом его претензий на либерализм, и слишком либеральным — с учетом его поползновений сохранять элементы деспотизма. В международном плане он рискует утратить — в пользу коммунистического Китая, более бедного, менее стесняющегося в выражениях, более тиранического — монополию на революционную идею. Во внутренней жизни бразды правления находятся в руках людей третьего поколения, не принимавших никакого уча-

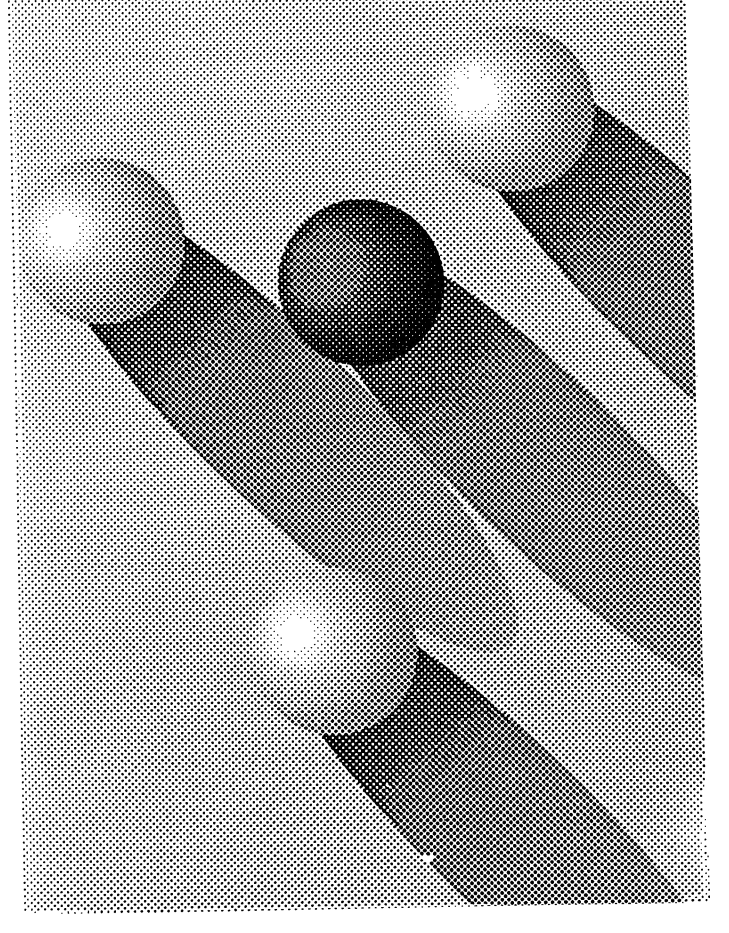
---

* Текучка *(нем.)*.

стия в завоевании власти и в гражданской войне; эти люди — порождение самого режима, а не бунта против предшествовавшего ему строя. Они не могут не видеть, что сталинские методы планирования не отвечают нуждам неоднородной экономики. Они осознают, что сельское хозяйство после успехов 1953—1959 годов за последние пять лет по сути не продвинулось вперед. Могут ли они одновременно рационализировать экономику, удовлетворить потребителей и вернуть Советскому Союзу авторитет носителя революционной идеи? Великая ложь о самом гуманном в мире режиме распространилась именно во времена великой чистки. Истории присуща странная логика. Для того чтобы заворожить мир, советскому режиму нужны были безумие и террор сталинизма. Чем больше советская экономика признает требования рынка, тем меньше она впечатляет Запад своими темпами роста (которые, кстати, сокращаются). Чем больше свободы получает интеллигенция, а простые граждане — уверенности в собственной безопасности, тем меньше советские правители могут хвастаться перед внешним миром своими псевдодостижениями. Нормализация жизни внутри страны делает бессильной пропаганду, направленную за ее пределы. Действительность берет верх над вымыслом. Смогут ли строители будущего примириться с тем, что они на самом деле — лишь управляющие иерархизированного и администратированного общества, у которых лишь одно желание: не только и не столько догнать Запад, сколько уподобиться ему?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Понятия и переменные величины



I

О политике

В термин «политика» вкладывают много понятий. Говорят о политике внутренней и внешней, о политике Ришелье и о политике в области виноделия или свекловодства, подчас безнадежно пытаясь найти хоть что-то общее среди разнообразных значений термина. В своей недавно вышедшей книге Бертран де Жувенель отметил, что из-за огромных различий в толковании этого слова лучше всего доверяться собственному мнению. Возможно, он прав, но, на мой взгляд, в беспорядок можно внести какую-то логику, сосредоточившись на трех основных различиях, при внимательном рассмотрении вполне обоснованных. Огюст Конт любил сравнивать разные значения одного и того же слова и из внешней пестроты выделять его глубинное значение.

Первое различие связано с тем, что словом «политика» переводятся два английских слова, у каждого из которых свой смысл. И в самом деле, англичане говорят policy и politics — и то и другое на французском «политика».

Policy — концепция, программа действий, а то и само действие одного человека, группы людей, правительства. Политика в области алкоголя, например,— это вся программа действий, применительно к данной проблеме, в том числе проблеме излишков или нехватки производимой продукции. Говоря о политике Ришелье, имеют в виду его взгляды на интересы страны, цели, к которым он стремился, а также методы, которыми он пользовался. Таким образом, слово «политика» в его первом значении — это программа, метод действий или сами действия, осуществляемые человеком или группой людей по отношению к какой-то одной проблеме или к со-

вокупности проблем, стоящих перед сообществом.

В другом смысле слово «политика» (английское politics) относится к той области общественной жизни, где конкурируют или противоборствуют различные политические (в значении policy) направления. Политика-область — это совокупность, внутри которой борются личности или группы, имеющие собственную policy, то есть свои цели, свои интересы, а то и свое мировоззрение.

Эти значения термина, невзирая на их различия, взаимосвязаны. Одни политические курсы, определяемые как программы действий, всегда могут войти в столкновение с другими. Программы действий не обязательно согласованы между собой; в этом отношении политика как область общественной жизни чревата как конфликтами, так и компромиссами. Если политические курсы, то есть цели, к которым стремятся личности или группы внутри сообщества, полностью противоречат друг другу, это приводит к бескомпромиссной борьбе, и сообщество прекращает свое существование. Между тем политическое сообщество сочетает планы, частично противоречащие друг другу, а частично — совместимые.

У правителей есть программы действий, которые не могут, однако, претворяться в жизнь без поддержки со стороны управляемых. А подчиняющиеся редко единодушно одобряют тех, кому им надлежит повиноваться. Многие благонамеренные люди воображают, будто политика как программа действий благородна, а политика как столкновение программ отдельных лиц и групп низменна. Представление о возможном существовании бесконфликтной политики как программы действий правителей, мы это увидим в дальнейшем, ошибочно.

Второе различие объясняется тем, что одно и то же слово характеризует одновременно действительность и наше ее осознание. О политике говорят, чтобы обозначить и конфликт между партиями, и осознание этого конфликта. Такое же различие прослеживается и в слове «история», которое означает чередование обществ или эпох — и наше его познание. Политика — одновременно и сфера отношений в обществе, и наше ее познание; можно счи-

тать, что в обоих случаях у смыслового различия одни и те же истоки.

Осознание действительности — часть самой действительности. История, в полном значении этого термина, существует постольку, поскольку люди осознают свое прошлое, различия между прошлым и настоящим и признают многообразие исторических эпох. Точно так же политика как область общественной жизни предполагает минимальное осознание этой области. Личности в любом сообществе должны хотя бы примерно представлять, кто отдает приказы, как эти деятели выбирались, как осуществляется власть. Предполагается, что индивиды, составляющие любой политический режим, знакомы с его механизмами. Мы не смогли бы жить в условиях той демократии, какая существует во Франции, если бы граждане не ведали о правилах, по которым этот режим действует. Вместе с тем любое познание политики может наталкиваться на противоречие между политической практикой существующего строя и других возможных режимов. Стоит лишь выйти за рамки защиты и прославления существующего строя, как надо отказаться от какой бы то ни было его качественной оценки (мы поступаем так, другие — иначе, и я воздерживаюсь от того, чтобы высказывать суждение об относительной ценности наших методов, равно как и тех, к которым прибегают другие) или же изыскивать критерии, по которым можно определить лучший режим. Иначе обстоит дело с природными стихиями, когда сознание не есть часть самой действительности.

Третье различие, важнейшее, вытекает из того, что одно и то же слово (политика) обозначает, с одной стороны, особый раздел социальной совокупности, а с другой — саму эту совокупность, рассматриваемую с какой-то точки зрения.

Социология политики занимается определенными институтами, партиями, парламентами, администрацией в современных обществах. Эти институты, возможно, представляют собой некую систему,— но систему частную в отличие от семьи, религии, труда. Этот раздел социальной совокупности обладает одной особенностью: он определяет избрание тех, кто правит всем сообществом, а также спо-

соб реализации власти. Иначе говоря, это раздел частный, воздействия которого на целое видны немедленно. Можно справедливо возразить, что экономический сектор тоже оказывает влияние на все прочие аспекты общественной жизни,— но главы компаний управляют не партиями или парламентами, а хозяйственной деятельностью, и у них есть право принимать решения, касающиеся всех сторон общественной жизни.

Связь между каким-то аспектом и социальной совокупностью в целом можно также представить следующим образом.

Любое взаимодействие между людьми предполагает наличие власти; так вот, сущность политики заключается в способе осуществления власти и в выборе правителей. Политика — главная характерная черта сообщества, ибо она определяет условия любого взаимодействия между людьми.

Все три различия поддаются осмыслению, они вполне обоснованны. Политика как программа действий и политика как область общественной жизни взаимосвязаны, поскольку общественная жизнь — это та сфера, где противопоставляются друг другу программы действий; политика-действительность и политика-познание тоже взаимосвязаны, поскольку познание — составная часть действительности; наконец, политика — частная система приводит к политике-аспекту, охватывающей все сообщество вследствие того, что частная система оказывает определяющее влияние на все сообщество.

Далее. Политика — это, прежде всего, перевод греческого слова «politeia». По сути — то, что греки называли режимом полиса, то есть способом организации руководства, отличительным признаком организации всего сообщества.

Если политика, по сути, строй сообщества или способ его организации, то нам становятся понятными характерные отличия как в узком, так и в широком смысле. Действительно, в узком смысле слова политика — это особая система, определяющая правителей и способ реализации власти; но одновременно это и способ взаимодействия личностей внутри каждого сообщества.

Второе отличие вытекает из первого. У каждого общества свой режим, и общество не осознает себя, не осознавая при этом разнообразия режимов, а также проблем, которые порождаются таким разнообразием.

Теперь различие между политикой — программой действия и политикой-областью становится понятным. Политика в первом значении может проявлять себя разными путями: политика тех, кто сосредоточил в своих руках власть и ее осуществляет; политика тех, кто властью не обладает и хочет ею завладеть; политика личностей или групп, преследующих свои собственные цели и склонных применять свои собственные методы; наконец, политика стремящихся к изменению самого строя. Все это — не что иное, как программы действий, узкие или глобальные, в зависимости от того, идет ли речь о внутренних задачах режима или о целях, связанных с самим его существованием.

Я уже отмечал, что политика характеризует не только часть социальной совокупности, но и весь облик сообщества. Если это так, то мы, как видно, признаем что-то вроде примата политики. Однако курс, ей посвященный, мы читаем после курсов об экономике и классах. Признавая примат политики, не вступаем ли мы в противоречие с применявшимся до сих пор методом?

Я исходил из противопоставления идей Токвиля* и Маркса. Токвиль полагал, что демократическое развитие современных обществ ведет к стиранию различий в статусе и условиях жизни людей. Этот неудержимый процесс мог, считал он, породить общества двух типов — уравнительно-деспотическое и уравнительно-либеральное. Токвиль дал нам точку отсчета. Я же ограничился тезисом: изучив развитие индустриального общества, мы увидим, какая его разновидность вероятнее.

Что касается Маркса, то в экономических преобразованиях он пытался найти объяснение преобразованиям социальным и политическим. Он считал,

---

* Токвиль Алексис (1805—1859) — французский историк, социолог и политический деятель.

что капиталистические общества страдают от фундаментальных противоречий и вследствие этого подойдут к революционному взрыву, вслед за которым возникнет социалистический строй в рамках однородного, бесклассового общества. Политическая организация общества будет постепенно отмирать, поскольку государство, представлявшееся Марксу орудием эксплуатации одного класса другим, будет отмирать с исчезновением классовых противоречий.

Я ни в коем случае не считал, будто преобразования в экономике непременно *предопределяют* социальную структуру или политическую организацию общества, я намеревался критически рассмотреть гипотезу такой односторонней предопределенности. Речь шла о методологическом, а не о теоретическом подходе. Так вот, результаты, к которым я пришел, отрицают теорию, которая вытекает из такого подхода.

Я взялся сначала за экономику лишь для того, чтобы очертить некий тип общества, общество индустриальное, оставляя открытым вопрос о возможности до поры до времени определить взаимосвязь между классами и политическую организацию в этом обществе. Однако в ходе исследований последних двух лет я пришел к выводу о главенствующей роли политики по отношению к экономике.

В самом деле, у истоков индустриального общества советского типа стоит прежде всего событие, а именно — революция. У революции 1917 года было множество причин, некоторые из них экономические; но прямо, непосредственно ей предшествовали политические события. Есть все основания настаивать на эпитете «политические», ибо, как отмечали даже те, кто эту революцию совершил, экономическая зрелость общества не была к тому времени достигнута.

Более того, основные черты советской экономики объясняются, по крайней мере частично, идеологией партии. Невозможно понять ни систему планирования, ни распределение общественных ресурсов, ни темпы роста советской экономики, если не помнить, что все подчинено представлению коммунистов о том, какой должна быть экономика, о целях, которые они ставят на каждом этапе. Это

именно политические решения, поскольку речь идет не только о плане действий коммунистических руководителей, но и о плане действий по организации общества.

Наконец, плановость советской экономики — прямой результат решений, принимаемых руководителями партии в той сфере общественной жизни, которая относится к политике. Советская экономика в высшей степени зависит и от политического строя СССР, и от программы действий руководителей партии на каждом этапе развития страны.

Политизация советской экономики, подчинение ее структуры и механизмов функционирования политическим целям доказывают, что экономическая и политическая системы в равной степени находятся под влиянием друг друга.

Любопытно, что политизация экономики на Западе представляется нам не столь резкой. Я говорю «любопытно», потому что идеология, на которую опирается советский строй, основана на верховенстве экономики, в то время как идеология западных режимов исходит из главенства политики. В соответствии с представлением людей Запада о порядочном обществе, большое число важных для экономики решений принимается вне политики (в узком смысле этого слова). Например, распределение общественных ресурсов между капиталовложениями и потреблением в условиях советского режима решают органы планирования, на Западе же это результат, чаще всего невольный, множества решений, принимаемых субъектами хозяйственной деятельности. Если советская экономика — это следствие определенной политики, то западная определяется политической системой, которая примирилась с ограниченностью собственных возможностей.

Политизация классов общества представляется нам еще более значительной. Мы отмечали, что все общества, и советское и западные, неоднородны, идет ли речь об отдельных личностях или группах. Существует иерархия власти, иерархия доходов. Есть различие между образом жизни тех, кто внизу, и тех, кто стоит наверху социальной лестницы. Люди с примерно одинаковым доходом, более или менее схожим образом мыслей и способом существова-

ния образуют более или менее разграниченные группы.

Но, дойдя до основополагающего вопроса: в какой мере существуют (и существуют ли) четко выраженные классы, группы, сознающие свою принадлежность к определенному классу и закрытые для всего остального общества,— мы сталкиваемся с серьезнейшей проблемой. Такие группы имеют право на возникновение, рабочие — право на создание профсоюзов, на выбор профсоюзных секретарей; все группы, возникающие в демократическом обществе западного типа на основе общности интересов, получают разрешение на структурное оформление, на защиту своих интересов; в советском же обществе пра́ва на структурное оформление ни одна группа, основанная на общности интересов, не получает. Это — важнейший факт, поразивший нас при сравнении обществ советского и западного типов. В первом случае социальная масса неоднородна во многих отношениях, но она не расслаивается на структурно оформленные группы, сознающие свою непохожесть на остальные. Во втором — общество распадается на многочисленные группы по общности интересов или идеологии, причем каждая из них получает правовую возможность выбирать представителей, защищать свои идеи, вести борьбу с другими группами.

Это основополагающее противоречие между правом на групповую организацию и его отрицанием носит политический характер. Как можно объяснить, что в одном типе общества классы существуют и укрепляются, а в другом их как бы нет, если не помнить, что в первом политический режим терпит создание групп, а во втором — запрещает его?

Вопрос о классах в обществе нельзя рассматривать отвлеченно от политического строя. Именно политический строй, то есть структура власти и представление правительства о своей власти, в какой-то степени определяет наличие или отсутствие классов, а главное — как эти классы осознают самих себя.

Как у истоков экономической системы мы обнаружили политическую волю, точно так же у истоков классов, у истоков классового сознания, воз-

можности воздействия всего общества на социальные группы, мы находим способ осуществления власти, политический строй.

Как следует понимать такое верховенство политики? Мне хотелось бы, чтобы в этом вопросе не оставалось никакой двусмысленности.

1. И речи не может быть о том, чтобы подменить теорию, которая односторонне определяет общество через экономику, иной — столь же произвольно характеризующей его через политику. Неверно, будто уровень техники, степень развития экономических сил или распределение общественного богатства *определяют* все общество в целом; неверно и то, что все особенности общества можно вывести из организации государственной власти.

Более того. Легко показать, что любая теория, односторонне определяющая общество каким-то одним аспектом общественной жизни, ложна. Доказательств тому множество.

Во-первых, социологические. Неверно, будто при данном способе хозяйствования непременно может быть один-единственный, строго определенный политический строй. Когда производительные силы достигают определенного уровня, структура государственной власти может принимать самые различные формы. Для любой структуры государственной власти, например парламентского строя определенного типа, невозможно предвидеть, какой окажется система или природа функционирования экономики.

Во-вторых, доказательства исторические. Всегда можно выявить исторические причины того или иного события, но ни одну из них никогда нельзя считать главнейшей. Невозможно заранее предвосхитить последствия какого-либо события. Иначе говоря, формулировка «в конечном счете все объясняется либо экономикой, либо техникой, либо политикой» — изначально бессмысленна. Отталкиваясь от нынешнего состояния советского общества, вы доберетесь до советской революции 1917 года, еще дальше — до царского режима, и так далее, причем на каждом этапе вы будете выделять то политические, то экономические факторы.

Даже утверждение, что некоторые факторы важнее прочих — двусмысленно. Предположим, экономические причины объявляются более важными, чем политические. Что под этим подразумевается? Рассмотрим общество советского типа. Слабы гарантии свободы личности, зато рабочий, как правило, не испытывает затруднений в поисках работы, и отсутствие безработицы сочетается с высокими темпами экономического роста. Предположение, что экономика — главное, может основываться на высоких темпах роста. В таком случае важность экономического фактора определяется заинтересованностью исследователя в устранении безработицы или в ускорении темпов роста. Иначе говоря, понятие «важность» может быть соотнесено с ценностью, какую аналитик приписывает тем или иным явлениям. При этом важность зависит от его заинтересованности.

Что же означает, учитывая все сказанное, примат политики, который я отстаиваю?

Тот, кто сейчас сравнивает разные типы индустриальных обществ, приходит к выводу: характерные черты каждого из них зависят от политики. Таким образом, я согласен с Алексисом де Токвилем: все современные общества демократичны, то есть движутся к постепенному стиранию различий в условиях жизни или личном статусе людей; но эти общества могут иметь как деспотическую, тиранническую форму, так и форму либеральную. Я сказал бы так: современные индустриальные общества, у которых много общих черт (распределение рабочей силы, рост общественных ресурсов и пр.), различаются прежде всего структурами государственной власти, причем следствием этих структур оказываются некоторые черты экономической системы и отношений между группами людей. В наш век все происходит так, будто возможные конкретные варианты индустриального общества определяет именно политика. Само совместное существование людей в обществе меняется в зависимости от различий в политике, рассматриваемой как частная система.

2. Второй смысл, который я вкладываю в главенство политики,— это смысл человеческий, хотя

кое-кто и может считать основным фактором общий объем производства или распределение ресурсов. Применительно к человеку политика важнее экономики, так сказать, по определению, потому что политика непосредственно затрагивает самый смысл его существования. Философы всегда полагали, что человеческая жизнь состоит из отношений между отдельными людьми. Жить по-человечески — это жить среди личностей. Отношения людей между собой — основополагающий элемент любого сообщества. Таким образом, форма и структура власти более непосредственно влияет на образ жизни, чем какой бы то ни было иной аспект общества.

Давайте договоримся сразу: политика, в ограничительном смысле, то есть особая область общественной жизни, где избираются и действуют правители, не определяет всех взаимосвязей людей в сообществе. Существует немало отношений между личностями в семье, церкви, трудовой сфере, которые не определяются структурой политической власти. А ведь если и не соглашаться со взглядом греческих мыслителей, утверждавших, что жизнь людей — это жизнь политическая, то все равно механизмы осуществления власти, способы назначения руководителей больше, чем что-либо другое, влияют на отношения между людьми. И поскольку характер этих отношений и есть самое главное в человеческом существовании, политика больше, чем любая другая сфера общественной жизни, должна привлекать интерес философа или социолога.

Главенство политики, о котором я говорю, оказывается, таким образом, строго ограниченным. Ни в коем случае речь не идет о верховенстве каузальном. Многие явления в экономике могут влиять на форму, в которую облечена в том или ином обществе структура государственной власти. Не стану утверждать, что государственная власть определяет экономику, но сама экономикой не определяется. Любое представление об одностороннем воздействии, повторяю, лишено смысла. Я не стану также утверждать, что партийной борьбой или парламентской жизнью следует интересоваться больше, чем семьей или церковью. Различные стороны общественной жизни выходят на первый план в зависимости

от степени интереса, который проявляет к ним исследователь. Даже с помощью философии вряд ли можно установить иерархию различных аспектов социальной действительности.

Однако остается справедливым утверждение, что часть социальной совокупности, именуемая политикой в узком смысле, и есть та сфера, где избираются отдающие приказы и определяются методы, в соответствии с которыми эти приказы отдаются. Вот почему этот раздел общественной жизни вскрывает человеческий (или бесчеловечный) характер всего сообщества.

Мы вновь, таким образом, сталкиваемся с допущением, лежащим в основе всех политико-философских систем. Когда философы прошлого обращали свой взор к политике, они в самом деле были убеждены, что структура власти адекватна сущности сообщества. Их убежденность основывалась на двух посылках: без организованной власти жизнь общества немыслима; в характере власти проявляется степень человечности общественных отношений. Люди человечны лишь постольку, поскольку они подчиняются и повелевают в соответствии с критериями человечности. Развивая теорию «Общественного договора», Руссо открывал одновременно, так сказать, теоретическое происхождение сообщества и законные истоки власти. Связь между легитимностью власти и основами сообщества характерна для большинства политико-философских систем прошлого. Эта мысль могла бы вновь стать актуальной и ныне.

Цель наших лекций — не в развитии теории законной власти, не в изучении условий, при которых осуществление власти носит гуманный характер, а в исследовании особой сферы общественной жизни — политики в узком смысле этого слова. Одновременно мы попытаемся разобраться, как политика влияет на все сообщество в целом, понять диалектику политики в узком и широком смысле термина — с точки зрения и причинных связей, и основных черт жизни сообщества. Я собираюсь не только вскрыть различие между многопартийными и однопартийными режимами, но и проследить, как влияет на развитие обществ суть каждого ре-

жима. Иными словами, я намерен исследовать особую систему, которая именуется политикой, с тем чтобы оценить, в какой мере были правы философы прошлого, допуская, что основная характерная черта сообщества — структура власти.

II

От философии к политической социологии

Чем социологическое исследование политических режимов отличается от философского или юридического? Обычно отвечают примерно так: философия изучает политические режимы, чтобы оценить их достоинства; она стремится определить лучший режим, либо принцип законности всех и каждого; так или иначе, цель ее — определение ценности, особенно моральной, политических режимов. Социология же в первую очередь изучает фактическое положение дел, не претендуя на оценки. Объект юридического исследования — конституции: юрист задается вопросом, каким образом в соответствии с британской, американской или французской конституциями избираются правители, проводится голосование по законопроектам, принимаются декреты. Исследователь рассматривает соответствие конкретного политического события конституционным законам: например, соответствовал ли Конституции Веймарской республики принятый в марте 1933 года закон о предоставлении всей полноты власти? Соответствовал ли французской Конституции результат голосования в июне 1940 года во французском парламенте, когда всю полноту власти получил маршал Петен? Конечно, юридическое исследование не ограничивается формальным анализом текстов; важно также выявить, выполняются ли и каким образом конституционные правила в данный момент в данной стране. И все же в центре внимания остаются конституционные правила, зафиксированные в текстах. Социология же изучает эти правила лишь как часть большого целого, не меньший интерес она проявляет к партиям и образованным

по общности интересов группам, к пополнению рядов политических деятелей, к деятельности парламента. Социология рассматривает правила политической игры, не ставя конституционные правила над правилами неписаными, регулирующими внутрипартийные и межпартийные отношения, тогда как юрист сначала знакомится с положениями конституции, а затем прослеживает, как они выполняются.

В принципе верное, подобное разграничение сфер политической социологии, философии и права поверхностно. Хотелось бы несколько глубже разобраться в особенностях чисто социологического подхода.

На то две причины. Социологи почти никогда не бывают беспристрастны; в большинстве своем они не довольствуются изучением того, как функционируют политические режимы, полагая, что сами мы не в состоянии определить, какой из режимов лучше, какой принцип законности самый подходящий. Почти всегда они выступают как приверженцы какой-то философской системы, социологического догматизма или исторического релятивизма.

Всякая философия политики несет в себе элементы социологии. Все крупнейшие исследователи выбирали лучший режим, основываясь на анализе либо человеческой природы, либо способа функционирования тех режимов, которые были в их поле зрения. Остается только выяснить, чем различаются исследования социологов и философов.

Возьмем в качестве отправной точки текст, сыгравший в истории западной мысли самую величественную и самую долговечную роль. На протяжении многих веков «Политика» Аристотеля была и политической философией, и политической социологией. Этот почтенный труд, и ныне достойный углубленного изучения, содержит не только ценностные суждения, но и чрезвычайно подробный анализ фактов. Аристотель собрал много материалов о конституциях (не в современном значении слова, а в значении «режим») греческих полисов, попытался описать их, разобраться, как функционировали там режимы. Именно на основе сравнительного изучения он создал свою прославленную классификацию

трех основных режимов: монархического — когда верховная власть принадлежит одному; олигархического — когда верховная власть принадлежит нескольким; демократического — когда верховная власть принадлежит всем. К этой классификации Аристотель добавил противопоставление здоровых форм разложившимся; наконец, он изучал смешанные режимы.

Такое исследование можно считать социологическим и в современном смысле. Одна из глав его книги до сих пор служит образцом социологического анализа. Это глава о переворотах. Более всего Аристотеля интересовали два вопроса: каким образом режим сохраняется и как преобразуется или свергается. Прерогатива ученого — давать советы государственным деятелям: «Политика» указывает правителю наилучший способ сохранить существующий строй. В короткой главе, где Аристотель объясняет тиранам, как сохранить тиранию, можно усмотреть прообраз другого знаменитого труда — «Государя» Макиавелли. А коль скоро тиранический строй плох, то и средства, необходимые для его сохранения, должны быть такими же: вызывать ненависть и возмущать нравственность.

«Политика» Аристотеля — не просто социология, это еще и философия. Изучение всевозможных режимов, их функционирования, способов сохранения и свержения понадобилось, чтобы дать ответ на основной в данном случае, философский вопрос: какой режим лучший? Стремление найти лучший режим характерно для философии, ведь оно равносильно априорному отказу от утверждения, будто все режимы в общем одинаковы и их нельзя выстроить по оценочной шкале. Согласно Аристотелю, стремление выявить лучший режим вполне законно, потому что отвечает человеческой природе. Слово «природа» означает не просто образ поведения людей в одиночку или в сообществе, но и их назначение. Если принимается финалистская концепция человеческой природы и идея предназначения человека, то законным становится и вопрос о наилучшем строе.

Более того, согласно распространенному толкованию «Политики» классификация режимов по трем

основным признакам имеет надысторическую ценность и применима к любому строю любой эпохи. Эта классификация важна не только для греческих полисов в конкретных общественных рамках, но и во всеобщем плане. Соответственно предполагается, что критерий любой классификации — число людей, обладающих верховной властью.

В ходе истории три идеи политической философии Аристотеля были одна за другой отвергнуты. И теперь, когда мы, социологи, вновь ставим вопрос о политических режимах, от этих идей ничего не осталось.

Рассмотрим сначала третье предположение: об универсальности классификации режимов по принципу числа правителей, в руках которых сосредоточена верховная власть.

Допускалось, что возможны три, и только три, ответа на классический вопрос о том, кто повелевает. Разумеется, при условии допустимости самого вопроса. Яснее всего отказ от универсальной классификации режимов на основе количества властителей (один, несколько, все) проявляется в книге Монтескье «О духе законов». Он тоже предлагает классификацию политических режимов: республика, монархия и деспотия. Однако немедленно обнаруживается важнейшее расхождение с Аристотелем. Монтескье считал, что каждый из трех режимов характерен для определенного типа общества. И все же Монтескье сохраняет мысль Аристотеля: природа строя зависит от тех, кто обладает верховной властью. Республика — строй, при котором верховная власть в руках всего народа или его части; монархия — строй, при котором правит один, однако придерживаясь постоянных и четких законов; наконец, деспотия — строй, при котором правит один, но без законов, на основе произвола. Следовательно, все три типа правления определяются не только количеством лиц, удерживающих власть. Верховная власть принадлежит одному и при монархии, и при деспотии. Классификация предполагает наличие еще одного критерия: осуществляется ли власть в соответствии с постоянными и твердыми законами. В зависимости от того, соответствует ли законности верховная власть единого правителя или же она чужда какой бы

то ни было законности вообще, основополагающий принцип строя — либо честь, либо страх.

Но есть и еще кое-что. Монтескье недвусмысленно указывает, что за образец республики он взял античные полисы, монархии — современные ему королевства Европы, а деспотии — азиатские империи, и добавляет: каждый из режимов проявляется в определенных экономических, социальных и — сказали бы мы теперь — демографических условиях. Республика действительно возможна лишь в небольших полисах, монархия, основанная на чести,— строй, характерный для государств средних размеров, когда же государства становятся слишком большими, деспотия почти неизбежна. В классификации, предложенной Монтескье, содержится двойное противопоставление. Во-первых, умеренные режимы противопоставлены тем, где умеренности нет и в помине, или, скажем, режимы, где законы соблюдаются,— тем, где царит произвол. С одной стороны — республика и монархия, с другой — деспотия. Во-вторых, противопоставлены республика, с одной стороны, монархия и деспотия, с другой. Наконец, кроме двух противопоставлений есть еще и диалектическое противоречие: первая разновидность строя, будь то демократия или аристократия — государство, где верховной властью обладает народ в целом. Суть такого строя — равенство граждан, его принцип — добродетель. Монархический строй отрицает республиканское равенство. Монархия основана на неравенстве сословий и лиц, она устойчива и процветает в той мере, в какой каждый привязан к своему сословию и поступает сообразно понятиям чести. От республиканского равенства мы переходим к неравенству аристократий. Что до деспотии, то она некоторым образом вновь приводит к равенству. При деспотическом строе правит один, и поскольку он обладает абсолютной властью и не обязан подчиняться каким-либо правилам, то кроме него никто не находится в безопасности. Все боятся, и потому все, сверху донизу, обречены на равенство, но, в отличие от равенства граждан в условиях свободы, это — равенство в страхе. Приведем пример, который не задевал бы никого. В последние месяцы гитлеровского режима ни один человек не

чувствовал себя в безопасности лишь из-за близости к главе режима. В каком-то смысле по пути к вершине иерархической лестницы опасность даже возрастала.

В такой классификации сохраняется часть аристотелевской концепции: ключевым остается вопрос о числе людей, наделенных верховной властью. Но на этот вопрос (воспользуемся терминами социологическими) накладывается влияние еще одной переменной — способа правления: подчиняется ли власть законам или же в обществе царит произвол. Более того, способ правления не может рассматриваться отдельно от экономического и социального устройства. Классификация политических режимов одновременно дает классификацию обществ, но способ правления связан с экономическим и социальным устройством и не может быть отделен от него.

Из примера Монтескье мы извлекаем если не вывод, то вопрос: если мы попытаемся создать классификацию политических режимов, будет ли она применима только к определенному экономическому и социальному устройству общества или же к любому? В данном случае я проявлю осторожность, довольствуясь наброском классификации политических режимов для современных индустриальных обществ.

В отличие от Аристотеля Монтескье не спрашивает, во всяком случае открыто, какой режим наилучший. Он обозначил два вида умеренных режимов: республику и монархию. Монтескье установил, что принцип, то есть чувство, которое сохраняет и гарантирует существование всякого режима, в одном случае представляет собой добродетель, равенство и законопослушание, а в другом — честь, то есть соблюдение каждым требований, обусловленных его положением в обществе. Мы не можем априорно утверждать, что один из этих двух принципов лучше другого, ибо у аристократической чести есть свои достоинства.

Иными словами, если принять связь политического режима с социальным устройством, то разнообразие социальных устройств как в теории, так и в реальной жизни, видимо, делает несостоятельной идею поисков наилучшего строя в отрыве от конкретных

фактов. Признание многообразия режимов и принципов делает поиски наилучшего строя нежелательными хотя бы потому, что оно несовместимо с финалистской концепцией человеческой природы.

Почему же вопрос о наилучшем режиме отпадает одновременно с финалистской концепцией человеческой природы? Мы поймем это, обратившись к одному из великих творцов политической традиции. Гоббс разделяет строго механистические представления: человеком движет желание, воля к спасению своей жизни и к наслаждению. Поведение его регулируется соображениями выгоды.

Эта точка зрения исключает вопрос о наилучшем режиме — если только не начинать с определения цели, к которой прежде всего стремится человек, подчиненный действию четкого механизма. По Гоббсу, такая цель существует. Она прозаична и проста. Эта цель — выживание. Будучи игрушками страстей, люди — враги друг другу, когда не подчиняются общему для всех закону. Отсюда главный вопрос Гоббса: каким должен быть политический режим, чтобы обеспечить мир между людьми? Вместо вопроса о том, каким должен быть наилучший политический режим, учитывая финалистский характер природы человека, ставится другой: каким должно быть государство, чтобы, не противореча природе человека, спасти граждан от насилия и обеспечить свою безопасность?

Эта философия рассматривает, в частности, и проблему расширения власти: какие возможности следует предоставить правителям для предотвращения гражданской войны? При финалистской же концепции требовалось выяснить, каким должен быть правитель, чтобы граждане могли жить добродетельно.

Механистическая концепция человеческой природы не предполагает принятия учения об абсолютной и безграничной верховной власти. Другой философ — из следующего после Гоббса поколения, избрав ту же исходную точку, пришел к иному заключению. Людей, по мнению Спинозы, влекут страсти, и, будучи предоставленными сами себе, люди враждуют друг с другом, потому что неблагоразумны и каждый хочет взять верх. Поэтому следует учре-

дить верховную власть, которая, издавая законы, вынудит граждан жить в мире. Гоббса точно наваждение преследовал страх перед гражданской войной, которая неизбежно разразится, если не предоставить правителю абсолютную власть ради сохранения мира во что бы то ни стало. Спиноза же хотел ограничить власть правителя, дабы воцарился мир, граждане были свободны и философы пользовались уважением.

Последняя фаза распада традиционной политической философии отмечена появлением того, что называют то философией истории, то социологией. Для подобных систем, разработанных, например, Марксом или Огюстом Контом, характерно подчинение проблем политических проблемам социально-экономическим. Можно сказать, что социология в XIX веке создавалась на основе отказа от традиционного главенствования политического режима над экономическим и социальным устройством. Маркс сознавал значение этого. Основными вопросами он считал организацию производства и отношения между классами, а политический режим по Марксу был обусловлен экономической структурой.

Эта концепция, подчиняющая политические режимы экономическому и социальному устройству, непрочна из-за колебаний между безоговорочным релятивизмом и догматизмом, которые становятся оправданием фанатизма. Доказательством таких колебаний может служить употребление терминов «историзм» и «историцизм». Оба слова используются в немецком, английском и французском языках то в различных, то в одинаковых значениях, порою применительно к теориям, на первый взгляд несовместимым.

Когда господин Поппер, профессор Лондонской школы экономики, написал книгу «Нищета историцизма», он имел в виду толкование истории, согласно которому можно на основе всеохватывающего детерминизма предвидеть режим будущего (и этот неизбежный режим будущего, по мнению ряда исследователей, станет в какой-то степени концом истории). Но иногда историцизмом называют противоположную на первый взгляд концепцию, согласно которой друг друга сменяют уникальные и неповто-

римые экономические, социальные и политические режимы. В книге недавно скончавшегося профессора Майнеке, озаглавленной «Возникновение историзма», рассматривается способ мышления, отличный от историцизма, как его понимает Поппер. По Майнеке, историзм определяется признанием множественности экономических, политических и социальных режимов, полагая их равноценными. По известному высказыванию одного немецкого историка, «каждая эпоха непосредственно принадлежит Богу».

Впрочем, легко сблизить оба эти на первый взгляд противоположные термины. В философии Маркса наблюдается переход от полного релятивизма к историческому догматизму. Рассмотрим стандартное толкование политических режимов в свете марксистской теории политики. До сих пор любое общество характеризовали классовой борьбой. Во всех обществах были господствующий и подчиненный, эксплуатирующий и эксплуатируемый классы. Во всех обществах государство — орудие эксплуатации одного класса другим. Значит, государство — это всего лишь орган классовой эксплуатации. Коль скоро в такую схему укладываются все общества, происходит скатывание к полному релятивизму: едва ли есть основания отдать предпочтение какому-либо одному режиму. Если в какой-то момент при некоем политическом и социальном строе должно исчезнуть противопоставление класса эксплуатирующего классу эксплуатируемому, то соперничающих классов больше не будет и в условиях социальной однородности сразу же появится достойный режим.

Достаточно сказать, что все режимы, за исключением одного, оправдывают пессимистическую концепцию социального устройства, что граничит с релятивизмом и все же приводит к догматизму. Но тут догматизм легко устраним: достаточно, чтобы так называемый социалистический режим обладал теми же отличительными чертами, что и предшествующие режимы, чтобы при нем тоже был класс эксплуатирующих и класс эксплуатируемых, а государство тоже выступало как орудие, с помощью которого господствующий класс сохраняет свое господство. В этом случае мы, покончив с догматизмом, возвращаемся к релятивизму.

Диалог, который я пытаюсь воспроизвести,— не выдуманный, это, можно сказать, ответ Парето* Марксу. Парето довольствовался признанием правоты Маркса, но с одной оговоркой: воззрения Маркса безупречны во всем, что касается режимов прошлого и настоящего, но он заблуждался относительно режимов будущего. Маркс полагал, будто борьба классов, эксплуатация одних классов другими, которую он так проницательно отметил, исчезнет с установлением социализма. Однако эта борьба не только не исчезнет на данном этапе эволюции, но, напротив, будет продолжаться. Маркс говорил об исчезновении эксплуатации, а значит, и государства, исходя из принципа: государство существует лишь для поддержания господства одного класса над другим. Парето ограничился ответом, обратившись к политической традиции прошлого.

Основная проблема состоит не в распределении богатства, примерно одинаковом во всех известных обществах. Суть в том, чтобы понять, кто правит. Эта проблема останется актуальной и в будущем. Парето ввел простую классификацию политических режимов, но уже не по количеству лиц, наделенных властью, а по психосоциальному характеру носителей власти и способу ее реализации. Одни правители напоминают львов (предпочитают силовое воздействие), другие — лисиц (прибегают к хитрости — слову и теоретическим построениям). Противопоставление львов лисицам пришло из прошлого. Оно заимствовано у Макиавелли (Парето охотно на него ссылается). Классификация Парето не устраняет различий между режимами, зависящих от характера правителей и природы средств, к которым те прибегают. Но у всех режимов есть некие общие черты, в конечном счете делающие их более или менее равноценными — или, во всяком случае, почти лишающие смысла вопрос о наилучшем режиме.

Все режимы, по сути, определяются борьбой за власть и тем, что власть находится у небольшой группы. Что такое политика? Борьба за власть и

---

* Парето Вильфредо (1848—1923) — итальянский социолог и политэконом, представитель математической школы в запа[illegible] XIII[illegible].

связанные с властью преимущества. Борьба эта идет постоянно. Парето мог бы сказать, как Гоббс и Спиноза, что борьба постоянна, поскольку все хотят быть первыми, а сие невозможно. Он мог бы еще сказать, что люди хотят обеспечить себе связанные с властью доходы. Но невозможно, чтобы все обладали властью и сопутствующими ей доходами. В таком случае реальная политика сводится к борьбе людей за власть и прибыли, а политиковедение, по выражению одного американского социолога, становится серией вопросов: кто получает что? как? когда? (по-английски — who gets what? how? when?). Мы приближаемся к тому, что ныне называется макиавеллиевской философией. Это — последняя стадия распада классической философии или моральной концепции политики.

В рамках такой философии еще уцелели кое-какие идеи, но они поставлены на службу стремления к власти. Достоинство любой политической формулировки — не в ее ценности и истинности, а в ее действенности. Идеи — всего лишь оружие, боевые средства, применяемые именно для борьбы, но ведь в борьбе не может быть цели иной, чем победа.

Такое толкование политики может, вероятно, стать основой совершенно объективной социологии, раз уж мы начали с того, что отказались от ссылок на какие-либо универсальные ценности, на целенаправленность человеческой природы. Но на деле эта якобы объективная социология использует столь же спорную философию, что и финалистская философия человеческой природы, послужившая нам точкой отсчета. Эта циничная философия политики под предлогом отказа от какой бы то ни было философии вообще утверждает все же некую разновидность философии. Вместо того чтобы провозглашать философию смысла, она утверждает философию отсутствия смысла. Она утверждает, что смысл политики — борьба, а не поиски обоснованной власти. Но объективно и научно отсутствие смысла не доказано. Заявлять, будто человек — воплощение бесполезной страсти, не менее философично, чем приписывать существованию человека некое предназначение.

Та политическая социология, которой мне хотелось бы заниматься, не должна быть привязана к финалистской концепции человеческой природы, влекущей за собой, исходя из предназначения человека, необходимость поисков наилучшего режима. Но она не должна быть привязана и к философии макиавеллизма или историцизма. Макиавеллизм, для которого суть политики — только в борьбе за власть, представляет собой философию неполную, в которой, как и во всех системах философского скепсиса, заложена тенденция к самоопровержению.

Итак, вот немногие методологические постулаты, которые мне придется взять на вооружение.

1. Я попытаюсь определить те политические режимы, которые мы можем наблюдать в наших современных индустриальных обществах. Я не утверждаю, будто классификация этих режимов применима к обществам иного типа. Я не исключаю возможности классификации универсального типа. Определенные понятия могут оказаться применимыми к режимам, которые представляют собой надстройки в условиях чрезвычайно разнообразных обществ. Однако в данном исходном пункте мои устремления будут ограничены попыткой классификации применительно к политическим режимам именно индустриальных обществ.

2. Сейчас политическая проблема, на мой взгляд, не может сводиться к одному-единственному вопросу. Реальной данностью в настоящее время стало наше стремление к различным целям. Нам нужны ценности, не обязательно противоречащие друг другу, но и не обязательно согласующиеся. Например, мы хотим создать легитимный режим, отвечающий нашему представлению о том, какой должна быть власть. Но при этом мы задаемся вопросом, как должны быть устроены органы государственной власти, чтобы действовать эффективно. Один и тот же политический режим может показаться предпочтительным с одной точки зрения и неприемлемым — с другой. Режимы не всегда равноценны, но в нашем распоряжении различные системы критериев. Ничто не доказывает, будто при сопоставлении режимов мы в состоянии прийти к однозначному выводу.

3. Как я полагаю, социолог не должен впадать ни в цинизм, ни в догматизм. В цинизм — хотя бы потому, что политические или моральные идеи, на которые он опирается для оценки политических режимов, составляют часть самой действительности. Люди никогда не осмысляли политику как нечто исключительно определяемое борьбой за власть. Только простодушный не видит борьбы за власть. Кто же не видит ничего, кроме борьбы за власть,— псевдореалист. Реальность, которую мы изучаем,— реальность человеческая. Частью этой человеческой реальности оказывается вопрос о законности власти.

Мы отвергли макиавеллиевский цинизм, но это не значит, что можно автоматически раз и навсегда определить наилучший режим. Возможно даже, что сама постановка такого вопроса лишена смысла. Для политической социологии, которую я собираюсь разрабатывать, необходимо, чтобы *множественность* режимов, ценностей и политических структур не была *хаотичной*. Для этого достаточно, чтобы все возможные политические институты рассматривались как ответ на постоянную проблему.

Неизменная политическая проблема — одновременное оправдание *власти* и *послушания*. Гоббс великолепно оправдал послушание, выделив темную сторону человеческой природы. Но не следует оправдывать любое послушание, любую власть. Можно ли одновременно оправдывать послушание и отказ от него? Власть — и пределы власти? Такова вечная проблема политического порядка. Неизменно несовершенные решения ее — вот что такое на деле все режимы.

III

Основные черты политического порядка

В предыдущей главе я показал, как происходит переход от философских поисков наилучшего режима к социологическому изучению режимов в их подлинном виде и разнообразии. От поисков абстракт-

ного универсального режима меня вынудили отказаться четыре соображения.

1. Сомнительно, чтобы наилучший режим можно было определить в отрыве от общих основ устройства социума. Не исключено, что наилучший режим можно определить лишь для данного общественного устройства.

2. Понятие наилучшего режима связано с финалистской концепцией человеческой природы. Применив концепцию детерминистскую, мы сталкиваемся с вопросом о государственных учреждениях, наилучшим образом приспособленных к недетерминированному поведению людей.

3. Цели политических режимов не однозначны и не обязательно гармонируют друг с другом. Режим, обеспечивающий гражданам наибольшую свободу, не всегда гарантирует наибольшую действенность власти. Режим, основанный на волеизъявлении управляемых, не всегда предоставляет в распоряжение носителей власти достаточные возможности для ее реализации.

4. Наконец, каждый признает, что при некотором уровне конкретизации институты государственной власти неизбежно различны. Вопрос о наилучшем режиме можно ставить лишь абстрактно. В каждом обществе институты власти должны быть приспособлены к особенностям конкретной исторической обстановки.

Вместе с тем мы попытались показать несостоятельность лжепозитивизма, который смешивает социологическое изучение политических режимов с приятием циничной философии политики. Я назвал циничной ту философию политики, которая считает борьбу за власть и распределение преимуществ, связанных с властью, сутью, единственно возможным воплощением политики. Борьба за власть существует, во всяком случае, она возможна при всех режимах. Но социологу не следует смешивать объективное изучение и циничную философию.

Во-первых, допуская, что политика — это исключительно борьба за власть, он игнорирует значение политики в глазах людей. Во-вторых, социологи, приняв циничную философию политики, приходят либо к релятивизму чистейшей воды, к признанию

равноценности режимов или, как чаще всего и бывает,— к неявно выраженной концепции наилучшего режима, в основе которого лежит понятие власти. Наилучшим тогда окажется режим, передающий власть тем или иным личностям. Отсюда, как неизбежное следствие такой философии,— колебание между скептицизмом и фанатизмом.

Наши утверждения не означают, что социолог может решать политическую проблему в том виде, в каком ее ставят люди (придавая определенный смысл понятию законного или наилучшего управления). Социолог *должен понимать внутреннюю логику политических институтов.* Это институты — отнюдь не случайное взаимное наложение практических действий. Всякому политическому режиму присущи — пусть в минимальной степени — единство и смысл. Дело социолога — увидеть это.

Политический режим формируется особым сектором социальной совокупности. Особенность такого сектора — в том, что он определяет целое. Значит, можно концептуализировать политическую действительность, прибегая к понятиям, характерным для политики, или же к широким расплывчатым понятиям с претензиями на философскую глубину. Ни правовые, ни философские концепции не отвечают требованиям социологического исследования.

Правовая концепция, с помощью которой чаще всего пытаются постигнуть политический порядок,— это концепция верховенства власти. Она применяется к носителю законной власти и уточняет, кто именно имеет право повелевать. Но она используется в двух разных значениях. В самом деле, верховенством власти обладает носитель законной власти, однако он не всегда оказывается носителем власти фактической. Допустим, что какой-то политический режим нашего времени основан на верховенстве власти народа. Очевидно, что многомиллионный народ никогда не может править сам собой. Народ — совокупность составляющих данное сообщество людей — не способен, будучи взят в целом, осуществлять функции управления.

Можно предположить, что в пресловутой формулировке «управление народа, народом и для народа»

не различаются носители законной власти и обладатели реальных возможностей ее осуществления. Но в столь сложном сообществе, как современное, необходимо различать законное, с правовой точки зрения, происхождение власти и реальных ее обладателей. Даже в небольших социумах, где собрание граждан действительно высшая инстанция, различаются законный носитель верховной власти и те, кто ее реализует. Это четко выражено у Аристотеля.

В современных же обществах верховенство власти — всего лишь правовая фикция. Обладает ли народ таким верховенством? Такая формулировка может оказаться приемлемой и для западных режимов, и для фашистских, и для коммунистических. Нет, пожалуй, современного общества, которое так или иначе не провозглашало бы в качестве своего основополагающего принципа, что верховная власть принадлежит народу. Меняются только правовые или политические процедуры, посредством которых эта законная власть передается от народа конкретным лицам. Согласно идеологии фашистских режимов, подлинная воля народа выражается лишь одним человеком, фюрером, или партией. Согласно идеологии коммунистических режимов, законная власть выражает волю пролетариата, орган этой власти — коммунистическая партия. Западные режимы провозглашают: при верховенстве власти народа гражданам предоставлена свобода выбора между кандидатами на реализацию власти. Иначе говоря, режимы отличаются друг от друга процедурами выбора политических руководителей, способами назначения носителей реальной власти, условиями перехода от фикции верховенства власти к подлинной власти.

Тем не менее для социолога теория верховной власти не бессмысленна. Но правовой принцип верховенства власти интересует его меньше, чем процедуры ее передачи (выразитель которой в теории — народ или класс) меньшинству, реально осуществляющему власть. Само собой разумеется (хотя и не мешает эту мысль подчеркнуть), что в теории могут существовать способы управления для народа, но не управления народом — когда речь идет о многочисленных и многосоставных обществах.

При другом подходе политические режимы можно было бы определять такими понятиями, как свобода, равенство, братство. Некоторые, кажется, полагают, что в социологическом плане проблема демократии заключается в определении режимов, способных обеспечить равенство или свободу. Я намерен коротко показать, почему политические режимы нашего времени вряд ли можно определять таким образом.

Ни в одном из современных обществ люди экономически не равны — это известно всем. Что же в таком случае равенство граждан? Либо участие в реализации верховной власти, то есть право голосовать, либо равенство перед законом. В большинстве современных обществ эти два равенства реализуются одновременно: граждане равны перед законом и обладают одними и теми же политическими правами, поскольку имеют право избирать своих представителей.

Оба вида равенства не исключают многочисленных видов экономического, социального неравенства. Богатый опыт учит нас, что всеобщее избирательное право не всегда дает гражданину возможность реально избирать своих представителей. Кроме того, гражданин не всегда ощущает свою реальную власть от того, что он раз в четыре-пять лет голосует. Если пытаться определить демократию исключительно (или в основном) через всеобщее избирательное право, следовало бы признать отсутствие преемственности между политическими институтами в Великобритании XVIII века, когда правом голоса обладало меньшинство, и нынешними. Можно добавить, что общество, в котором женщины не имеют права голоса, нарушает первейший принцип демократии. Однако, невзирая на неравенство англичан перед избирательным законом в прошлые эпохи, преемственность между институтами аристократической Англии XVIII века и демократической Англии наших дней очевидна...

Что касается свободы вообще, то это еще большая двусмысленность. Специалист по анализу языка сказал бы, что необходимо различать конкретные проявления свободы и что само определение свободы вообще может быть результатом только мета-

физического выбора. В самом деле, если считать свободным того, кто в своем стремлении совершить некий поступок не встречает преград со стороны другого человека или общества, то никто не свободен полностью и никто полностью не лишен свободы. Возможность выбора, возможность действовать по собственному почину, предоставляемая отдельной личности, неодинакова в разных обществах, в различных классах одного общества.

Можно ли утверждать, что политическая свобода определяется точно очерченными правами, которые гарантирует государственный строй? В таком случае правила, сформулированные в Акте Habeas corpus — всеобщее избирательное право, свобода слова и выражения взглядов — и есть свобода вообще. Но, не оспаривая в данном случае подобной концепции, надо заметить, что в современном мире она означала бы и определенную политическую позицию.

Марксисты-ленинцы считают эти свободы формальными и утверждают, что их необходимо временно принести в жертву во имя свобод, которые, с марксистской точки зрения, подлинные. Что означает участие в выборах, раз они предмет махинаций, организуемых монополиями или всемогущим меньшинством? Что значит свобода дискуссий для безработного или даже для промышленного рабочего, обреченного выполнять однообразную работу, в определении которой он не участвует?

Впрочем, чувство свободы не обязательно связано с институтами, которые, на наш взгляд, определяют на Западе политическую свободу. Вступающий в коммунистическую партию пролетарий полагает, что при западном режиме его угнетают и эксплуатируют, но он станет свободным (или испытает чувство свободы) при режиме советского типа.

Иначе говоря, возникает дилемма: принять философию, основанную на общепринятом определении свободы, либо подчеркнуть двусмысленный характер того, что общества и отдельные люди понимают под словом «свобода».

Итак, я вынужден временно отказаться от правовой концептуализации через верховенство власти

и от концептуализации философской — с опорой на свободу и равенство. Социологическая теория политических режимов делает упор на институты, а не на идеалы, на которые они ссылаются. Социологическая теория описывает действительность, а не идею.

Как следует понимать слово «действительность»? Прежде всего речь попросту идет о всем известных, повседневно наблюдаемых политических реалиях: выборах, парламентах, законах, указах — иными словами, о процедурах, в соответствии с которыми избираются и реализуют свои полномочия законные носители власти.

Наша задача заключается в том, чтобы определить: что характерно для каждого режима, в чем суть режима на уровне государственных институтов.

Разработка социологической теории лежит в русле традиции Монтескье, попытавшегося охарактеризовать политические режимы на основе сочетания нескольких переменных величин. Переменными величинами, с помощью которых он определял суть политических режимов, были, как мы уже видели, число носителей верховной власти, умеренность или неумеренность ее реализации, психологический настрой, который господствует при том или ином режиме, или характерные для режима нормы поведения, при нарушении которых он разлагается. Помимо этой теории переменных величин, Монтескье устанавливал связь между политическими режимами и всеми прочими секторами социальной совокупности.

То, что попытался выявить Монтескье в различных режимах, которые он находил в истории, мы попробуем применить к режимам индустриальных обществ. Но чтобы установить основные переменные величины каждого из них, нам придется сначала очертить функции, неизменные для всех политических режимов.

Философы полагают, что политика всегда преследует две цели: мир внутри сообщества и защита от других сообществ. Изначальная цель всякого политического режима — обеспечить людям мирную жизнь, избежать разгула насилия в обществе. Отсюда вы-

текает вывод, который по Максу Веберу лежит в основе понятия государства: необходимость монополии на законное использование насилия. Чтобы люди не убивали друг друга, право на применение силы должно принадлежать только государству. Едва отдельные группы общества начинают присваивать себе право на насилие, мир оказывается в опасности. Ныне чрезвычайно легко оценить значение этого общего положения. Сейчас во Франции есть группы, которые создают подпольные суды, выносят смертные приговоры и приводят их в исполнение. Я имею в виду часть выходцев из Северной Африки: действуя по политическим мотивам, судить о которых — не наша компетенция, они создают организации, чтобы расправляться друг с другом. Когда основополагающей чертой политической власти становится ее монопольное право на законное насилие, это диктуется именно желанием исключить возможность подобных явлений. Хотя для так называемых цивилизованных сообществ такое монопольное право характерно, нередко появляются небольшие группы, претендующие на создание своих органов власти. Уголовный мир, с изрядной выдумкой описанный в криминальных романах, не что иное, как совокупность групп, игнорирующих государственную монополию на законное применение насилия.

Если изначальная функция политической власти именно в этом, естественно, что верховная власть обязана управлять вооруженными силами, то есть, в цивилизованных обществах,— полицией и армией. Изображать верховного носителя власти как главу полиции — вовсе не значит посягать на его достоинство или на его авторитет. Полиция должна пользоваться уважением граждан, ибо на законных основаниях обладает монопольным правом на применение насилия. Никому другому в сообществе применять его не следует. Право особой части общества использовать силу — одно из завоеваний политической цивилизации. Нет ничего более достойного восхищения, ничего более достойного быть символом совершенства политической цивилизации, чем английская традиция, по которой полицейские не вооружены. Можно сказать, что в данном случае

достигается высшая ступень диалектики: люди представляют опасность друг для друга, поэтому нужна полиция, которая вооружена, чтобы помешать гражданам убивать друг друга; когда же умиротворение в собственном смысле этого слова окончательно достигнуто, полиции — этому символу законного насилия — оружие, материальное выражение силы, уже не требуется. Французское общество пока еще не достигло этой последней ступени. Что касается вооруженных сил, в так называемых упорядоченных обществах они предназначены лишь для «внешнего употребления»: их задача — защищать сообщество от внешних врагов. Внутри же страны должна действовать только полиция.

Полиция, препятствующая гражданам нападать друг на друга, должна вмешиваться лишь в соответствии с установленными для нее правилами или законами. Следовательно, есть один аспект политической функции: устанавливать правила или законы, по которым отдельные лица вступают в отношения друг с другом. Нетрудно перечислить многочисленные разновидности законов, регулирующих обмен, собственность, торговлю, производство, регламентирующих, что человек имеет право делать или обязан не делать. Политическая власть определенным образом устанавливает эти правила совместной жизни людей. Так или иначе, она гарантирует их соблюдение.

Очевидно, именно от носителя верховной власти зависит принятие решений об отношениях с другими сообществами. Невозможно занять раз и навсегда одну позицию по отношению к зарубежным странам. Сущность демократии — это постоянное лавирование. Даже в рамках внутренней жизни социума законы в некоторых областях не могут заранее точно регламентировать поведение индивида в каждый данный момент. Чтобы уяснить эту мысль, достаточно вспомнить налоговое законодательство. Государство обязано изымать какую-то часть доходов отдельных лиц, чтобы финансировать, как ему и положено, решение задач всего общества. В современных обществах в силу различных обстоятельств потребности государства часто меняются. Изъятие доли доходов частных лиц перестало быть лишь спо-

собом добывать государству средства для выполнения определенных задач. Эти отчисления играют определенную роль в регулировании экономической конъюнктуры. Налоговые изъятия растут или уменьшаются в зависимости от угрозы инфляции или дефляции.

Носитель высшей власти, в задачу которого входит поддержание мира, установление правил, коим должна подчиняться любая деятельность отдельных лиц, принятие решений внутриполитического или внешнеполитического характера, нуждается в согласии тех, кем он управляет. Это не просто одна из функций из числа только что рассмотренных. Это — одна из существенных сторон любого политического режима. Всякий режим должен обеспечивать подчинение своей воле. От управляемых требуется, чтобы они принимали его таким, каков он есть. Более того, необходимо, чтобы определенными способами режим добивался одобрения со стороны управляемых. Можно представить себе страну, огромное большинство граждан которой принимает режим, но — не конкретные меры законных носителей власти. Примером такого хоть и парадоксального, но вполне возможного случая, вероятно, может служить Франция. Гражданину довольно просто заявить: я согласен с режимом, в котором носители власти определяются путем выборов, но те, кого я избрал, негодяи из негодяев. Сочетание уважения к режиму и неуважения к правителям, избранным в соответствии с Конституцией, психологически возможно.

Мы, следовательно, выявили три основные функции современного политического порядка. Первую я называю административной. Ее назначение — обеспечить мир между гражданами и соблюдение законов. Вторая, охватывающая законодательную и исполнительную власти (в обычном смысле этих слов), включает в себя управление связями с другими сообществами, выработку решений для составления, принятия или изменения законов и, наконец, меры, принимаемые отдельными лицами в зависимости от обстоятельств. Но так как принимаемые отдельными лицами меры касаются сообщества в целом, режиму необходимо находить основания считаться законным и заручаться лояльностью граждан. Есть

еще и другое соображение: любой режим, который решает задачи устройства власти и отношений между гражданами, обязан иметь представление о собственном идеале. Любой режим ставит перед собой задачи морального или гуманитарного порядка, с которыми должны соглашаться граждане.

Философы всегда признавали такие функции. Но каждый уделял преимущественное внимание лишь одной из них. В основе философии Гоббса — неудержимое стремление к гражданскому миру. Живя в эпоху революций, он был готов поставить все прочие мыслимые достоинства режима в зависимость от того, что считал главным,— гражданского мира. Руссо полагал, что главное,— обосновать законность власти, которая, по его мнению, может существовать лишь в результате волеизъявления граждан. Глубинный смысл «Общественного договора» — это изложение условий, при которых власть законна, то есть получает одобрение граждан или выражает их волю. Что до марксизма, то гражданский мир, равно как и законность власти, он подчиняет некоей высшей цели. С марксистской точки зрения, законным в нашу эпоху считается режим, приближающий нас к концу предыстории, к уничтожению классов.

Очевидно, что идеальным был бы режим, способный примирить все эти разнообразные требования, которые до сих пор редко согласовывались с действительностью. Режим, который в настоящее время ставит задачу построения бесклассового общества, присваивает право жертвовать волеизъявлением управляемых. Тот, кто своей высшей целью считает мир между гражданами, чаще оказывается консерватором, нежели реформатором или революционером. Исходя из целей политического порядка, можно набросать типологию политических темпераментов.

Теперь вновь обратимся к выявленным нами аспектам политического порядка. Прежде всего рассмотрим функции административные, правительственные, охватывающие законодательную и исполнительную власти: установление законов, отношения с зарубежными странами, а также проведение различных мероприятий, как соответствующих сущест-

вующим законам, так и выходящих за их рамки.

В современных обществах чиновник и политический деятель противопоставлены друг другу. Чиновник — это профессионал, политик — дилетант. Чиновник получает должность, если соответствует строго установленным требованиям, а политик обретает полномочия в результате выборов. В западных демократических режимах профессионалами управляют любители. Парадокса тут нет: те, кто отдает распоряжения чиновникам и администраторам,— не специалисты, хотя им и не возбраняется знать сферы, которыми они ведают. Согласно официальной теории, распространенной при III Республике, политик вовсе не обязательно должен быть экспертом в области, за которую он несет ответственность; главное — общая культура и ум.

Без чиновников в определенной мере обойтись труднее, чем без политиков. При таком режиме, как наш, администрации приходится быть особенно устойчивой именно потому, что политики на правительственных ролях меняются чаще. Неоднократно отмечалось, что современное государство — в основе своей прежде всего административная организация. При создании нового государства вовсе не обязательно проводить выборы в парламент. Но чиновники и администрация нужны непременно.

Отсюда не следует, что можно обойтись без политиков. Они представляют собой еще одну сторону политического порядка — постоянную связь с теми, кем управляют. Пусть чиновник компетентен, однако для принятия решений у него нет полномочий. Он не должен проявлять свою точку зрения на проблему. Полицейский должен арестовать изменника, но кто может быть назван изменником — коллаборационист или участник Сопротивления? Ответ дает не полицейский, а политическая власть. Один и тот же полицейский мог подвергнуть аресту сначала участника Сопротивления, а затем коллаборациониста. Общественность возмущается и протестует, но она не права. В обычное время действия полицейского в соответствии с правилами ограничены выполнением решений, вытекающих из существующего законодательства. В XIX веке Франция переходила от империи к монархии, опять к империи, затем опять к

монархии, далее к еще одной монархии, затем к республике, далее снова к империи, а французская администрация оставалась такой, какой была. При каждой смене режима менялась лишь высшая администрация. Чем выше положение чиновника в иерархии, тем ближе он по статусу к политическому деятелю. Например, административные функции полиции или налогового ведомства политически нейтральны. Они ограничены применением законодательства, которое установлено не самими чиновниками. Так, по крайней мере, считается.

Необходим иной критерий отбора людей, стоящих у власти. Не компетентность, а законность. Министр не всегда лучше чиновника знает, что надлежит делать. В большинстве случаев — хуже. Более того, он не обязательно лучше знает, что́ необходимо обществу. Политический деятель, на которого пал выбор управляемых, облечен законной властью; его функции — определять цели законодательства в рамках режима и ставить задачи перед самим режимом. Одобрение же управляемых может быть двояким: они могут одобрять меры, принимаемые режимом, а также сам режим и идеал, к которому он стремится. Управление — дело политиков в сотрудничестве с администраторами. Коль чиновники компетентны, но не имеют права принимать решения, необходимы те и другие. Поскольку не может быть режима без общения между управляемыми и управляющими, политические деятели, министры выполняют функцию, столь же необходимую, что и функция администрирования.

Здесь, возможно, следовало бы высказать соображения о том, что принято называть судебной властью, независимость которой долгое время была символом либеральности государственных институтов. Независимость судов остается одной из главных отличительных черт западных режимов даже тогда, когда статус судей сопоставим со статусом остальных чиновников. Если я не уделяю правосудию должного внимания, то лишь потому, что прежде всего стремлюсь постичь особенности обоих видов режима. Анализ различий административных и политических функций отвечает нуждам данного курса. Но конституционность политической власти, соблюдение прав

личности предполагают подчинение органов власти правопорядку, то есть наличие судов, способных навязать уважение к правопорядку. В этом смысле подчинение полиции правосудию, а самой администрации — судам (даже судам административным) — действительно необходимо для сохранения подлинно конституционного и либерального режима.

Что же определяет административные функции, с одной стороны, и политических — с другой в современных обществах?

На первый взгляд, институты, с помощью которых осуществляются эти функции, развиваются поразному. Администрация становится все более сложной, она охватывает все более широкие области жизни сообщества, определяет все более многочисленные виды деятельности отдельных лиц. Труднее различать дела частные и государственные. Как рассматривать национализированные предприятия: как одну из форм частного бизнеса, когда по воле случая в роли собственника выступает общество в целом, или же как некое выражение самой государственной власти?

Что бы там ни говорили, можно, отвлекаясь от действительности, различать общие условия деятельности, навязываемые законодательством отдельным лицам, и конкретные виды деятельности отдельных лиц или государственных учреждений. Всеобщее стремление современных администраций к расширению области их непосредственного подчинения оказывается в результате не менее очевидным. Если воспользоваться формулировкой немецких социологов, государство и общество все больше стремятся к отождествлению друг с другом.

Вместе с тем совсем иными оказываются отличительные черты политических институтов и их развития. Политическая система, внутри которой и по воле которой определяется выбор носителей власти, становится все более самостоятельной, обособленной внутри общества. Традиционные системы законов предоставляли власть тем, кто находился одновременно на вершинах общественной и политической иерархий. В старой Франции носитель верховной власти был действительно первым человеком страны и по авторитету и по власти. Ныне же тот,

кто в условиях западного режима временно наделен политической властью, вовсе не обязательно находится на вершине общественной иерархии. Главой совета министров может оказаться бывший учитель или преподаватель высшего учебного заведения, если он победил на выборах или возглавляет некую партию. Благодаря процедурным правилам он получает на какое-то время верховную власть. Иначе говоря, одна из особенностей современных режимов (прежде всего на Западе) — использование при выборе политических руководителей методов, которые выделяют политическую элиту среди прочих элитарных кругов. Все, кто в рамках демократии причастны к политике, представляют часть социальной элиты (вершины общественной иерархии), однако нельзя утверждать, что они поднимаются выше лучших представителей промышленности, науки, интеллигенции или бизнеса. Носители политической власти — это отдельная группа, автономная среди прочих правящих групп. Важнейшие функции возлагаются часто на тех, чье личное состояние или авторитет могут быть весьма незначительными.

Это своеобразие (редко наблюдаемое в ранее известных обществах) объясняется природой законности, основа которой — уже не традиция, не право, принадлежащее по рождению, но определенный способ назначения. Фикция принадлежности верховной власти народу приводит к тому, что власть законна уже постольку, поскольку граждане выбрали своих представителей. Вполне очевидно, что своими представителями граждане могут избирать и видных людей, и незначительных.

В современных социумах состав причастных к политике имеет специализированный характер. Управляют те, для кого занятие политикой стало профессией. В данном случае общественное мнение опять-таки не право, причисляя к «политикам» профессиональных политических деятелей. Нами правят профессиональные политики, в основном избравшие свою карьеру достаточно давно и не оставляющие ее столь долго, сколько могут, а они, как известно, славятся долголетием.

Современная политика непременно предполагает соперничество отдельных лиц или групп. Оно идет

постоянно и (во всяком случае, на Западе) открыто. Объекты и цели политической борьбы не всегда укладываются в рамки существующих институтов или законов. Причиной конфликта подчас оказывается сам режим. Современные режимы (во всяком случае, на Западе) дают возможность усомниться в них самих. Они не препятствуют определенной части управляемых обсуждать достоинства существующего порядка, отрицать легитимность власти и даже призывать к революции, основанной на насилии.

На семинарах юридического или филологического факультетов нередко задают вопрос: корректно ли называть общество демократическим, если в нем существуют партии, не признающие демократию? Я не готов за несколько секунд дать ответ. Достоверно, однако, одно из проявлений своеобразия современных режимов — непрерывные дискуссии по поводу принимаемых носителем верховной власти решений, самого устройства власти и ее основ. С одной стороны, государство по мере расширения администрации все больше отождествляется с обществом, а решения государства воздействуют на жизнь всех граждан. С другой — политический порядок определяется особым разделом жизни общества, куда входят партии, выборы, парламенты. Расширение административной деятельности и специализация политики приводят к конфликтам, касающимся не только носителей власти в промежуточных звеньях, но и устройства органов власти, да и общества в целом.

На Западе одновременно происходит расширение административных функций и специализация политических процедур: такое сочетание, возможно, и парадоксально. В Европе же есть режимы еще одного типа, в которых в силу решаемых государством задач отвергаются какие бы то ни было попытки поставить под сомнение роль Власти — самого режима и его проявлений. Там, по другую сторону «железного занавеса», отождествление общества и государства стало почти всеобъемлющим, а потому невозможно обсуждать достоинства режима, законность правителей и даже благоразумие государственных решений.

IV

Многопартийность и однопартийность

Мы стремимся разработать теорию политических режимов нашего времени. Под теорией я понимаю нечто большее, чем описание режимов в том виде, в каком они действуют. Теория предполагает выявить основные черты каждого режима, с помощью которых можно уяснить его внутреннюю логику.

Сначала мы обратились к функциям в самом формализованном значении слова.

Администрация обеспечивает действие законов, правосудие и полиция выступают как представители администрации в ее негативной функции: их задача — помешать гражданам вступать в открытый конфликт друг с другом, обеспечить соблюдение законов о частной и общественной жизни.

Политическую власть (в узком смысле слова) характеризует ее способность принимать решения, одни из которых определяют отношения с зарубежными сообществами, другие относятся к сферам, которые не регулируются законодательством (например, выбор лиц, которые могут занимать определенное положение в обществе), кроме того, право устанавливать или изменять сами законы. Пользуясь правовой терминологией, можно сказать, что исполнительная или политическая (как в широком, так и в узко специальном значении слова) функции свойственны одновременно исполнительной и законодательной властям.

Воплощаются эти функции в организационных структурах двух типов: с одной стороны, это чиновники и бюрократия, с другой — политические деятели и избирательная система в парламентском или партийном режимах. В современных обществах главную роль играют политические деятели; речь идет о том, чтобы обеспечить подчинение управляемых и взаимосвязь политики с высшими ценностями сообщества, служение которым режим объявляет своей задачей.

В каких же функциях и разновидностях организационных структур проявляется главная переменная величина, основная отличительная черта

режимов? Одно не вызывает сомнений: специфический характер каждого режима заключается отнюдь не в административном порядке. В самых разных режимах административные порядки схожи. Если общества относятся к определенному типу, многие их административные функции схожи, каким бы ни был режим. Политическая система (в узком смысле слова) определяет отношения управляемых и правителей, устанавливает способ взаимодействия людей в управлении государственными делами, направляет государственную деятельность, создает условия для замены одних правителей другими. Таким образом, именно анализ политической системы (в узком смысле) даст возможность обнаружить своеобразие каждого режима.

В качестве критерия я избираю различия между многопартийностью и однопартийностью.

Коль скоро закон дает право на существование нескольким партиям, они неизбежно соревнуются в борьбе за власть. По определению цель партии — не реализация власти, а *участие* в реализации. Когда соперничают несколько партий, необходимо установить правила, в соответствии с которыми протекает это соперничество. Таким образом, режим, при котором существуют многочисленные соперничающие между собой партии, носит конституционный характер; всем кандидатам на законную реализацию власти известно, какими средствами они имеют право пользоваться, а какими — нет.

Принцип многопартийности также предполагает законность оппозиции. Если право на существование предоставлено нескольким партиям и не все они вошли в правительство, то волей-неволей некоторые из них оказываются в оппозиции. Возможность на законных основаниях выступать против правителей — относительно редкое явление в истории. Это отличительная черта определенной разновидности режимов — режимов западных стран. На основании законности оппозиции можно сделать вывод о характере реализации власти — соответствующем законам или умеренном. Определения «соответствующий законам» и «умеренный» не равнозначны. Можно представить способ реализации

власти, который соответствует законам, но не может считаться умеренным — если законы изначально устанавливают такие дискриминационные различия между гражданами, что обеспечение законности само по себе связано с насилием, как, например, обстоит дело в Южной Африке. С другой стороны, не придерживающиеся законов правительства могут выглядеть умеренными: известны деспоты, которые, не подчиняясь конституционным установлениям, не злоупотребляли своей властью в преследовании противников. И все же соперничество партий ведет к тому, что реализация власти все более ограничена существующими законами, а значит, характер ее становится все более умеренным.

Так мы приходим к определению режимов, характерных для Запада: это режимы, где *Конституция устанавливает мирное соперничество за реализацию власти.* Такое устройство *вытекает из Конституции,* фиксированные или неписаные правила регулируют формы соперничества отдельных лиц и групп. При монархическом режиме вокруг короля идет яростная борьба за его милости, в погоне за постами и почестями каждый волен поступать, как вздумается. Соперничество отдельных лиц в окружении монарха не регулируется ни Конституцией, ни какой-либо системой. Можно допустить существование и организованного соперничества, хоть и не определяемого Конституцией в буквальном смысле. В Великобритании внутрипартийная борьба за высшие посты упорядочена, назначения происходят на основе чего-то вроде Конституции, хотя она и не узаконена государством. Во французской же радикальной партии соперничество вряд ли регламентируется Конституцией или подчиняется какому-то порядку; каждый находит свои способы пробиться наверх.

Это примеры *мирного* соперничества. Применение оружия, государственные перевороты, что нередко происходят во многих странах, противоречат сути западных режимов. В условиях демократии случаются конфликты из-за имущества, которое невозможно предоставить всем, но развиваются эти конфликты не хаотически — если нарушаются обязательные правила, это уже выход за пределы режима, именуемого демократией.

Реализация власти в рамках закона по своей природе отличается от того, что называют *взятием власти*. Законная власть всегда временная. Реализующий ее знает, что эта роль отведена ему не пожизненно. При взятии власти завладевший ею не собирается возвращать ее неудачливому сопернику. Идея же демократического соперничества не предполагает, что проигравший непременно проигрывает раз и навсегда. Если победитель препятствует побежденным вновь попытать счастья, он выходит за рамки западной демократии, ибо объявляет в таком случае оппозицию незаконной.

В мирных условиях соперничество за реализацию власти находит выражение в *выборах*. Не стану утверждать, что выборы — это единственная форма мирного соперничества. В греческих полисах, к примеру, был иной принцип назначения, который, согласно Аристотелю, еще более демократичен,— жребий. В самом деле, если исходить из постулата о равенстве и взаимозаменяемости всех граждан, жребий — лучший способ назначения носителей власти. Но в современных обществах такое немыслимо, за исключением особых случаев, например, назначения присяжных. Полагаю, что жребий несовместим с природой современных демократий, которые определяются представительством. В теории представители могли бы определяться наудачу, но граждане современных обществ слишком отличаются друг от друга, чтобы согласиться с каким-то иным методом, кроме выборов.

Ссылка на реализацию власти в *рамках закона* подчеркивает очень важный вывод: сущность режима не сводится к *способу назначения* носителей законной власти. Не менее важную роль играет и *способ ее реализации*.

Какова же главная трудность, с которой сталкивается режим, определяемый через реализацию власти? Приказы отдаются *всем* от имени *некоторых*. В лучшем случае правители представляют некое большинство. Но даже если они представляют меньшинство, все граждане должны подчиняться его воле. Примирить эти две возможности логически нетрудно, что наилучшим образом сделал Руссо. Он писал: подчиняясь приказам большинства, даже если

я не согласен с ним, я подчиняюсь самому себе, ибо я хотел такой режим, где царит воля большинства. В идеале никаких сложностей нет: гражданин принимает систему назначения в соответствии с законами правителей, которые действуют на законных основаниях. То, что сегодня правители представляют враждующие между собой политические силы,— неизбежный второстепенный фактор, который, по сути, ничего не меняет. Подчиняясь приказам, исходящим от представителей своих противников, гражданин проявляет уважение к им же выбранному режиму.

И все же (если мы обратимся к действительности и психологии) такой режим вынужден обеспечивать определенную степень согласия в сообществе, не препятствуя обмену мнениями между партиями. Иначе говоря — постоянным спором соперничающих групп по поводу того, что надлежит делать.

Как добиться согласия в стране, где партии постоянно спорят?

Возможны два метода. Первый связан с государственными институтами и заключается в том, чтобы определенные функции и лица в государстве стояли над межпартийными спорами. Считается, что в некоторых режимах западного типа* президент республики или монарх стоит над партийной борьбой, не имеет с ней ничего общего. Это попытка сделать одного лидера символом единодушия управляемых, согласия с режимом и отечеством. Монарх или президент республики становятся олицетворением всего сообщества.

Второй метод, куда более мучительный, но зато более действенный, заключается в том, что устанавливаются ограничения действиям правителей — с тем, чтобы ни одна из групп не поддалась искушению сражаться, а не подчиняться. Говоря отвлеченно, режим, называемый на Западе демократическим, едва ли мыслим без очерченных пределов, в которых правители полномочны принимать решения.

Оппозиция подчиняется решениям правительства, принятым в соответствии с законами, то есть решениям большинства. Но если эти решения ставят

---

* *Но не в президентских системах.*

под угрозу ее жизненные интересы, условия ее существования, разве она не попытается оказать сопротивление? Есть обстоятельства, когда меньшинство предпочитает борьбу покорности.

Здесь мы выходим за пределы западного демократического режима. Все демократии подвержены риску переступить то, что можно назвать порогом насилия. Обратимся к примеру США: решения конгресса и федерального правительства о расовой интеграции и ныне создают угрозу того, что эту грань в южных штатах могут перейти. Подчас возникает опасность, что белое меньшинство Юга попытается любым путем защитить свой образ жизни, интересы и, если угодно, привилегии даже вопреки Конституции.

Функционирование любого западного режима зависит в основном от намерений противоборствующих партий. Основная проблема западной демократии — сочетание согласия в стране с попытками оспорить само существование данного режима — более или менее разрешима, в зависимости от природы партий, от их целей и воззрений, приверженность к которым они декларируют.

Перейдем к режиму другой разновидности — однопартийному.

Я воздержусь от поисков определения ему. Вряд ли все режимы такого рода могут быть определены одинаково. Между ними огромные различия. Как бы там ни было, мне не хотелось бы придавать моральный или политический характер анализу, который, по моим намерениям, претендует на беспристрастность.

Для таких режимов характерно предоставление *одной* партии монополии на законную политическую деятельность.

Под законной политической деятельностью я подразумеваю участие в борьбе за реализацию власти, а также в определении плана действий и плана устройства всего сообщества. Партия, оставляющая за собой монополию на политическую деятельность, тут же сталкивается с очевидной и трудноразрешимой проблемой: как оправдать такую монополию? Почему некая группа, и только она, имеет право на участие в политической жизни?

У различных однопартийных режимов различные оправдания своей монополии. Я обращусь к примеру советского режима — чистейшему и наиболее законченному образцу подобного рода.

Коммунистическая партия СССР предлагает две системы оправданий: первая основана на понятии подлинного представительства, вторая оперирует понятием исторической цели.

В принципе можно допустить, что определять законных носителей власти путем выборов невозможно из-за воздействия неких общественных сил. Чтобы обеспечить подлинность выбора, истинное представительство народа или пролетариата, необходима, как нам говорят, единая партия. В такой системе оправдания отмена выборов становится условием подлинности представительства.

Вторая система оправдания, неизменно сочетающаяся с первой, опирается на историческую цель. Коммунисты заявляют, что монопольное право партии на политическую деятельность необходимо для создания совершенно нового общества, которое только и отвечает высшим ценностям. Если уважать права оппозиции, построить однородное общество и уничтожить классы невозможно. Для основополагающих преобразований необходимо сломить сопротивление групп, мировоззрение, интересы или привилегии которых оказываются задетыми. Вот почему естественно, что партия требует монопольного права на политическую деятельность, отказывается как бы то ни было ограничивать свою роль, стремится сохранять в полном объеме свою революционную власть, если она ставит перед собой цель создать принципиально новое общество.

Когда монополия на политическую деятельность у одной партии, государство оказывается неразрывно связанным с нею. При западном многопартийном режиме государство считает своим достоинством то, что не руководствуется идеями ни одной из противоборствующих партий. Государство нейтрально — оно терпит многопартийность. Возможно, государство не совсем нейтрально, поскольку требует от всех партий уважения к себе — к своей Конституции. Но, по крайней мере во Франции, оно и этого не делает. Французское государство признает закон-

ность даже тех партий, которые не скрывают своих намерений нарушить республиканскую законность, если им такая возможность представится. В условиях многопартийности государство, не будучи связано с какой-то *одной* партией, в идеологическом смысле носит светский характер. При однопартийном режиме государство партийно, неотделимо от партии, располагающей монопольным правом на законную политическую деятельность. Если вместо *государства партий* существует *партийное* государство, оно вынуждено ограничивать свободу политической дискуссии. Поскольку государство утверждает единственную идеологию — идеологию партии, монополизировавшей власть, оно официально не может разрешить поставить эту идеологию под сомнение. В различных однопартийных режимах свобода политической дискуссии ограничена в разной мере. Но сущность однопартийного режима, где государство определяется идеологией партии, монопольно владеющей властью, одна: запрет *всех* идей, изъятие из открытого обсуждения множества тем, позволяющих обнаружить различные точки зрения.

Логика такого режима не в том, чтобы обеспечить законность и умеренность в реализации власти. Можно вообразить однопартийный режим, где реализация власти подчинена правилам или законам. Государство партийного типа оставляет за собой почти безграничные возможности воздействия на тех, кто в партии не состоит. Впрочем, можно ли требовать умеренности и законности, если оправдание монополизма — размах революционных преобразований, а сами преобразования — провозглашенная цель? Монополия политической деятельности предоставляется одной партии как раз из-за неудовлетворенности действительностью. Единственная партия — по сути своей партия действия, партия революционная. Однопартийные режимы обращены к будущему, их высшее оправдание не в том, что было или есть, а в том, что будет. Будучи режимами революционными, они связаны с элементами насилия. Нельзя требовать от них того, что образует сущность многопартийных режимов,— соблюдения законности и умеренности, уважения интересов и мировоззрений всех групп.

Подчиняется ли каким-то правилам выбор носителей власти при однопартийном режиме или он произволен? В большинстве случаев одна партия овладевает государством не в соответствии с правилами, а силой. Даже тогда, когда она сохраняет видимость уважения к конституционным правилам (что более или менее можно отнести к гитлеровской партии в 1933 году), она немедленно нарушает их, исключив возможность возвращения к настоящим выборам. Может ли стать частью внутренней жизни такой партии подобие мирного соперничества, которое наблюдается в западном режиме? Может ли возникнуть организованное и мирное соперничество отдельных лиц или групп в борьбе за реализацию власти внутри этой партии, а значит, и за реализацию власти в государстве партийного типа?

Такое предположение теоретически нельзя считать нелепым или немыслимым. На бумаге всегда (а порою и в жизни) в партии существует какая-то законность. Партийные руководители избираются; теперешний генеральный секретарь польской коммунистической партии г-н Гомулка был назначен на этот пост решением политбюро в соответствии с законами партии. Можно, следовательно, представить себе политический режим, объявляющий незаконными все партии, кроме одной, но не преследующий диссидентов внутри монопольно владеющей властью партии. Это режим, основанный на соперничестве за реализацию власти в рамках одной партии. На деле такое сочетание наблюдается редко и трудно осуществимо по причинам внутреннего порядка.

Коммунистические партии были и остаются партиями действия, революционными, их структура приспособлена к потребностям в сильной власти. Русская партия образовалась в подполье, в соответствии с учением, изложенным в 1903 г. в пресловутом сочиненьице Ленина «Что делать?». Это — учение о демократическом централизме, на деле предоставляющем штабу партии почти безусловную власть над массой активистов.

Кто же избирает носителей власти в партии-монополисте? Ее члены? Ни одна партия такого типа до сих пор не осмелилась проводить выборы,

где все ее члены были бы избирателями в духе западных демократий. Во всех партиях, даже если проводится голосование по правилам — например, во Французской социалистической партии — господствует влияние секретарей федераций и постоянно действующих функционеров. И чем сильнее влияние секретарей региональных организаций на исход голосования, тем затруднительнее мирное внутрипартийное соперничество: местные и региональные руководители назначаются сверху, их отбирает штаб партии, ее секретариат. Для законного и организованного соперничества избирателям нужна определенная независимость от избираемых. Но во всех однопартийных режимах избираемые, то есть руководители, назначают избирателей, то есть секретарей ячеек, секций или федераций, короче говоря — руководителей во всех звеньях иерархии. Такая разновидность порочного круга в устройстве партий, монопольно владеющих властью, не исключает известной легализации внутрипартийной борьбы за власть. Но с этим же связана постоянная опасность того, что законное соперничество будет вытеснено насилием. Лидер русской коммунистической партии, систематически подбирая региональных и местных руководителей, стал полным хозяином аппарата, хотя теоретически в партии всегда существовали выборные процедуры. Они потеряли всякое содержание, подобно парламентским выборам в условиях однопартийного режима. Партийные и парламентские выборы — не более чем разновидности ритуальных приветствий, коллективные проявления энтузиазма, они не обладают ни одной из тех черт, которые свойственны выборам западного типа.

Такими представляются мне сведенные к своей сути главные черты разновидностей существующих в наше время крайних режимов.

К этим разновидностям мне хотелось бы применить понятие, предложенное Монтескье,— понятие основополагающего *принципа*. Каков принцип плюралистического режима?

В плюралистическом режиме принцип — это сочетание двух чувств, которые я назову *уважением законов или правил* и *чувством компромисса*. Согласс-

но Монтескье, принцип демократии — добродетель, определяемая соблюдением законов и заботой о равенстве. Я изменяю концепцию Монтескье в связи с новыми тенденциями представительства и межпартийного соперничества. В самом деле, изначальный принцип демократии — именно соблюдение правил и законов, поскольку, как мы уже видели, сущность западной демократии — законность в соперничестве, в отправлении власти. Здоровая демократия — та, где граждане соблюдают не только Конституцию, регламентирующую условия политической борьбы, но и все законы, формирующие условия, в которых разворачивается деятельность отдельных лиц. Соблюдения правил и законов мало. Требуется еще нечто — не кодифицируемое и потому не связанное напрямую с соблюдением законов: *чувство компромисса*. Это трудно уяснимое, двусмысленное понятие. В разных культурах склонность к компромиссу считается то похвальной, то предосудительной. В Германии для обозначения политических компромиссов долгое время применялось неприятное слово: Kuhhande*, что по смыслу соответствует барышничеству. Зато английское «compromise» вызывает скорее одобрительную реакцию. В конце концов, соглашаться на компромисс — значит отчасти признавать справедливость чужих аргументов, находить решение, приемлемое для всех.

Недостаточно сказать, что принцип демократии — одновременно и соблюдение законов, и сохранение чувства компромисса: компромисс может быть использован и во благо, и во зло. Трагедия западных режимов в том, что компромисс в иных областях приводит к катастрофам. При проведении внешней политики компромисс весьма часто лишает возможности найти выход из затруднительного положения, поскольку приходится выбирать между политическими курсами, каждый из которых несет определенные преимущества и неудобства. Компромиссная политика не ликвидирует опасности, она их множит, подчас нагромождая неудобства, связанные с проведением каждого из возможных курсов. Чтобы не вызывать взрыва страстей, возьмем при-

---

* Буквально — торговля коровами.

мер достаточно старый: когда Италия Муссолини захватила Эфиопию, перед Францией (по крайней мере, на бумаге) открывались две возможности: предоставить Муссолини свободу действий или же преградить ему путь любыми средствами, вплоть до военных, принимая во внимание, что соотношение сил между Италией, с одной стороны, и Великобританией, Францией и ее союзниками — с другой, исключала вероятность военного конфликта. Выбранная же политика свелась к применению санкций, однако не достаточно эффективных, чтобы предотвратить какую бы то ни было опасность ответных военных действий со стороны Италии. Следствием этих санкций — вполне предсказуемым — стало недовольство Италии, достаточно сильное, чтобы толкнуть ее в стан держав Оси. Однако эти санкции не настолько мешали Италии, чтобы вынудить ее прекратить военные действия в Абиссинии.

Нередко удачен компромисс в экономике. Но и в этой области он порой недостижим: экономика, наполовину административная, наполовину рыночная, не эффективна. Возможно, ключевая проблема западных режимов и сводится к тому, как использовать компромисс, не порывая ни с одной частью сообщества и не упуская из виду необходимость действовать эффективно. Само собой, нельзя найти решение раз и навсегда. Будем считать, что плюралистический режим успешно функционирует, если находится благое использование компромисса.

В чем принцип однопартийного режима?

Очевидно, он не может заключаться в уважении к закону или в духе компромисса. Вероятно, такому режиму угрожала бы гибель, будь он заражен, разложен демократическим духом компромисса. Принцип режима с партией-монополистом противоположен демократическому.

В поисках ответа, который мог бы дать некий последователь Монтескье на вопрос о принципе, лежащем в основе однопартийного режима, я пришел — без особой уверенности — к выводу: им могло бы стать сочетание двух чувств. Веры и *страха*.

Сказать, что один из принципов однопартийного режима — вера, значит, по сути, повторить, но в

иных выражениях, уже сказанное: монополизировавшая власть партия — это партия действия, партия революционная. Но чем же сильна революционная партия, как не верой своих членов? Мы знаем, что свою монополию она оправдывает великими планами, великой целью, к которой стремится. Чтобы за революционной партией следовали и ее члены, и беспартийные, они должны верить в ее учение, в провозглашаемые ею идеи. Но этой партии, пока общество не однородно, противостоят подлинные или возможные противники, предатели, контрреволюционеры, зарубежные агенты (не важно, как они называются) — все, кто не приемлет провозглашаемые партией идеи. Устойчивость режима должна противостоять неверию или враждебности тех, кто не стоит полностью на позициях монополизировавшей власть партии. Каким должно быть наиболее благоприятное для безопасности государства состояние духа таких диссидентов? Страх. Те, кто не верит официальному учению государства, должны убедиться в своем бессилии. Немного более полувека назад Морис Баррес* дал достаточно циничную формулировку: социальный порядок основан на осознании народом своего бессилия. Несколько ее изменив, скажем, что для прочности режимов, основанных на партийном монополизме, нужны не только вера и энтузиазм верующих, но и непременно — сознание своего бессилия неверующими.

Чувство бессилия у неверующих может сопровождаться смирением, безразличием, страхом. Страх необходим. Революционная партия, будь то в 1789 году, 1917 или 1933 (у всех революционных партий есть общие черты), не может не пробудить энтузиазм меньшинства, не наводя страха на тех, кто энтузиазм не разделяет. Революционная партия порождает сильные чувства. Если вы не разделяете энтузиазма, который воодушевляет ее сторонников и который она пропагандирует, вас должно поразить оцепенение.

Я попытался выделить некоторые черты противоположных режимов, взяв за основу анализа некую переменную величину, рассматриваемую в качестве

---

* Баррес Морис (1862—1923) — французский писатель.

главной. Такая логическая операция возможна, поскольку политические системы — не просто сумма государственных институтов. У политических систем своя внутренняя логика. Применяемый метод обоснован, если не доведен до крайности. Анализируя, я не описываю все многообразие систем и их конкретные черты, а пытаюсь постичь некий отвлеченный тип системы. К счастью или к несчастью, государственные институты не отражают закостенело, раз и навсегда, сущность системы. В режиме с монопольной властью одной партии не все вытекает из монополии на политическую деятельность. Однопартийные режимы, равно как и многопартийные, не одинаковы. Оправдать выбор главной переменной можно тем, что она дает возможность обнаружить многие важные черты, в том числе и самую существенную.

Исходя из понятий однопартийности и многопартийности, мы вывели критерий законности, пригодный для любого режима: формы отношения к государству и правительству; свободы, возможные в пределах каждого режима; наконец, *принцип* режима, в понимании Монтескье.

V

Главная переменная величина

В предыдущей главе я описал политические режимы двух типов, в их основе лежит либо партийный монополизм, либо мирное и организованное соперничество нескольких партий. Я выделил режим, в котором точные правила устанавливают условия выбора правителей и реализацию власти. Я показал, каким образом претендующая на монополию политической деятельности партия может ставить целью революционное преобразование общества и во имя этой цели пользоваться на законных основаниях (во всяком случае, в соответствии со своей доктриной) абсолютной властью. Я уточнил, что речь идет о двух идеальных теоретических типах, а вовсе не о классификации политических режимов. На основе этих двух идеальных типов мне хотелось бы

дать набросок возможной классификации всех политических режимов современных обществ, а затем оправдать выбор многопартийности или однопартийности в качестве критерия.

Анализируя каждый из идеальных типов, я исходил из сочетания нескольких переменных величин. В идеальном типе многопартийного режима я проследил, как одновременно проявляются существование нескольких партий, конституционные правила выбора правителей, конституционный характер реализации власти. Эти факторы не обязательно сочетаются гармонично. Возможны режимы, где они не стыкуются. Аналогичная ситуация возможна и в режиме, где господствует партия-монополист.

Зададимся наконец вопросом: существует ли режим третьего типа — беспартийный? Такую гипотезу не стоит считать нелепой. Несколько дней назад я обратился к одному советскому социологу с вопросом: будет ли коммунистический режим будущего однопартийным или многопартийным? Он ответил: ни таким, ни другим — партий вообще не будет. В качестве идеала на горизонте будущего возникает режим третьего типа.

Сегодня я пойду в обратном порядке — начну с режимов, где у власти партия-монополист.

В идеальном варианте такого режима в нем действует партия, если можно так сказать, совершенная в смысле своей тоталитарной устремленности, воодушевляемая определенной идеологией (идеологией я называю здесь всеобъемлющее представление о мире, о прошлом, настоящем и будущем, о том, что существует и что должно существовать). Эта партия стремится к полному преобразованию общества — чтобы оно соответствовало требованиям ее идеологии. Партия, монополизировавшая власть, строит чрезвычайно далекие планы. В ее представление о будущем обществе заложено отождествление общества и государства. Идеальное общество — бесклассовое; отсутствие различий между социальными группами предполагает, что каждый человек выступает — во всяком случае, в труде — как составная часть государства. Итак, налицо множество элементов, в совокупности определяющих тоталитарный тип: монополия партии на политику; попыт-

ки наложить печать официальной идеологии на все сообщество; стремление к коренному обновлению общества во имя результата, определяемого как единство общества и государства.

Я выбрал «совершенную» партию: были и есть другие — претендующие на монополию политической деятельности и не принимающие так уж всерьез идеологию или приверженные идеологии с не столь масштабными задачами. Так появляется еще одна категория режимов с партией-монополистом. Возьмем, например, фашистскую партию, оставлявшую за собой монополию на политическую деятельность, но исповедовавшую идеологию, которая не была тотальной. Многие виды деятельности оставались вне идеологической сферы. На первых порах фашистская партия не хотела вызывать потрясений общественного порядка. Главное в фашистской идеологии — утверждение государственной власти, необходимость сильного государства. Некоторое время концепция сильного государства сочеталась с либерализмом в экономике. Партия, монополизировавшая власть и руководствующаяся идеологией, которая допускает разграничение светской и религиозной, личной и общественной деятельности, с одной стороны, и государства — с другой, не заходит далеко в насилии, не вызывает в равной степени энтузиазма и страха.

В режимах третьей разновидности монополизировавшая власть партия сама себя характеризует как временную, как бы уполномоченную на проведение революционных преобразований, однако она согласна на воссоздание многопартийности или режима, основанного на законах и выборности. Пример такого однопартийного режима дает нам Турция. Партия под руководством Кемаля Ататюрка успешно провела революцию, на развалинах Оттоманской империи воздвигла национальное государство, осуществив отделение церкви от государства. В течение длительного времени революционная партия оставляла за собой монополию на политическую деятельность, затем, после войны, провела выборы, которые, несмотря на всеобщий скептицизм, объявила свободными. Скептицизм оказался необоснованным, поскольку партия доказала свою искренность,

потерпев поражение на выборах. Победившая оппозиция — демократическая партия выиграла и следующие выборы, подлинность которых уже не столь очевидна, так как победу на них одержала партия правящая. В дальнейшем демократическую партию лишил власти военный переворот, но многопартийность в стране сохранилась.

Может быть, режимы, в которых одна партия монополизирует власть, носят временный характер именно из-за идеологии этой партии? Провозглашая себя революционными, они как бы признают, что их деятельность не может длиться бесконечно. Да, они должны преобразовать общество, но по завершении этого процесса неизбежно начнется новый этап. Я не довожу рассуждение до конца, ибо сама собой напрашивается формула: нет ничего продолжительнее временных явлений. Ортодоксальные коммунисты не станут утверждать, что однопартийный режим — образцовый, высший. Образцовый режим может маячить очень далеко на горизонте. Более того, национал-социализм или фашизм создавались как авторитарные режимы *во имя определенного принципа власти*: оставляя за собой монополию на политическую деятельность, они ссылались на законность этой монополии. Монополия на политическую деятельность в коммунистических режимах преподносится как законная в свете стоящей перед ними задачи.

Я не отвечаю на вопрос, в какой мере переходными по своей природе являются все режимы с монополизировавшей власть партией. Скажем пока, что можно различать режимы таких типов по природе их учения, масштабности планов, насильственности средств и представлений об идеальном обществе, которое они хотят создать. Однопартийные режимы можно также классифицировать по уровню их тоталитаризма, причем уровень этот определяется тем, насколько всеохватывающий характер носит идеология партии-монополиста, насколько режим отождествляет государство и общество.

Теперь рассмотрим возможные и существующие типы многопартийных режимов. В сконструированном мною идеальном типе — несколько партий, власть

реализуется по конституционным правилам, все граждане участвуют в справедливых выборах. Не требуется особого воображения, достаточно некоторой наблюдательности, чтобы установить: эти черты присутствуют вместе не всегда. Есть многопартийные режимы, например, в Южной Америке, в истории которых были авторитарные эпизоды. Бывает, соперничество на выборах нарушается из-за давления со стороны правительства. В некоторых режимах часть населения объявляется вне рамок закона и не участвует в выборах. В Южной Африке подлинное соперничество на выборах возможно только среди белых; черные в нем не принимают участия. В южных штатах США многие чернокожие избиратели на деле оказываются вне политического соперничества. Даже если их исключают не на законных основаниях, им зачастую нелегко реализовать свои политические права. В некоторых, внешне многопартийных режимах плюрализм остается фикцией: у многочисленных партий на деле нередко оказывается общее руководство. Это относится к восточноевропейским режимам народной демократии; к некоторым так называемым слаборазвитым странам, где партии выражают интересы мало отличающихся друг от друга групп и, в конечном счете, становятся игрушками в руках нескольких людей — вождей племен, латифундистов, правителей.

Говоря абстрактно, можно было бы выделить три разновидности несовершенств в сравнении с идеальным многопартийным режимом. Прежде всего — постоянное несоблюдение законности, основанной на выборах. Целые группы граждан отстраняются от участия в них или же результаты выборов фальсифицируются. Второе: нарушение правил мирного соперничества партий или депутатов. И наконец — нарушение принципа представительства: поскольку партии выражают интересы незначительного меньшинства страны, нарушается связь между группами общества и партиями, претендующими на то, чтобы представлять их.

Теперь несколько слов о режимах третьего типа — не однопартийных и не многопартийных, не использующих выборы в оправдание своей законности

и не декларирующих собственную революционность. Режимам без партий необходимо в известной мере деполитизировать управляемых. Во Франции мы пережили попытку такого рода — режим Виши в первой своей фазе не характеризовался ни однопартийностью (партии-монополиста там не было), ни многопартийностью (все партии практически исчезли). В те годы правители неустанно повторяли, вслед за Шарлем Моррасом, что французов надо отучить от привычки высказываться по любому поводу. Законность напоминала порядки, установленные добрым главой семейства или просвещенным деспотом, который, будучи окружен советниками, не очень к ним прислушивается. Это авторитарное и деполитизированное правление смогло существовать во Франции только в исключительных обстоятельствах оккупации.

Не исключено, что и в наше время есть подобные режимы. Но пока они практически не встречаются в странах, полностью вовлеченных в промышленную цивилизацию. К ним принадлежит Португалия: время от времени там проводятся выборы по спискам, одобренным полицией или же составленным робкой оппозицией. Однако режим не опирается на непрерывно и активно действующую партию. Правительство строит систему представительства, включающую парламент или партии, но то, что в Португалии называется партией, имеет мало общего с партиями демократических стран — даже умеренными. Главная идея — обеспечить считающимся компетентными правителями монопольное право на принятие решений и на пропаганду политических идей. В Испании режим генерала Франко также нельзя причислить к однопартийным, он несопоставим с национал-социалистической или коммунистической моделями. Но это и не многопартийный режим. Он авторитарен — по своим представлениям об Испании, а также по декларируемому им учению о законности. Он приемлет организованные группы — Фалангу, церковь, армию, профсоюзы,— но ни одна из них не рассматривается в качестве исключительной опоры государства.

Если при всей своей краткости наш анализ достаточно точен, следует рассмотреть возражения про-

тив метода, которому я следовал, устанавливая различия двух идеальных типов. Вправе ли мы принять за точку отсчета понятия однопартийности и многопартийности? В конце концов партия лишь одно из многих общественных образований, партии даже не представляют собой официального института. Конституции Англии и Франции их откровенно игнорируют. Партии — всего лишь часть социальной действительности, связанная с ограниченной сферой политического соревнования, целью и следствием которого становится назначение правителей. Корректно ли воссоздавать идеальные политические режимы нашего времени на реалиях, которые даже не зафиксированы в конституциях? Мне хотелось бы оправдать сделанный мной выбор и, кроме того, ограничить сферу моей классификации.

Я выбрал этот критерий и противопоставил режимы с партией, монополизировавшей власть, режимам многопартийным, ибо в современной истории я усматриваю такое противопоставление. Несомненно, в нынешней Европе режимы с революционной единой партией, монополизировавшей право на политическую деятельность, и режимы, в рамках которых многочисленные партии принимают мирные правила соперничества, резко отличаются. Более того, на примере Венгрии конца 1956 года мы видели, что крах режима с партией-монополистом немедленно приводит к возникновению, в качестве альтернативы, многопартийности. Следовательно, такая альтернатива вполне реальна.

Партиям отводится важнейшая роль в реализации одной из функций всех политических режимов: выборе правителей. Законность традиционная исчезает, новый принцип законности, о приверженности которому ныне заявляют почти все режимы,— демократический. Повторяем: власть исходит от народа, народ же обладает верховной властью. Вот почему важнейшим фактором — если демократическая верховная власть очевидна — становится *выражение демократического принципа в формах государственных институтов*. Однопартийность и многопартийность — формы выражения одного принципа: верховная власть принадлежит народу опосредованно, через государственные институты.

В пользу моего выбора есть и другой довод из истории политических идей. Классическая философия всегда классифицировала режимы на основе численности носителей верховной власти: при монархии верховная власть в руках одного; при олигархии — нескольких; при демократии — у всех, принадлежит народу. Я намеренно использовал эту арифметическую фикцию. Политические режимы нашего времени нельзя определять как монархические, аристократические или демократические. Английский режим — монархический, поскольку там королева, аристократический, поскольку большинство правителей набирается из численно ограниченного класса, и демократический, потому что голосуют все. Мне казалось уместным вновь обратиться к противопоставлению «один — несколько» и применить его к партиям, вместо того чтобы применять к носителям верховной власти.

В каком-то смысле такое противопоставление может даже удивить — поскольку Конституция не оговаривает официального существования партий; тем не менее оно обоснованно. Партии — активные фигуры политической игры. Именно в партиях начинается борьба за власть, именно с помощью партий прокладывается путь к реализации власти. Значит, ставя вопрос об однопартийности или многопартийности, я применяю к современной политической жизни классическое (для философии прошлого) противопоставление.

В свое время Монтескье отметил новое по отношению к традиционной философии явление — *представительство*. Он понял его значение: формальный носитель верховной власти не отождествляется с носителем реальным. Когда древние греки говорили о демократии, народ действительно мог реализовать верховную власть. Народное собрание принимало множество решений. Конечно, исполнители, чиновники порой отдавали приказы, тем не менее носитель верховной власти имел возможность властвовать на деле. С появлением представительства теоретический носитель верховной власти реально больше не правит. Одновременно все более решающая роль переходит к партиям, поскольку представительство и определяет однопартийность

или многопартийность. В пользу избранного мною метода служит еще один довод. В Советском Союзе переход от единовластия вождя к коллегиальному руководству и обратно происходит без существенных перемен в режиме. Зато переход от однопартийности к многопартийности повлек бы за собой коренное преобразование общества. Мне представляется, что однопартийность или многопартийность, выражение принципа представительства на уровне государственных институтов — по крайней мере *один* из важнейших аспектов всех режимов в современных обществах.

Мне хотелось бы сослаться на последний довод: партии — активная часть политики; политическая игра, политические столкновения происходят между партиями или внутри них. Одна из особенностей современных систем состоит в том, что столкновения считаются в них нормой. Конституционные режимы приемлют соперничество отдельных лиц или групп в борьбе за выбор правителей и даже за устройство сообщества. Рассматривать в качестве критерия однопартийность или многопартийность — значит считать *форму организации партийной борьбы характерной для политических режимов нашего времени.*

Поэтому мне представляется необходимым остановиться на возражении, которое возникает, если пользоваться классификацией политических режимов современных обществ, предложенной Эриком Вейлем в его «Политической философии».

Согласно Вейлю, в современных государствах только два типа управления. Он называет их *автократическим* и *конституционным.*

«Об автократическом управлении,— пишет он,— можно говорить тогда, когда правительство обсуждает, принимает решения и действует без какого бы то ни было вмешательства иных инстанций. За отсутствием другого термина мы станем говорить об управлении конституционном, если правительство считает себя и считается гражданами обязанным подчиняться законам и правилам, которые ограничивают свободу его действий вмешательством других учреждений. Так определяется законность правительственных актов».

Иначе говоря, решающим критерием становится конституционность реализации власти: с одной стороны, режимы, где решения правительства немедленно становятся обязательными, с другой — режимы, в которых действуют конкретные правила оценки законности правительственных решений.

Обсуждая это различие, которое я отнюдь не собираюсь оспаривать (оно представляется мне приемлемым в философском плане), мы должны рассмотреть отношения между *многопартийностью, законностью, основанной на выборах,* и *конституционностью реализации власти.*

Главным с исторической точки зрения фактором было постепенное развитие первоначально авторитарных форм власти в направлении конституционной формы. Многовековая политическая борьба шла вокруг установления конституционных правил для ограничения произвола монархической власти. Эта борьба прежде всего развернулась в Англии. Она вызвала революции и философские споры о верховной власти, о правах монарха и парламента. Имеет ли монарх право все решения принимать единолично? В результате были установлены правила принятия решений и провозглашена необходимость других властных инстанций, например, для утверждения законности налогов — парламента.

Добавлю, что власть на конституционной основе может (или могла) быть реализована и без многопартийности и демократии. В Англии правительство давно конституционно, хотя правом голосовать обладало меньшинство и не было партий, борющихся за голоса избирателей. Основанная на законах форма административных действий и конституционная форма принятия исполнительной властью решений не предполагают ни всеобщего избирательного права, ни многопартийности.

Дальнейшая демократизация — распространение избирательного права, появление партий — последовала в Англии вслед за конституционной эволюцией власти. Основное различие британской и французской политических эволюций объясняется тем, что Великобритания пришла к конституционной реализации власти раньше, чем к демократизации. Во Франции же сначала были сделаны революцион-

ные попытки демократизации, и только потом произошел переход к конституционной реализации власти.

Французская революция сначала решила ввести некий эквивалент Конституции, которая уже существовала в Великобритании: выборы, представительное собрание, точные правила, по которым король обязан сотрудничать с представителями народа. Вскоре исторические бури разметали Конституции, и мы видим ряд режимов — республиканских, революционных, императорских,— в которых власть основана на произволе, деспотии, однако все эти правители искали себе оправдание в демократии. Французские либералы XIX века непрестанно размышляли о различии политических эволюций в Великобритании и во Франции. По их мнению, несчастье Франции в том, что она попыталась сначала создать республику или демократию вместо того, чтобы первонаперво ввести необходимые для соблюдения свобод конституционные порядки. Сопоставляя судьбы обеих стран, либералы полагали, что англичане достигли своей цели — конституционного режима и личных свобод — без революции (революция произошла в XVII веке), тогда как Франция, с ее призывами к демократии и республике, металась от кризиса к кризису, так и не достигнув искомой цели.

Если говорить о прошлом, нет сомнения, что монархическим режимам удалось перейти к конституционной практике без массовых политических партий в их нынешнем виде и без всеобщего избирательного права.

В историческом аспекте более чем очевидно коренное различие конституционных и автократических режимов. В философском же плане Эрик Вейль, вероятно, прав. Но при попытках социологического анализа различных политических режимов применение конституционного критерия создает некоторые трудности.

Реализация власти может быть в разной степени конституционной. Во всех режимах есть установленные законом правила принятия правительственных решений. У Советского Союза есть Конституция, но правители не очень с нею считаются. Но и на Западе правители, ссылаясь на конституции, дейст-

вуют в обход их, прибегают к различным махинациям.

Автократические режимы, как их определяет Эрик Вейль, это и традиционные додемократические, и авторитарные или тоталитарные постдемократические режимы, сформировавшиеся одновременно с многопартийными. Следует ли смешивать режимы традиционные, такие как португальский или испанский, и революционные, современные — национал-социализм или коммунизм? У них есть общие черты, в том числе — отказ от конституционных правил реализации власти*, но с исторической и социологической точек зрения их нельзя отнести к одному типу.

Противопоставление конституционных режимов неконституционным предполагает, что философ делает выбор между двумя этими типами. Если однопартийные режимы по своей природе неконституционны, а в основе современного режима — конституционность, то конституционные режимы — либо пережитки прошлого, либо явление временное. Такое толкование с самого начала отвергает идеологическую систему, на которой зиждется режим, где партия монопольно владеет властью. В социологическом плане нам не следует избирать критерий, который заранее устраняет оправдание, используемое каким-то данным режимом. Такая классификация приводит (по Эрику Вейлю) к однозначному определению признаков современного государства.

Наконец, деление режимов на автократические и конституционные исключает из рассмотрения еще одну современную проблему: противоположность тотального государства и государства, где слияние общества с государственными институтами ограничено. В свете политической философии Вейля, противопоставление плановой и рыночной экономики не играет никакой роли. Вейль не придает решающего значения различиям между обществом, не слившимся с государством,— и государством, стремящимся включить в себя все проявления общест-

---

* *Правда, по отношению к Испании и Португалии это утверждение несколько сомнительно.*

венной жизни. Я не утверждаю, что он заблуждается. Следует лишь иметь в виду, что противопоставление политических режимов двух типов на основе однопартийности или многопартийности целесообразно как один из возможных методов. При этом остаются вопросы, решаемые на основе классификации, основанной на противопоставлении конституционного режима неконституционному.

В заключение задумаемся о последнем аспекте противопоставления многопартийных режимов однопартийным.

Избрать такой критерий — значит полагать, что современные политические режимы определяются *формами партийной борьбы*. Как мы установили, изучая социальные группы*, современные общества по необходимости разделены на классы или прослойки. Они неоднородны, отдельные лица образуют подгруппы, и эти подгруппы ведут борьбу за распределение национального дохода, за иерархию доходов, отстаивают свои представления о самом сообществе, борются за установление определенного политического режима.

В условиях неоднородного индустриального общества и обилия различных групп становится ясен смысл противопоставления многопартийности и однопартийности. Возможны две крайние формы партийной борьбы.

Первая — открытое соперничество, которое облечено свободой, предоставляемой группам на основе общности интересов и политическим группировкам, в чьи цели входит завоевание голосов и приход к власти. В многопартийных режимах власть обычно реализуется конституционным путем. Сочетание многопартийности и конституционных методов выявляет главные проблемы, стоящие перед режимом. В историческом плане многопартийные режимы — наследники конституционных или либеральных режимов. Для них характерно стремление сохранить ценности либерализма в условиях демократизированной политики: чтобы действовать эффективно, правительства должны располагать достаточной

---

* *См. «Классовую борьбу».*

властью, реализовывать ее в конституционных рамках, соблюдая права отдельных граждан.

Диалектика многопартийных режимов — это диалектика либерализма и демократии, демократии и эффективности. Мы попытаемся понять фундаментальные проблемы многопартийных режимов, связанные с противоречием между Конституцией и демократией, между демократией и эффективностью.

Что касается однопартийных режимов, то их проблемы связаны с монополизмом партии. Или у партии нет идеологии, и тогда у власти меньшинство, препятствующее управляемым публично обсуждать проблемы управления; или же партия, руководствуясь идеологическими установками, стремится коренным образом преобразовать общество. Но партия, оправдывающая дискриминацию других партий своей революционной направленностью, встает перед выбором: либо перманентная революция, либо — в случае отказа от таковой — стабилизация режима с упором на традиции или технократию. Гитлеровский режим оказался недостаточно живучим для того, чтобы подойти к этой альтернативе. Коммунистический — уже стоит перед ней. На нынешнем этапе возникает вопрос: ищет ли коммунистическая партия выход в перманентной революции — или же соглашается на разрядку, а в более широком смысле слова — на постепенное восстановление конституционной власти? Совместимо ли постепенное введение конституционности с монопольным положением партии?

Мы видели, как в Польше подобная эволюция началась. Там были предприняты шаги, чтобы реализация власти соответствовала определенным правилам при сохранении монополизма партии.

Такой вариант вполне возможен. Достаточно соблюдать обязательные для руководителей партии правила проведения выборов, чтобы при сохранении однопартийности власть могла стать конституционной. Но как оправдать монополизм партии, когда такое положение уже достигнуто? И если внутри партии свободно конкурируют различные группы, почему бы не называть их партиями?

В многопартийных системах нужно сохранять эффективность государственной власти и обеспе-

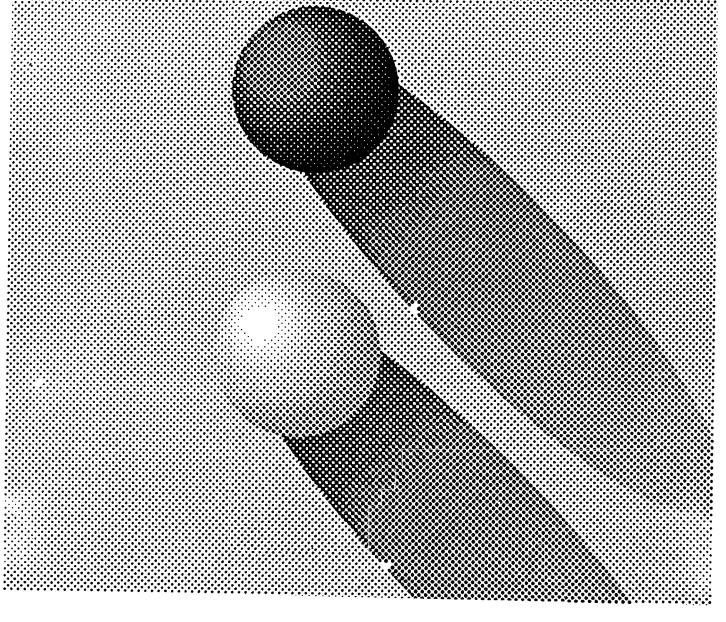
чивать соблюдение конституционности, несмотря на кипение страстей в обществе и столкновения интересов. В однопартийном режиме необходимо оправдывать политический монополизм. Не стану утверждать, что последнее соображение позволяет уяснить sub specie aeternitatis* сущность современных политических режимов. Может быть, лишь станет ясней присущая каждому их типу диалектика, и тогда удастся услышать диалог режимов, соперничество которых характерно для всей нашей эпохи.

---

* В наиболее общем плане *(лат.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Конституционно-плюралистические режимы



VI

Анализ главных переменных величин

Во второй части я намерен анализировать режимы западной демократии, или, лучше сказать, конституционно-плюралистические режимы,— что сопряжено с определенными трудностями. Этим режимам присуще многообразие форм государственных институтов и способов их функционирования. Практически невозможно дать классификацию основных разновидностей. Режимы с монопольно владеющими властью партиями можно разделить по партийным идеологиям и целям, по используемым средствам, по намечаемым общественным преобразованиям. При изучении разнообразнейших конституционно-плюралистических режимов труднее выделить институты, которые можно брать за основу, рассматривая конкретные разновидности этих режимов.

Разумеется, во всех конституционно-плюралистических режимах существуют нормы, согласно которым верховные правители должны сотрудничать с другими инстанциями, определены условия, при которых граждане получают право оспаривать решения администрации или правителей. Однако фундаментальное своеобразие режимов и многообразие институтов затрудняют выявление отдельных разновидностей. В сегодняшней лекции мне хотелось бы объяснить, почему так происходит.

Я ищу возможность сравнивать различные плюралистические режимы. Это необходимо для анализа главных переменных величин, с которыми нам придется иметь дело для понимания стоящих перед

режимами основных проблем и для описания конкретных режимов, подробным изучением которых нам предстоит заняться.

Как правило, изучение конституционно-плюралистических режимов ведется в четырех направлениях.

1. Политическая система рассматривается как особая социальная система — от выборов и принимаемых правительством решений до партийных структур, функционирования парламента и назначения министров.

2. Политическая система рассматривается взаимосвязанно с тем, что принято называть *социальной инфраструктурой*. Реализация власти, принятие решений зависят от социальных групп, их интересов и устремлений, форм борьбы, постоянного соперничества и возможности согласия.

3. Анализируются функции администрации, которая одновременно исполняет правительственные решения, служит техническим советником правителей и совокупностью инстанций, необходимых для деятельности частных лиц.

4. Наконец, подвергается изучению то, что за неимением более точного термина, я буду называть историческим окружением политической системы. Действительно, каждая политическая система испытывает влияние, иногда определяющее, конгломерата традиций, ценностей, образов мысли, присущих каждой стране.

Эти четыре аспекта, разумеется, можно отделить друг от друга лишь теоретически, но отнюдь не в реальной жизни. Функционирование любого парламента зависит от избирательного и конституционного законов (первое направление изучения), а вот политическая борьба в парламенте проясняется только при понимании соперничества социальных групп за пределами политической системы. Наконец, все аспекты парламентской жизни определяются не только Конституцией — важны также представления политиков о допустимости и недопустимости тех или иных действий, о законности средств. Некий американский социолог проследил

взаимосвязь форм парламентского соперничества во Франции и соперничества в начальной, средней и высшей школе. Оказалось, что есть некий французский стиль парламентских баталий, который отчасти смахивает на способы самоутверждения школьников, студентов и пр. У каждой страны свой стиль: в США — это резкость и сердечность, в Великобритании — благоразумие, аристократизм, непреклонная беспощадность.

Политические науки изучали в основном политическую систему как таковую; ее органы и функции исследовались отдельно друг от друга. Я же намерен анализировать главные переменные величины.

Первая величина, которой обычно занимаются правоведы,— сама *Конституция,* интерпретируемый политиками основной закон.

Различают конституции президентского и парламентского типов. Почти в чистом виде их можно обнаружить соответственно в США и в Великобритании.

Для американской системы характерны раздельные выборы исполнительной власти в лице президента и законодательной власти — палаты представителей и сената.

Президент избирается на основе всеобщего избирательного права и непрямых выборов, поскольку, в соответствии с Конституцией, граждане страны выбирают только выборщиков президента. Мандат, который получает подавляющее большинство выборщиков, носит императивный характер, ибо заранее известно, за какого кандидата голосует каждый из них. Следовательно, результаты известны уже тогда, когда проголосовали простые граждане,— при условии, что один из двух кандидатов получил абсолютное большинство. Если ни один из кандидатов не получает абсолютного большинства голосов президентских выборщиков, президента избирает палата представителей. Это, по сути, прямые выборы на основе всеобщего избирательного права, что бы там ни говорилось в американской Конституции. Есть, однако, два этапа, предшествующие конституционным. Кандидаты на пост президента США

избираются партийными съездами, делегаты же на эти съезды, или конвенции, назначаются — или избираются — сообразно процедурам каждого штата. Какова бы ни была их сложность, система приводит к тому, что носителя исполнительной власти выбирает вся совокупность граждан.

Свою власть президент США может реализовать лишь в согласии с палатами конгресса: палатой депутатов или сенатом. Но партия, которую представляет президент, не обязательно располагает большинством в палатах. Чтобы система была эффективной, президент-республиканец должен взаимодействовать с сенатом, где большинство — демократы.

Президент США набирает министров не из парламента. Он может их и отозвать. Только в некоторых случаях назначения должны утверждаться сенатом.

Правительство Великобритании (по крайней мере, согласно Конституции — в том виде, в каком она действует ныне) — представитель палаты общин. При двухпартийной системе правительство опирается на большинство депутатов, и американский вариант, где глава государства может не принадлежать к партии, за которой большинство, в Англии немыслим.

Обе системы в настоящее время двухпартийны, однако у партий в Великобритании и США есть существенные различия. Обе английские партии дисциплинированны: в палате общин депутаты-консерваторы не могут не голосовать за правительство консерваторов всякий раз, когда «whips»* отдают соответствующее приказание. В американской же системе партии не дисциплинированны, и обычно президент правит, опираясь на большинство собственной партии и меньшинство из числа оппозиционной партии.

Оба примера иллюстрируют родственные и в то же время противоположные типы конституций. В обоих случаях взаимодействовать должны все высшие государственные инстанции. Приходится слы-

---

* Кучер; кнут *(англ.)*.

шать о разделении властей в США. В каком-то смысле это верно. Носитель исполнительной власти, президент, избирается иначе, чем носитель законодательной власти — палата представителей и сенат. Однако функционирование режима требует взаимодействия президента и конгресса. Точно так же английская система предполагает постоянное взаимодействие правительства и Палаты общин. В обеих системах власть ограничена благодаря ее рассредоточению между многочисленными инстанциями. По выражению Монтескье, власть останавливает власть. Президент США располагает чрезвычайно широкими полномочиями, но — в пределах, очерченных Конституцией. Он пользуется определенной свободой при проведении внешней политики, но для объявления войны и подписания мира ему нужна санкция конгресса. Вместе с тем оба режима действуют так, что решения все-таки принимаются. Цель конституционного режима — ограничить власть, не парализуя ее. Президент США имеет право подбирать себе сотрудников и направлять дипломатию. Правительство Великобритании опирается на парламентское большинство, которое обычно одобряет его предложения и действия, пока недовольство его действиями не приводит к удалению премьер-министра его же собственной партией. Иногда депутаты большинства предпочитают провести новые выборы, чтобы не санкционировать неугодные им действия правительства. Наконец, в США и Великобритании судебная власть независима, у гражданина есть средства для защиты от произвола администрации или правителей.

С точки зрения конституционного устройства можно считать идеальными оба эти типа правления — президентский и парламентский, полагая, что все конституции плюралистических режимов более или менее близки.

Различия конституций не дают возможности классифицировать режимы. В самом деле, оба способа правления — английский и американский — схожи больше, нежели парламентское правление во Франции с парламентским правлением в Великобритании. Французский режим, Конституция которого не столь уж отлична от английской, функцио-

нирует совершенно иначе. В нашей системе несколько партий, а не две. В Великобритании исполнительной власти обеспечена устойчивость, тогда как у нас она очень нестабильна. Британский избирательный закон, чрезвычайно простой, не менялся. Выборы проходят в один тур, и избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. Франция, видимо, установила мировой рекорд по изменениям не только Конституции, но и избирательных законов.

Вот почему, если классифицировать конституционно-плюралистические режимы лишь в категории «парламентский — президентский», то в одной группе окажутся режимы, практика которых не имеет ничего общего. Конституционные различия, обоснованные с правовой точки зрения, пригодны для использования в социологическом изучении — при обозначении направлений, следуя которым можно представить себе идею того или иного режима. Однако они недостаточны, чтобы классифицировать все возможные типы режимов.

Вторая переменная величина политической системы — партии. По простейшему определению, партией называется *добровольное объединение, более или менее организованное, действующее более или менее постоянно и преследующее цель во имя определенной концепции общества и его интересов решать самостоятельно или в союзе с другими задачи управления.*

Такое определение соотносит партии с их целями. Партия — это объединение людей, стремящихся выполнять функции управления; как следствие, она должна делать все необходимое, чтобы добиться этого, следовательно, ей необходимо располагать большинством и депутатов, и министров.

Партия — объединение добровольное, поскольку в конституционных режимах никто не обязан принадлежать к какой-либо партии. Огромное большинство граждан в значительной части конституционно-плюралистических режимов не принадлежит ни к одной из партий. (Впрочем, это справедливо и для однопартийных режимов.)

Мое определение вряд ли приложимо к партиям, монопольно владеющим властью, после того как они ее добились. В США, в Великобритании, во Франции партии соперничают друг с другом. Если у партии нет соперников — меняется ее природа.

Определяя цель партии, я не использую термины «могущество» и «влияние». В плюралистических демократиях множество группировок, стремящихся оказывать влияние на рядовых граждан или на правителей. Профсоюзы, вне всякого сомнения, к этому тоже стремятся. Однако, исходя из нашего определения, профсоюзы — не партии, так как они не ставят целью присвоение функции управления. Старая Морская и колониальная лига не была партией, хотя распространяла культ морской державы. Лига за Спасение и обновление Французского Алжира — тоже не партия. Будучи добровольным объединением, она борется за влияние на граждан и правителей, но не планирует приход к власти. Точное определение партии должно принимать во внимание цель, с которой объединяются люди.

Каноническая в наше время классификация партий вытекает из социологии Макса Вебера. На полюсах — два идеальных вида: организованная массовая партия и парламентская группа.

Образец организованной массовой партии — немецкая социал-демократия в том виде, в каком она существовала с конца XIX века до захвата власти Гитлером. Она была массовой партией, поскольку насчитывала множество (сотни тысяч) членов и получала миллионы голосов на выборах. Партийцы были организованы на постоянной основе, распределялись по секциям и федерациям, подчинялись уставу, регламентирующему внутрипартийную жизнь. Партия обзавелась постоянной бюрократией, сравнимой с той, что действует на крупных предприятиях. Одни и те же активисты были и функционерами, и руководителями партии.

На другом полюсе — несколько депутатов, с общими идеями или устремлениями, объединяющиеся для того, чтобы иметь своих представителей в парламентских комиссиях или для выдвижения кандидатов при голосовании по спискам. Во Франции примером этого типа, противоположного организо-

ванной массовой партии, была радикально-социалистическая партия.

Эти типы — не единственно возможные. Иные организованные массовые партии — не бюрократичны. Руководители партии могут быть не постоянными функционерами, а видными фигурами, политическими деятелями, сделавшими карьеру благодаря своему социальному положению или деятельности в парламенте. В Великобритании обе крупные партии прекрасно организованы, у них есть общие черты, и тем не менее партия консерваторов сильно отличается от немецкой социал-демократической партии, какой та была до первой мировой войны.

Что касается слабо организованных партий, то можно насчитать множество их вариантов, во Франции, например, начиная с социалистической и кончая независимыми, включая МРП и ЮДСР. Французская социалистическая партия больше других — если не считать коммунистической — похожа на организованную массовую партию. У СФИО* свой устав, у активистов — постоянные обязанности; регулярно собираются секции, направляющие представителей на региональные съезды, которые, в свою очередь, посылают делегатов на съезды общефранцузские. Устав партии можно изучать так же, как и Конституцию IV Республики. В основе и устава, и Конституции — органический закон, в соответствии с которым выбираются принимающие решения руководители. С другой стороны, не исключена возможность махинаций с партийным уставом, от чего не застрахована и Конституция Республики. И если достойна изучения практика применения Конституции, определяющей жизнь Республики, то интересны и реальные толкования устава партии.

Социология партий — тема ряда исследований (в частности, книги Дюверже) — приложима ко всем партиям и во всех странах. Она прослеживает их рождение и смерть, описывает устройство каждой, показывает, как толкуются уставы, как они

---

* СФИО (S.F.I.O.) — Французская секция Рабочего интернационала, старое (до 1969 г.) название Французской социалистической партии.

становятся предметом мошенничества. Она пытается уяснить, каким образом внутри каждой партии распределяется власть, и сравнивает партийные системы разных стран.

Сравнения закономерны и в данном случае: наиболее распространенных типов *партийных систем* — двухпартийной и многопартийной. Такая дифференциация закономерна, однако и она не позволяет классифицировать разновидности режимов. В самом деле, многопартийные режимы вполне сопоставимы с двухпартийным режимом Великобритании. С другой стороны, некоторые двухпартийные режимы могут функционировать совсем иначе. Система партий — одна из важнейших переменных величин, влияние которой необходимо анализировать, чтобы уяснить принцип функционирования политической системы, но анализ этот сам по себе не дает возможности классифицировать плюралистические режимы.

Третья переменная величина политической системы — способ функционирования режима. В свою очередь этот аспект подразделяется на три, можно сказать, уровня: избирательный закон и выборы, затем способ функционирования парламента, наконец — отношения между парламентом и правительством.

Изучение выборов — излюбленная дисциплина политической науки. Причина проста: этот путь — один из самых легких. Такое изучение имеет дело с количественными величинами: есть цифры — их сравнивают. Известно, как голосуют избиратели в разных странах и регионах, в различных обстоятельствах. Методами научной социологии фиксируются отношения между различными типами людей, социальные ситуации, способы и формы проведения выборов. Существует огромная литература о результатах выборов со времени возникновения III Республики.

Второму аспекту функционирования режима — работе парламента — уделяли до сих пор мало внимания, поскольку такое изучение требует большого труда и не приводит к конкретным цифрам. Речь идет о феномене, который я называю функционированием. Это отношения парламентариев внутри

палаты, их сотрудничество и соперничество. Иными словами — как избранники работают вместе? Каковы неписаные законы их соревнования? В Великобритании существует так называемая «карьера почестей»: каждому депутату примерно известно, на что в данный момент он может претендовать. Чем строже расписана «карьера почестей», тем более ограничены стремления парламентариев к личной славе. Повторим: французский вариант* выглядит совершенно иначе. Допуская некоторое преувеличение, можно утверждать, что многие депутаты мечтают о различных почестях. Ни одному из них точно не известно, что же именно должно оставаться за пределами их мечтаний. Впрочем, некое подобие «карьеры почестей» есть и во французском парламенте, например, нельзя стать председателем совета министров, не пробыв в течение многих лет парламентарием. Но от III до IV Республики «карьера почестей» приобрела, мягко говоря, дополнительные гибкость и растяжимость. Пессимистически настроенные теоретики считают эту эволюцию прискорбной. Коль скоро люди по своей природе честолюбивы, хорошая Конституция должна устанавливать пределы честолюбивым устремлениям.

С правовой точки зрения отношения правительства и парламента должны быть зафиксированы в Конституции или парламентском регламенте. На деле в каждой стране эти отношения меняются в зависимости от времени, силы и авторитета исполнительной власти, от личности председателя совета министров. Даже во Франции, где режим ошибочно называют парламентским, многие жизненно важные решения принимаются министрами не только без санкции, но и без учета мнения парламента. Кое-каким кабинетам (Клемансо и Мендес-Франса, к примеру) подолгу удавалось низводить парламент до роли лишь одобряющего органа.

Еще одна, четвертая, переменная величина, вошедшая в настоящее время в моду,— это так называемые группы давления.

Данный термин, клише с американского политического термина «pressure groups», применяют к

---

* *Напомним: имеется в виду IV Республика.*

организациям, стремящимся влиять на общественное мнение, администрацию или правителей, не выполняя при этом правительственных функций. Группы давления — это и профсоюзы, и объединения производителей свеклы или молока. Что бы там ни говорили, группы давления соответствуют природе конституционно-плюралистических режимов; немыслимо, чтобы «интересы» рабочих или предпринимателей оставались не выраженными, лишенными защиты. Раз допускается возможность усомниться в самом режиме, как же не допускать возможности усомниться в конкретных решениях по поводу цен или распределения национального дохода? Как отказать в праве хлопотать перед правителями об интересах отдельных лиц или сообщества тем, кто эти интересы представляет?

Сегодня группы давления изучаются с особым рвением, что обусловлено, во-первых, некоторой неприязнью к ним, а во-вторых — тем, что исследовать их не так просто. Партии видны невооруженным глазом. Разумеется, большинству избирателей-социалистов едва ли ведомо, как распределяется большинство мандатов на партийном съезде. Но сама партия — на виду у всех, действует гласно, имеет свои органы печати, своих представителей, ведет открытую борьбу. А группы давления плохо известны. Они действуют закулисно, и всегда можно предположить, что, оставаясь невидимыми, они оказывают чрезмерное влияние на политику режима. Впрочем, это влияние бесспорно. Вопрос в том, где его границы. Этим мы займемся позже.

Есть в политике еще одна, последняя, переменная величина. Ее существование вытекает из всех предыдущих.

Это те, кому режим отводит первые роли. Короче говоря — меньшинство, которое Моска называл политическим классом, хотя лучше использовать термин «политический персонал». Кто же занимается политикой? Весьма увлекательно изучить, чем объясняются головокружительные достижения политических деятелей, которые числились среди второстепенных, пока не прорвались в первые ряды. Почему так и не удается занять высокое положение тому, кто слыл выдающимся? Какими качествами

обеспечивается успех в том или ином режиме, в ту или иную эпоху? До 1939 года в Англии поговаривали: Уинстон Черчилль слишком умен, чтобы стать премьером,— если только не будет войны. Это была всего лишь остроумная шутка, но она порождает серьезный вопрос: кого в данном режиме признают руководителями в спокойную пору, чем отличаются они от тех, кто выдвигается в периоды кризисов?

Три прочих аспекта описания я проанализирую более кратко.

Можно предположить, что социальная структура станет основой одного из принципов классификации. Социолог марксистского толка сказал бы, вероятно, что исследование политических систем — задача второстепенная, а коль скоро требуется выяснить состав конкретной системы, то изучать надлежит отношения классов.

Разумеется, социальная инфраструктура взаимосвязана с функционированием политического режима. Нам известно, что именно социально-экономическое положение граждан — один из факторов, которые определяют ориентацию избирателей. В пропорциональном отношении среди рабочих больше голосующих за социалистическую и коммунистическую партии, чем среди иных групп. Структура общества проявляется в системе партий. Социальное происхождение, экономические условия жизни политических деятелей представляют собой один из факторов их поведения. Однако классы как таковые не являются действующими лицами в политике. Ни один класс никогда не был группой, воодушевляемой неким конкретным общим стремлением,— если, конечно, отвлечься от случаев, когда от его имени говорила какая-то партия. Но партия никак не может быть отождествлена с классом. Рассмотрим партию, которая в настоящее время ближе всех к тому, чтобы представлять класс. Во Франции более половины голосующих за коммунистов — рабочие. Примерно половина рабочих или чуть больше голосуют за коммунистов. Эти пропорции — факт, и факт бесспорный. Если добавить, что коммунистическая партия представляет, воплощает рабочий

класс, то это уже не констатация фактической стороны дела, а теоретическая установка. В какой мере коммунистическая партия представляет волю французского рабочего класса? Эмпирически и статистически обоснованный ответ, видимо, таков: она представляет волю половины рабочих. Но, следуя тому же ходу рассуждений, рабочий класс в Великобритании представлен лейбористами, а в Германии — социал-демократической партией.

Есть и еще некоторые обстоятельства. Политическая партия всегда определяется своей целью или идеалом. Но цели коммунистической партии зависят от нее в той же мере, что и от голосующих за нее рабочих. Можно двояко представить себе интересы, которые защищает какая-то социальная группа. При конституционно-плюралистическом режиме интересы рабочих заключаются в том, чтобы расширить свою долю национального дохода, или добиться национализации того или иного предприятия, или шире участвовать в жизни общества. Другая концепция, марксистская: устремление рабочего класса — создать иное общество. Но это уже выходит за рамки интересов рабочих при существующем режиме, это вопрос режима, который, по мнению некоторых, наилучшим образом отвечает интересам пролетариата как такового.

В таком случае классовый интерес определяется представлениями о режиме, который удовлетворяет запросы данной группы. Анализ социальной инфраструктуры не выявляет основные интересы групп; конечный смысл борьбы классов вырисовывается на уровне политики.

Есть обстоятельства, когда социально-экономические факторы оказывают немедленное, а зачастую и решающее влияние на политические события. Экономический кризис 1930 года стал непосредственной причиной значительного роста числа избирателей, которые проголосовали за национал-социалистов, а затем и свержения Веймарской республики. Анализ требует знания социальной инфраструктуры, но изучение ее одной не позволяет классифицировать режимы.

Различия типов можно было бы обнаружить и при изучении бюрократии, но тут они не столь яркие:

во всех промышленных обществах администрация выполняет сходные функции и обладает общими чертами. В конституционно-плюралистических режимах бюрократия должна удовлетворять трем требованиям: быть эффективной, нейтральной, чтобы не оказаться вовлеченной в партийные дрязги, и, наконец, добиваться, чтобы граждане воспринимали администраторов не как врагов, а как выразителей их интересов или их *представителя*.

Ни одно из этих требований нельзя считать легко выполнимым. Эффективность вовсе не обязательно имманентна любой бюрократии. При всех плюралистических режимах неизменно присутствует опасность, что администрация нарушит нейтралитет, поскольку каждая партия стремится проникнуть внутрь, чтобы заручиться поддержкой «своих людей». Наконец, администрация — я имею в виду налоговое ведомство — может выглядеть как представитель враждебного по своей сущности государства, вместо того чтобы заслуженно снискать репутацию выразителя воли нации. Но в конституционно-плюралистических режимах бюрократия не может быть органом каких-то чуждых гражданам структур власти. Она — орудие правителей и вместе с тем — представитель управляемых.

Наконец, скажем несколько слов о социальном окружении и о составляющих его переменных величинах.

Я вижу по меньшей мере три переменные величины, важные для понимания того как и насколько успешно функционируют конституционно-плюралистические режимы.

Первая — представление граждан о достоинствах режима. Эта банальность не лишена глубокого смысла. В странах, где граждане считают, что основанный на выборах и парламенте политический режим плох, ему нелегко утвердиться. Режим успешно функционирует лишь при условии, что граждане его принимают. Представление управляемых о благоприятном режиме в значительной мере определяет их суждения о режиме существующем.

Одну-две лекции я посвящу изучению французского режима, который, по мне, не так уж плох, как он видится многим гражданам Франции. Они

склонны судить его строго, поскольку никогда не были единодушны в оценках его естественности и законности. Вечная критика способа управления — фактор, в немалой степени ослабляющий само управление. Здоровый режим, возможно, тот, в котором граждане убеждены, что живут при наилучшем из мыслимых режимов. В целом же, ни американцы, ни англичане не сомневаются в превосходстве своих государственных устройств, что, конечно, не исключает частных критических замечаний.

Вторая переменная величина социального окружения — процесс его формирования, исторические традиции. На французском режиме все еще лежит клеймо — наследие революций, в которых он сформировался. Постоянные нападки на Конституцию — очевидный источник слабости — можно объяснить отчасти последствиями бурной истории страны. Стоит Франции оказаться в кризисе, как Конституция становится главной темой политических дискуссий. Не удается решить финансовые проблемы, проблему Алжира — всему виной Конституция. Такой ход мыслей, кажущийся естественным, весьма характерен для нашего общества.

Третья переменная величина — взаимоотношения партий и церкви.

Крайне удивительно, что во Франции при практически полном религиозном единстве изобилие партий, а в США тяга к разнообразию выражена обилием религий и сект, но не партий. Не будем углубляться в эти проблемы. Отметим лишь, что во всех странах одна из главных переменных величин социального окружения — взаимосвязь множественности политических идей и религиозных убеждений.

В заключение — еще несколько замечаний.

На уровне политического режима можно обнаружить многочисленные различия в тех или иных конкретных аспектах общественной жизни: различие президентского и парламентского правлений, двухпартийной и многопартийной систем, стран с дисциплинированными и недисциплинированными партиями, с партиями, которые принимают или отвергают (в силу своей революционности) правила игры.

В какой-то степени политическая наука перегружена поступающей информацией и обобщающими ее гипотезами. Перечисленные мной переменные величины бесспорно должны быть приняты во внимание, подвергнуты анализу. Но как их обобщить? Что взять за основу? Неуверенность приводит к колебаниям между поисками причин и поисками практических советов.

Вновь обратимся к Франции. Каким образом избирательный закон влияет на партийную систему и деятельность французского парламента? Достаточно ли для изменения какого-либо аспекта французского режима, который представляется негативным, использовать факторы, определяемые одной из переменных величин? Достаточно ли нового избирательного закона, чтобы предотвратить нестабильность парламента? Я не решаюсь предлагать безоговорочные рецепты, поскольку рассматриваемые феномены — многопартийность, недисциплинированность партий, неустойчивость правительств — присущи этой стране с тех пор, как французы имеют дело с таким режимом.

Если бы каузальные объяснения покоились на достоверном фундаменте, можно было бы давать практические советы и надеяться на их применение. Но всякий раз, наблюдая за каким-то конкретным явлением, убеждаешься, что оно сопряжено со множеством факторов. Неустойчивость правительств во Франции определенным образом отражает все переменные величины политического режима, исторического окружения и социальной инфраструктуры. И еще не пришло время судить, открыла ли V Республика новую главу в истории французской демократии.

VII

Об олигархическом характере конституционно-плюралистических режимов

В предыдущей главе я объяснил, почему, на мой взгляд, невозможна классификация конституционно-плюралистических режимов. С другой стороны, мы

не можем рассматривать конкретно и подробно все примеры такого режима. Где же выход?

Для понимания сущности режима требуется уяснить его характерные черты: сопоставить принцип законности с практикой, выявить трудности, с которыми сталкиваются государственные институты, причины их силы и слабости.

Каковы основные проблемы конституционно-плюралистического режима?

На мой взгляд, первая проблема связана со сближением идеи демократии и парламентской практики. Верно ли, что многопартийный режим — безупречное выражение идеи народовластия? Верно ли, что парламентская практика дает реальную власть гражданам, как это принято утверждать? Можно сформулировать вопрос и так: кто обладает реальной властью при конституционно-плюралистическом режиме?

Первый из этих вопросов наводит на мысль о том, что многопартийная система — своего рода ширма, за которой скрываются лица, фактически распоряжающиеся властью. Второй вопрос: может ли быть эффективным правительство, если в основе его деятельности — постоянные межпартийные дрязги? Как власть может быть эффективной, если она нуждается в постоянном одобрении граждан?

Третий вопрос связан со вторым: как избежать потери единства, которое необходимо для самого существования сообщества, если режим терпим по отношению к непрерывным групповым конфликтам?

Наконец, последний вопрос. Конституционно-плюралистические режимы были конституционными еще до того, как стали народными. В XIX веке конституционные формы уже существовали в Великобритании, порой они просматривались и во Франции. Однако избирательный закон был основан на понятии ценза. Значит, на деле власть оставалась в руках незначительного меньшинства. Отсюда вопрос: могут ли конституционно-плюралистические режимы стать народными, будучи при этом конституционными? Не возникает ли противоречие между приходом к власти масс и природой конституционных режимов, задуманных и созданных буржуазией?

Попробуем сформулировать эти вопросы в духе греческой философии. Не являются ли демократии

олигархиями, и если да, то насколько? Не наблюдается ли неизбежное превращение демократии в демагогию? Иначе говоря, как удается совместить эффективность управления с постоянной озабоченностью мнением общественности и партий? Можно ли избежать (и как — если можно) анархии? Наконец, можно ли (и каким образом) избежать перерождения демократии в тиранию?

Вопросы, которые ставит современная демократия, уместны и применительно к обществам, чьи структуры в основе отличаются от структур, о которых только что шла речь.

Ответим сначала на первый вопрос: разберемся, олигархичны ли современные демократии.

Предпринимая это исследование, я сошлюсь на теорию, которую ныне называют макиавеллистской; она изложена во многих книгах: «Трактат об общей социологии» Парето, «Правящий класс» Моска, «Макиавеллисты» Бернхема. Главная мысль этих теоретиков (в моей, полагаю, здесь допустимой интерпретации) — *олигархичность любого режима.* Иными словами, все общества (по крайней мере — сложные общества) управляются небольшим числом людей, а режимы сообразны характеру властвующего меньшинства. Но еще важнее, что меньшинством управляются и политические партии. Итальянский социолог Роберто Микельс написал труд о политических партиях, в котором показал: в большинстве партий обеспечивающие влияние позиции принадлежат меньшинству, сохраняющему их при пассивном одобрении масс.

Так называемые демократические режимы, как объясняют макиавеллисты, на деле не что иное, как олигархии особого рода — плутократические. Владельцы средств производства прямо или косвенно влияют на тех, кто вершит государственными делами.

Итак, очевидный, принимаемый и макиавеллистами факт: *режим, который в каком-либо смысле не был бы олигархическим, немыслим.* Сама сущность политики такова, что решения принимаются для всего общества, но не им самим в целом. Решения и не могут приниматься сразу всеми. Народовластие не означает, что вся масса граждан непосредственно принимает

решения о государственных финансах или внешней политике. Нелепо сопоставлять современные демократии с идеальными представлениями о неосуществимом режиме, при котором народ правит сам собой. Зато полезно сравнить существующие режимы с возможными. Это в равной мере относится к критике режимов советского типа с позиций макиавеллистов.

Югославский политический деятель М. Джилас, которого ныне бросили в тюрьму, выпустил труд «Новый класс»; эта работа представляет собой критику восточноевропейских режимов с точки зрения макиавеллистских воззрений.

По мнению Джиласа, новые режимы, называющие себя народными демократиями,— это олигархии, где немногочисленный привилегированный класс эксплуатирует народные массы. Разумеется, Джилас приходит к мысли о том, что новый класс беспощаден, он не приносит обществу пользу, соразмерную собственным привилегиям. Однако доказательствам этого ключевого вопроса не хватает строгости. Вот почему Джиласу и всем макиавеллистам я возражаю одинаково: как вообще может быть неолигархичным режим, называется ли он либеральной демократией или народной? Вопрос в том, как олигархия использует свою власть. Каковы условия ее правления? Во что обходится и какую пользу приносит сообществу ее господство?

Главные же проблемы — за пределами этого круга вопросов.

1. Прежде всего, кто входит в состав олигархии? В состав господствующего меньшинства? Насколько легко в него проникнуть? Более или менее открыто или полностью закрыто правящее меньшинство?

2. Какими личными качествами обладают люди, которым при любом виде режима удается достичь политической власти?

3. Каковы привилегии правящего меньшинства?

4. Какие гарантии получают управляемые?

5. Кто при режиме такого порядка обладает истинной властью и что вообще означает столь распространенное понятие «обладание властью»?

Насколько открыто или закрыто правящее меньшинство при конституционно-плюралистических режимах? Все зависит от их разновидностей и этапов их развития. В Великобритании и во Франции XIX века проникнуть в правящее меньшинство было непросто, если не было революции и вы от рождения — по другую сторону баррикады. Ныне правящее меньшинство более открыто. Объясняется это структурой индустриальных обществ. По мере демократизации режима, расширения системы образования у широких слоев общества растут шансы на карьеру.

Конституционно-плюралистические режимы в сочетании с промышленной цивилизацией, разумеется, не дают всем гражданам равных шансов занять место на вершине политической иерархии — идеал равенства возможностей не реализуется. Но правящее меньшинство перестало быть замкнутым, в него ведут несколько путей. Во Франции в него можно войти благодаря социальному положению, которым вы обязаны своей семье, или участвуя в деятельности профессиональных объединений, или работая в высших учебных заведениях и т. п.

Перед кем же открываются наиболее благоприятные возможности карьеры в конституционно-плюралистических режимах?

Макиавеллисты отвечают пессимистически: при таких режимах успеха достигают главным образом те, у кого хорошо подвешен язык; чтобы руководить государственными делами, опыт не обязателен. Режимы, где широко практикуются дискуссии, содействуют успеху тех, кто владеет словом. Чтобы сделать это открытие, не нужно быть социологом. У адвокатов, законоведов, преподавателей много шансов на карьеру в таких условиях. При всей своей банальности этот тезис не всегда оправдывается. Есть страны, где краснобайство вызывает настороженное отношение, где «косноязычие» в силу особого местного снобизма кажется предпочтительнее. Чтобы добиться признания в качестве трибуна, можно использовать отсутствие ораторского таланта. Мне известен по крайней мере один председатель совета министров, лишенный дара красноречия.

Карьеру могут обеспечить и другие достоинства: искусство кулуарных интриг, искусство компромисса, искусство манипулировать людьми.

Макиавеллисты утверждают, что парламентарии, чье оружие — слово, не обладают внутренней силой. Зачастую это справедливо. Те, кто добиваются успеха в профсоюзах или коммунистических партиях, относятся к иному типу людей, чем преуспевающие в парламентах. Можно строить бесконечные предположения о преимуществах и недостатках, связанных с различными способами достижения успеха. Мирные режимы несомненно благоприятны для тех, кто обладает качествами, выигрышными в мирное время. Современным миром правят два типа людей: одни преуспели благодаря войнам, другие — в мирное время. Гитлер не мог удовлетворить своих аппетитов при Веймарской республике, ему нужен был режим, отличный от парламентского. Сомнительно, чтобы этот непарламентский режим стал удобнее для управляемых.

Следующий вопрос: каковы привилегии правящего меньшинства при конституционно-плюралистическом режиме и каковы гарантии управляемым?

В рамках конституционно-плюралистических режимов правящее меньшинство, разумеется, пользуется привилегиями. Активисты партий, которые терпят поражение на выборах, охотно перебираются в другую палату (куда их зачастую назначает первая). В случае краха выборной карьеры они укрываются на запасных позициях, в своего рода «точках падения». Почти все правящие меньшинства в плюралистических демократиях поддерживают отношения своеобразного товарищества, создавая нечто вроде союзов взаимопомощи. Однако гласность все же ограничивает подобные привилегии. Пока правят не святые, участвующие в управлении будут греть на этом руки.

Наконец, и это главное, конституционно-плюралистический режим предоставляет управляемым наибольшие гарантии. Нельзя сказать, что он полностью исключает преследования и несправедливости; чистка во Франции в 1944—1945 годах, маккартизм в США показали: конституционно-плюралистические режимы не всегда соблюдают ими же провозглашенные принципы. (Но в 1944—1945 годах французский режим еще не утвердился, а при маккартизме было больше преследований по социальной линии, чем по государственной.) В целом же достаточно пожить при раз-

ных режимах, чтобы убедиться: есть глубокое отличие между гарантиями, которые предоставляют гражданам конституционно-демократические режимы, и тем, что получают подданные режимов неконституционных.

Итальянский социолог Моска бóльшую часть своей жизни вскрывал мерзости демократических режимов, по его мнению, плутократических. Он выявил систему привилегий и поддержки частных интересов, прикрываемую пышными словами. В конце жизни он с иронией и горечью отметил, что конституционно-плюралистический режим наделяет граждан бóльшими гарантиями, нежели любой другой. Но в отличие от Моска я подчеркиваю — *гарантиями для управляемых*. Переменная величина «гарантии для управляемых» — не единственный критерий определения достоинств режимов.

Конституционно-плюралистические режимы могут существовать и в обществах, где выборы, даже свободные, дают власть лишь представителям привилегированных меньшинств аристократического толка. Во главе государства, в котором идет партийная борьба, вполне может стоять закрытая для всех маленькая группа правителей, и этот анахронизм может считаться вполне законным. Вот уже век, как европейский политический опыт демонстрирует: смена режимов идет в одном направлении — от выборов, основанных на системе цензов, к всеобщему избирательному праву, от аристократических парламентов к парламентам, в которых работают избранные на основе всеобщего избирательного права — известные люди, политики-профессионалы, вожаки масс. В Европе круг политических деятелей менялся постепенно — сначала депутатами становились преимущественно аристократы, крупные буржуа, законоведы. Затем появились профессора, а ныне среди депутатов есть люди, выдвинутые профсоюзами, непосредственно представляющие народные массы.

Эти режимы существуют в эпоху революций в социальной и экономической жизни. Революции привели к повышению уровня жизни и, возможно, в еще большей степени — к гибели традиционных представлений об иерархии. Люди живут в городах, они вышли из подчинения кругам, в которые по традиции

входили лишь «лучшие», они добровольно голосуют за своих лидеров или за политиков-профессионалов.

Движение конституционно-плюралистических режимов к народу вызвано еще одним политическим явлением. Режимы, которые я называю конституционно-плюралистическими, сами себя именуют республиканскими, демократическими. Правители обращаются к управляемым как к своим владыкам. В конечном счете идеи обладают непреодолимым могуществом. Сделать, хотя бы на уровне мифа, народ средоточием народовластия невозможно, не расширяя постепенно избирательного права. Преобразование общества ускоряется обращением к демократическим идеям. Депутаты вынуждены заботиться о своей популярности, о поддержке управляемых — таковы величие и слабость этого рода режимов.

Обратимся к последнему из поставленных мной вопросов: кто при таких режимах обладает *реальной* властью?

Тут я сошлюсь уже не на макиавеллистскую, а на марксистскую критику.

Согласно положениям марксизма (особенно вульгарного марксизма), режимы, которые я называю конституционно-плюралистическими, — буржуазные демократии, где партии и парламенты служат прикрытием господству капитала. Речь в данном случае не идет об анализе всего марксистского мировоззрения. Рассмотрим лишь чисто политический аспект: правящему (в экономическом смысле) классу принадлежит подлинная власть. Верно ли, что при таких режимах партии – всего лишь видимость, а подлинная власть — у горстки людей, владеющих средствами производства, контролирующих и использующих их? Насколько экономически господствующие классы сливаются с политически господствующим меньшинством?

Сразу же отметим, что марксистскую гипотезу нельзя считать нелепой. Верная в одних обстоятельствах, она может оказаться ложной при других. Меньшинство, реализующее политическую власть благодаря выборным и парламентским механизмам, может одновременно быть классом, на деле владеющим властью экономической. Совпадение экономически привилегированного меньшинства и политически пра-

вящего меньшинства может проявиться на предварительном этапе развития индустриального общества. Такое наблюдается в странах, где господствующее экономически меньшинство представлено землевладельцами. Когда подавляющее большинство населения живет в сельской местности, введение всеобщего избирательного права приводит к выборам представителей экономически привилегированного класса, владеющего землей и естественным образом контролирующего крестьянские массы (и не важно, как воспринимается такой контроль — с безответной покорностью, восторгом или отвращением).

Куда меньше шансов на длительное слияние экономически господствующего класса с политически руководящим меньшинством в тех случаях, когда 80% населения живет в городе, когда не сохранилась традиционная аристократия, вроде помещиков или «лучших людей» деревни. Горожане голосуют за представителей партий, которые не выступают «поручениками» экономически привилегированного класса (во всяком случае, не считают себя таковыми).

В свое время парламентская олигархия была и экономической, и политической. В Англии XVIII и даже первой половины XIX века дело обстояло совсем не так, как изображают марксисты: не «монополисты» использовали выборы в своих интересах, а скорее, как я уже показал, экономическая и политическая власть сосредоточивалась в руках правящего класса.

Сегодня во всех конституционно-плюралистических режимах Западной Европы и США экономическая и политическая власть разделена. В США и Великобритании нередко важные политические функции возлагаются на представителей делового мира. Памятно облетевшее весь мир высказывание американского министра обороны, который прежде занимал пост директора одной из крупнейших фирм: «Что хорошо для «Дженерал Моторс», то хорошо и для Соединенных Штатов». Оно свидетельствует об изначальной гармонии интересов корпорации и страны. Эта гармония считалась догмой (ей, конечно, можно придать вполне приемлемый смысл), которую подхватил, дабы подтвердить свои идеи, самый вульгарный марксизм. Разумеется, о совпадении интересов страны и

фирмы говорил человек порядочный, и не думавший хитрить, убежденный, что он вовсе не хулит свою родину, а превозносит ее. Возможно, не так уж он и заблуждался. Мысленно перенесемся по другую сторону «железного занавеса» и несколько перефразируем высказывание американского министра: «Что хорошо для Путиловского завода, то хорошо и для Советского Союза». Разве это не будет встречено там всеобщим одобрением? Так ли уж отличаются в конце концов оба тезиса?

Вернемся к нашему вопросу: какова природа власти руководителей промышленных концернов? Какой властью обладает экономически привилегированное меньшинство?

Термином «власть» мы обозначаем (хотя, возможно, точнее слово «могущество») способность одного человека определять поведение другого или других. В этом смысле почти у каждого есть минимум власти.

Интересующая нас власть обусловлена общественными институтами, местом человека в обществе, будь то предприятие или же социальная система в целом. В этом, посвященном политическому режиму курсе для нас важнее всего государственная власть.

На предприятиях власть в руках директоров. Они принимают решения, затрагивающие интересы всех работников. При этом власть, которой располагает руководитель национализированной фирмы, по сути, не отличается от власти руководителя частного предприятия. Законная экономическая власть обеспечивает и власть фактическую, обусловленную техническими нуждами, административными требованиями и социальными традициями. Власть директоров предприятий может быть большей или меньшей в разных странах, в различных отраслях промышленности. Однако в своей основе она не зависит от статуса собственности. Руководители компании «Рено» представляют ее коллектив, а руководители «Ситроена» — акционерную компанию. У тех и у других в руках один и тот же вид власти, с помощью которой они выполняют одни и те же управляющие функции.

Нас больше интересует другое: как соотносятся решения государственной администрации или политических деятелей с властью руководителей фирм? Глав компаний упрекают не в том, что они хозяева

на своих предприятиях,— такая деятельность и очевидна и законна,— а в том, что подлинная их власть, скрытая, распространяется на государственных служащих и политиков, под их контролем оказываются политические сферы. Сейчас ни для кого не секрет, что главы корпораций влияют на некоторые решения, принимаемые органами власти. Здесь необходимо различать три аспекта: воздействие, чаще всего скрытое, на государственных служащих; пропагандистское воздействие, проводниками которого служат ведомственно-профессиональные газеты или национальная печать; наконец, прямое, непосредственное воздействие на министров.

Следует различать воздействия экономических руководителей на политическую власть, преследующие цель принять административные меры или законодательные решения (выгодные для предприятия или отрасли промышленности) и воздействия, которые предпринимают, чтобы навязать правителям определенные решения в области «большой политики». Главная проблема — именно в этой, второй форме воздействия. В самом деле, для изучения первой требуются прежде всего бесчисленные специализированные исследования, модные в настоящее время, но малоэффективные. Официально групп, связанных общностью интересов, не существует. Лишь в США в политическом обиходе есть такие понятия, как «французское лобби» или «китайское лобби», то есть существуют организованные группы, цель которых — оказывать давление на членов конгресса во имя интересов китайской или французской политики. Разумеется, могут создавать свои лобби и отрасли промышленности.

Во всех странах с конституционно-плюралистическими режимами подобного рода воздействия зачастую довольно эффективны. Например, выпускающие ту или иную продукцию могут добиться экспортных субсидий или таможенных льгот, заслуживающих, с точки зрения общих интересов, критики. Нередко представителям частного капитала удается получить от администрации или политического руководства уступки, в которых им отказали бы просвещенные деспоты. Несомненно, в этом смысле результаты конституционно-демократических режимов в плане рационального ведения хозяйства неудовлетворительны.

Важно другое: в какой мере руководящие экономикой меньшинства диктуют общую политику режима?

Не оказывают ли они парализующее влияние на социальные реформы? Тут поистине бесценен имеющийся опыт: достаточно проследить полувековую социальную эволюцию, чтобы прийти к однозначному заключению — экономическое меньшинство, которое считается всемогущим, ни в одной западноевропейской стране не смогло предотвратить преобразований, к которым испытывало неизменную враждебность. Оно не смогло воспрепятствовать ни национализации части промышленных предприятий во Франции и в Великобритании, ни расширению сферы социального законодательства.

Марксист может возразить: и все же экономическое меньшинство воспрепятствовало уничтожению капитализма. Бесспорно, в конституционно-плюралистических режимах право собственности на средства производства не отменено. Курс режимов не нанес смертельных ударов по интересам тех, кого считают экономически привилегированными меньшинствами. Единственный известный нам пример полного уничтожения капитализма — исчезновение самого режима. С полным упразднением права собственности на средства производства упразднено было и соперничество партий. В проведении же реформ социалистического толка в конституционно-плюралистических режимах устанавливались до сих пор определенные пределы. Однако не столь жесткие, как казалось. Многие социалистические теоретики утверждали: так называемый класс капиталистов не захочет смириться со столь масштабными реформами, какие провели аглийские лейбористы в 1945 году.

Вопреки (а может быть, благодаря) экономически привилегированным меньшинствам возможности внутриполитических реформ чрезвычайно широки. И ныне нельзя установить границу, за которой сопротивление привилегированных меньшинств становится непреодолимым, если не прибегнуть к насилию.

Возможно, главное все-таки в ином. Верно ли, что политику государств тайно диктуют те, кого без затей называют монополистами,— руководители крупных промышленных предприятий?

Вести дискуссию на эту тему непросто. Многие мои слушатели и читатели заранее убеждены в верности такой гипотезы. Я не в силах поколебать их уверенность, ибо они считают, что заблуждаюсь я. Опираясь на свои представления о функционировании конституционных режимов, они полагают, будто я закрываю глаза на некоторые явления, и не потому, что сознательно пренебрегаю истиной, а по причине своего социального положения.

Вот как мне представляется эта проблема теперь, когда я покончил с предварительными замечаниями.

Уже лет десять, как превратности моей карьеры заставляют меня наблюдать за французской политикой с более близкой дистанции, чем во времена моего студенчества. Мне пришлось убедиться (и это стало одной из причин моего разочарования), что у тех, кто, согласно марксистскому мировоззрению, определяет ход событий, чаще всего нет никаких политических концепций. И если взять большинство важнейших политических вопросов, которые обсуждала Франция последние десять лет, просто невозможно уяснить, что хотели крупные, мелкие и средние французские капиталисты, монополисты, представители трестов. Я встречался с представителями «проклятой породы» капиталистов, но так и не обнаружил твердого, единого мнения, скажем, по поводу курса в Индокитае, в Марокко или в Алжире. Готов допустить, что те, чьи интересы связаны с какой-то конкретной точкой земного шара, восприимчивы к определенным аргументам. Впрочем, эта банальная мысль не вполне верна. Что касается Марокко, «крупные французские капиталисты» разделились на две группы, одна из которых полагала, будто в независимом Марокко ей представятся более благоприятные возможности действовать, другая же от независимости Марокко ожидала самого худшего. Разнобой мнений царил среди капиталистов и по основополагающему вопросу: какая колониальная политика наиболее соответствует их интересам?

В группе «монополистов», или «крупных капиталистов», я вновь столкнулся с той же неуверенностью, с теми же сомнениями и сварами, которые наблюдались и в печати, и в парламенте, и во всем обществе.

Можно ли обобщать подобный опыт? Совсем не очевидно, что такое же положение в других странах. Сегодня в США руководители крупных компаний оказывают влияние на правительственные круги, причем влияние на республиканскую администрацию сильнее, чем несколько лет назад — на демократическую. При любой администрации у промышленников всегда есть представители в Вашингтоне, которые действуют официально или неофициально, произносят речи, дают советы, предпринимают практические шаги.

Представляют ли они какое-то *одно* направление в политике?

Меня вновь охватывают сомнения. Не думаю, что «монополисты» США едины в готовности проводить некий конкретный дипломатический курс. Если у них и есть какие-то предпочтения, то, думаю, они часто противоположны тем, которые им приписывают. Например, крупный американский капитал никогда не был абсолютно убежден в том, что антикоммунистические страсти полностью оправданны. Многие представители делового мира скорее склонялись к соглашению с Советским Союзом, чем к агрессивному курсу. В одной из книг Джеймса Бернхема есть полная иронии глава под названием «О склонности американского капитализма к самоубийству». Автор упрекает бизнесменов в стремлении наживаться на сделках с худшим врагом. Американские промышленники внесли большой вклад в успех первой советской пятилетки. Им настолько не хватает умения предвидеть будущее, что в своей стратегии они готовы, видимо, подчинить политический интерес жажде прибылей.

Не стану утверждать, будто так всегда настроены экономически привилегированные классы во всем капиталистическом мире. В большинстве случаев, когда я мог наблюдать их непосредственно, представители крупного капитализма не столь «политизированны», как это принято считать. Их политические убеждения не так тесно связаны с их бизнесом, как многие полагают.

Мне могут возразить, что эти примеры нарочно подобраны, чтобы подкреплять мою точку зрения. Они относятся в основном к периоду после второй мировой войны. Именно тогда капиталисты открыли, что империализм бесплоден. Стало ясно, что война

стала слишком дорогостоящей затеей, что слаборазвитые страны больше не приносят доходов метрополиям, что последним, напротив, самим приходится вкладывать капиталы. Но не связано ли все это с утратой бывшими империалистами единства взглядов — как наилучшим образом сохранить или ликвидировать империализм? В таком подходе, вероятно, есть доля истины. Прежде вмешательство крупных экономических интересов в политические дела бывало более явным. И все же исследования, посвященные роли экономических интересов в колониальных завоеваниях, не приводят к простым концепциям или категорическим выводам. Случалось, что к завоеваниям подстрекала экономика, но чаще инициатива принадлежала все-таки политикам. Известно высказывание одного крупного германского чиновника перед первой мировой войной: «Стоит мне заговорить о Марокко, как банки тут же грозят забастовкой». Вильгельмштрассе (МИД Германии) проявляла к Марокко больше интереса, чем крупные капиталисты. Французские и немецкие экономические лидеры были готовы пойти на компромиссы по марокканскому вопросу.

Не стану отрицать, что в некоторых случаях представители капитала оказывали давление на государственных деятелей. Несомненно, однако, другое: неверно, будто меньшинство, руководящее крупными промышленными концернами, образует единую группу с общим мировоззрением и единой политической волей. Никогда и нигде хозяева экономики не создавали класс, осознающий себя таковым.

Насколько можно судить по предшествующему опыту, неверно и то, что представители крупных экономических интересов «тиранят» политических деятелей, навязывая им свои решения. Те, кто вершат дела в крупных промышленных компаниях, могут и законными способами влиять на политику страны. Называть их деспотами, дергающими за ниточки политических марионеток, значит поступаться истиной в угоду мифологии. Представители крупных экономических интересов не заслуживают ни чрезмерных почестей, ни открытого презрения.

Слишком много чести приписывать им сверхъестественный ум и полагать, что они способны, раз

уж управляют заводами, «дергать за ниточки» печать, партии и парламент. Руководители промышленных компаний похожи на всех прочих людей. Воображать, будто политическая жизнь всего лишь ширма, прикрывающая их всемогущество,— глубокое заблуждение, которое можно объяснить только ненавистью к экономической системе. Чтобы приписывать главам крупных фирм особую злокозненность, надо испытывать к ним глубокую неприязнь. Более умеренные полагают, что капиталисты не отличаются от обычных людей, только очень заняты — прежде всего своими делами, ради которых и добиваются уступок от политиков. Следовательно, какое-то их особое мировоззрение и уж тем более их тесная сплоченность, якобы дающая им возможность повелевать, тут вовсе ни при чем.

Не заслуживают они и неприязни. Если бы эти деспоты были и впрямь наделены дьявольскими чертами, их жажда прибыли вовлекла бы человечество в войну. Некогда полагали, что достаточно национализировать заводы, на которых производится оружие,— и мир обеспечен. Национализация полезна уже потому, что рассеяла эти иллюзии. Отношения между нациями не стали мирными, когда владельцы заводов лишились возможности обогащаться, производя пушки.

При конституционно-плюралистических режимах правящее в экономике меньшинство оказывает определенное влияние, различное в разных странах в разные эпохи, но не обладает силой, которую можно было бы использовать во благо или во зло.

VIII

В поисках устойчивости и эффективности

Конституционно-плюралистические режимы, как и все прочие, олигархичны, но в меньшей степени. В них всегда прослеживается связь между господствующими экономически меньшинствами и теми, что заправляют политикой. Весьма примечательно, однако, несовпадение социально-экономического могущества и полити-

ческой власти. Носители важнейших политических функций вовсе не обязательно занимают высшее социальное положение.

Социальная и экономическая элиты уже не совпадают с элитой политической. Власть разделена: она уже не сосредоточена в руках кучки людей, и в интересующих нас режимах не всегда видно, кто на самом деле принимает решения. Далеко не все принимают подобное рассеяние власти, поэтому множатся мифы о «теневой группе», обладающей подлинным могуществом, искать открытые проявления которого совершенно бессмысленно. Так, в порядке распространенности рождаются легенды об иезуитах, масонах, нефтяных магнатах — и на самом высоком уровне — о «монополистах».

В общем, не думаю, что эти режимы более мудры, чем кажется. «Дергающие за ниточки» — плод воображения их противников.

Если наш анализ точен, важнейшая задача современных конституционно-плюралистических режимов — не в том (или не только в том), чтобы смягчить олигархичность правления, а в уменьшении риска рассеяния власти и бессилия правителей.

Другая группа критических замечаний, которая дополняет критику олигархии, касается неустойчивости, слабости, неэффективности конституционно-плюралистических режимов. Они и впрямь неустойчивы, подвержены смутам, и не всегда ясно, у кого в руках власть и на какой срок. Любое правительство преследует две главные цели: удержаться у власти и осуществлять ее в общих интересах. При конституционно-плюралистических режимах первое стремление нередко берет верх (но о каких правителях нельзя сказать того же!).

Министр, который вечно озабочен, как бы не дать козырей оппозиции, едва ли отвечает образу гипотетического идеального правителя — философа, советника просвещенного монарха. Более того, властители неизменно скованы всяческими — конституционными и административными — правилами и подвергаются злобным нападкам печати. Правители буквально парализованы всяческими ограничениями, которые подобные режимы будто нарочно стремятся приумножить.

Я согласен с тем, что отсутствие конституционных и административных правил в иных случаях облегчает работу. Для того, чтобы построить корпус факультета естественных наук на месте, прежде отведенном под другие нужды, потребовалось несколько лет. Однако для достижения большей административной эффективности режима не обязательно менять его суть.

Второе замечание, которое мне хотелось бы сделать, связано с одной мыслью Монтескье. В «Рассуждениях о причинах возвышения и падения римлян» есть такое место:

«Всякий раз, когда в государстве, называющем себя Республикой, все спокойны, можно быть уверенным, что свободы там нет. То, что в политической совокупности зовется единством,— вещь весьма двусмысленная; истинным является гармонический союз, в силу чего все части, какими бы противоположными они нам ни представлялись, содействуют благу всего общества, подобно тому как в музыке и диссонансы содействуют полному благозвучию. Единство может наблюдаться в государстве, где видится одна смута, то есть такая гармония, следствием которой становится счастье, что одно только и представляет собой истинный мир. Здесь дело обстоит так же, как и с частями мироздания, вечно связываемого действием одних частей и противодействием всех прочих».

Я бы не осмелился утверждать, что счастье граждан измеряется накалом политических смут, раздирающих полис, однако качество режима не измеряется и внешним покоем.

Сделав предварительные замечания, попробуем выяснить, каким образом конституционно-плюралистические режимы пытаются сгладить свои недостатки: неустойчивость и неэффективность.

Вначале позволю себе высказать общее положение. Видимо, основополагающие условия устойчивости — это, во-первых, *согласованность конституционных правил с системой партий,* а во-вторых, *гармония конституционных правил и партийных устремлений, с одной стороны, и социальной структуры и предпочтений сообщества, с другой.*

На практике есть две возможности сделать исполнительную власть, которая рождена в партийных битвах, устойчивой и эффективной.

Первая возможность найдена Соединенными Штатами Америки: исполнительной властью обладает президент, причем система его избрания отличается от системы избрания депутатов парламента. Исполнительная власть в США устойчива, потому что президент избирается каждые четыре года и (за исключением случаев недееспособности) не может быть лишен своих полномочий. Представляя все сообщество, он по Конституции обладает авторитетом и властью, которые превосходят авторитет и власть депутатов, представляющих лишь часть сообщества.

Вторая возможность найдена Великобританией, где правительство выражает волю парламентского большинства. Правительство такого типа существует, пока существует парламент, и обладает свободой действий, поскольку почти всегда уверено в одобрении парламента.

Обе эти конституционные системы обеспечивают устойчивость власти лишь потому, что гармонируют с партийной системой.

Представьте, что партии в США дисциплинированны, как в Великобритании: режим больше не смог бы функционировать! А в США режим эффективен даже тогда, когда президент и большинство в палатах принадлежат к разным партиям. Такое взаимодействие президента-демократа с республиканским большинством, или наоборот, требует, чтобы демократ, сенатор или член палаты представителей мог поддержать предложение президента-республиканца, то есть нарушить партийную дисциплину. При президентском режиме и дисциплинированных партиях режим функционирует лишь тогда, когда и парламент, и президент принадлежат к одной и той же партии.

Зато нынешний английский режим действует лишь благодаря партийной дисциплине. Если бы в британском парламенте депутаты обладали свободой голоса, вызывающая наше восхищение Конституция не могла бы считаться образцовой. Это еще не все: две главные партии должны быть достаточно близки друг к другу. Вообразите, одна из них яростно отстаивает экономическую свободу, а другая решительно высту-

пает за планирование: их чередование у власти приведет к крушению законодательства.

Эти замечания иллюстрируют следующее общее положение: устойчивость и эффективность обеспечиваются не конституционными правилами как таковыми, а гармонией этих правил и партийной системы, природой партий, их программами, политическими концепциями.

Разумеется, американский режим не гарантирован от опасности — не только паралича власти из-за противостояния президента и парламента, но и опасности государственного переворота. Когда под влиянием США в некоторых странах установились режимы, подобные американскому, произошло немало государственных переворотов. В определенном смысле американский режим вечно находится в тисках двух угроз: военного переворота и паралича. Представляя президентский режим США гарантией эффективности, нередко забывают, что он был задуман с прямо противоположными намерениями. Авторы американской Конституции стремились ограничить возможности правителей. Их вдохновлял либеральный пессимизм: носители власти всегда склонны злоупотреблять ею.

Точно так же британский режим предполагает не только взаимодействие обеих партий, но и ограничение власти, которая может достаться каждой из них. Если бы лейбористам вздумалось злоупотребить возможностями, полученными при победе на выборах 1945 года, консерваторы сочли бы, что опасен сам режим.

В обоих случаях выявляется одно из условий, необходимых для функционирования конституционно-плюралистического режима: *дисциплина устремлений*. Вот почему в британском, равно как и в американском режимах, есть «карьера почестей» — этапы, которые надо пройти шаг за шагом. Число лиц, которые стремятся занять высшее положение, ограниченно.

Предполагает ли устойчивость, гарантированная либо установленной законами деятельностью при президентском правлении, либо сплоченностью большинства при правлении парламентском, наличие признанной власти? Ответ следует немедленно: разумеется, нет. Это замечание важно для тех, кто стремится

преобразовать государственные институты: правительству недостаточно пробыть у власти несколько лет, чтобы по-настоящему иметь возможность действовать. Что же определяет способность к активным действиям в условиях американского режима? Президенту удается навязать свою волю лишь в меру своего авторитета и решимости. Авторитет исполнительной власти не гарантирован государственными институтами, которые всего лишь дают шанс тем, кто облечен полномочиями. Главное — чтобы президенту удавалось добиться одобрения своих предложений у обеих палат парламента. Удается ему это далеко не всегда: из-за различных выборов, проходящих каждые два года, у президента многие месяцы связаны руки.

Что касается режима британского типа, то располагающее сплоченным большинством правительство теоретически может почти все. Однако здесь сказывается другая черта конституционно-плюралистических режимов. Возможности правительств не определяются государственными институтами в том виде, в каком они зафиксированы юридическими актами: их уточняет и ограничивает так называемое — за отсутствием более точного термина — общественное мнение. В любой момент конституционно-плюралистическое правительство может счесть допустимым одно и недопустимым другое, а в следующий — наоборот.

Что же ему доступно на деле? Никто не может ответить на этот вопрос с уверенностью. Возможности правительства в большой мере зависят от решимости самих правителей. Невозможность что-то сделать — в первую очередь результат неверия в самих себя. Во Франции правители лишь в частной обстановке (и никогда — публично) говорят о том, насколько их возможности ограниченны.

Могло ли правительство Великобритании принять меры по вооружению, начатые в 1933 году, быстрее, чем это было сделано? Мешало ли общественное мнение сменявшим друг друга с 1933 года по 1939 правительствам успешно готовиться к войне, которую большинство из них предчувствовало? На самом деле эти правительства, как правило, знали, что меры, которые представлялись им необходимыми, не полу-

чат одобрения общественности. Так же ставится вопрос в Великобритании и сегодня, хотя речь теперь идет уже не о вооружении, а об экономике. Формулируется он так: имеет ли право британское правительство допустить определенный уровень безработицы ради поддержания курса фунта и стабилизации цен? С каким количеством безработных примирится вообще? Такого рода вопросы и приводят к пониманию, что свобода действий конституционно-плюралистических режимов имеет свои пределы.

Отличительный признак этих режимов — постоянная борьба частных и частно-общественных интересов. Интересы всего сообщества могут оказаться забытыми в сумятице пропагандистских кампаний. Вот почему необходимы инстанции, которые остаются вне партийного или группового соперничества. Проще говоря, надо обеспечить беспристрастность или деполитизацию администрации, свободу печати не только перед правительством, но и перед партиями и группами — чтобы пресса свободно высказывала все, что полагает полезным для всего сообщества в целом. Необходимо, наконец, создавать особые группы специалистов наподобие британских королевских комиссий, где люди, которые признаны беспристрастными, могут объективно, основываясь на научном подходе, исследовать проблемы управления. Рекомендации таких комиссий не избавляют политических деятелей от необходимости выбора, но оказывают на политиков определенное влияние.

И последнее замечание: наряду с беспристрастной администрацией, объективной печатью и комиссиями необходимо, чтобы участники межпартийной борьбы, то есть партии и группы, не заходили слишком далеко в защите своих собственных интересов и не забывали интересы всего сообщества, а заодно и интересы, связанные с политико-экономическим процессом. Когда объединения предпринимателей и профсоюзы рабочих озабочены не только *предъявлением требований*, но и *контролем*, функционирование конституционно-плюралистической системы несравненно улучшается.

Эти термины применимы к явлениям, доступным нашему наблюдению. Профсоюзы в Великобритании способны и контролировать, и предъявлять требо-

вания. Но иное требование, будучи революционным, может разрушить саму форму конституционно-плюралистического режима.

Можно ли сказать, что эти режимы, по сути, неэффективны?

Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, пытаясь ответить на этот вопрос, в том, что сами режимы — всего лишь один из факторов эффективности или неэффективности тех или иных правителей или стран. Спрашивая, эффективны ли конституционно-плюралистические режимы, следует тут же добавить: а эффективны ли неконституционные режимы? Нет оснований полагать, будто один и тот же ответ годится и для нынешнего испанского режима, и для Третьего рейха, и для советского режима. Иными словами, любая общая оценка эффективности рискованна. Она означала бы, что режим можно характеризовать, не учитывая действительность, особенности страны, усилия поддерживающих государственные институты.

Вот почему следует выявить факторы неэффективности, связанные с сущностью конституционно-плюралистического режима; иными словами — что угрожает его существованию?

Первая угроза нам хорошо известна — опасность, обусловленная консерватизмом системы, возможность ее паралича из-за чрезмерной уступчивости нерешительных правителей под натиском частных интересов.

Вторая угроза: вечное искушение правителей уступать не столько конкретным требованиям, сколько из-за распространенной боязни совершить лишние усилия. Я имею в виду склонность правителей забывать о военных нуждах, склонность к безмятежному существованию, естественному для всех, при любом режиме.

Наконец, третья угроза — неспособность к продуманной политике, в результате чего жертвой оказывается экономика или сообщество в целом.

Все конституционно-плюралистические режимы подвержены угрозе консерватизма. Еще до войны 1939 года я во Французском философском обществе шокировал часть коллег, заявив, что демократические режимы, которые здесь я называю конститу-

ционно-плюралистическими, по сути своей консервативны. Тогда, пожалуй, я зашел слишком далеко. Однако несомненно, что любой режим такого рода в наши дни стоит перед угрозой паралича власти, причем угроза тем больше, чем дольше режим существует. В этом-то и причина феномена революций и мнимых революций, цель которых омолодить власть, вернуть режиму способность к действию. В успешно функционирующих режимах революции — мнимые. Внезапно, по той или иной причине, законодатели или министры получают полномочия более широкие, чем обычно, и пользуются ими для быстрого проведения реформ. Такую мнимую революцию мы пережили в 1936 году, во времена Народного фронта, затем в 1945 году, после Освобождения. Нечто подобное произошло и в Англии. Во всех режимах такого рода наблюдается чередование фаз: у правителей мало реальной власти, различные группы создают им всевозможные преграды, затем, после яростных выступлений общественности, правители вновь обретают способность действовать.

Возможно, эта черта присуща не только конституционно-плюралистическим режимам. До 1789 года старый режим был тоже парализован бесчисленными привилегиями и льготами, они чрезвычайно ослабляли монархическую власть, хотя она и не была конституционной. Порой французскую революцию воспринимают как крайнюю форму омоложения, укрепления власти.

Более того, в периоды, когда вроде бы ничего не происходит, может происходить многое. Например, в десятилетие после 1945 года много говорилось о застое, но за это время французское общество изменилось намного больше, чем за предшествующие десятилетия.

Иначе говоря, ограниченная активность правителей еще не свидетельствует о консерватизме общества. Общество может меняться и при правительствах, обреченных на ограниченность действий. С другой стороны, не исключено, что изменения в обществе наименее значительны именно тогда, когда правительство достаточно неактивно. В конституционно-плюралистических режимах оно не обязательно выступает как движущая сила перемен. Едва ли не

парадокс: зачастую эти режимы успешно функционируют, когда мотор находится в обществе, а тормоз — в правительстве. Общество подвержено быстрым переменам благодаря жизнеспособности экономики, правительство же вмешивается, чтобы смягчать удары по группам или отдельным людям, удары, возможные вследствие преобразований, обусловленных экономическим ростом. Не забудьте, что я отношу эти режимы к индустриальной цивилизации, которую мы изучали в прошлые годы. Но в индустриальной цивилизации перемены происходят сами собой. Только дьявольски эффективное сопротивление со стороны правителей может встать на пути экономических преобразований. Паралича, который может сковать конституционные механизмы, в большинстве случаев недостаточно для предотвращения экономических и социальных перемен, мотор которых — в самом обществе.

Конституционно-плюралистическим режимам свойственны достоинства и недостатки, связанные с рассеянием власти, с явным покровительством частным интересам. По определению, они не способны ни на сенсационные шаги, которые предпринимали режимы, где правителей ничто не ограничивало, ни на масштабные промахи. События вроде коллективизации 1929—1935 годов в России при конституционно-плюралистическом режиме немыслимы.

Не забудем, однако, что и при этих режимах наблюдались явления, в каком-то смысле едва ли не столь же ужасные. Например, кризис 1930—1933 годов. Конституционно-плюралистические режимы способны, не прибегая к чудовищным действиям, пассивно сносить последствия чудовищных явлений.

Переходя к выводам, отметим, что в целом и в большинстве случаев конституционно-плюралистический режим предпочтительнее режима с монополизировавшей власть партией,— если мы стремимся к экономике, которая обеспечивает благосостояние страны.

Теперь рассмотрим опасность, которая связана с пренебрежением интересами сообщества ради интересов отдельных граждан.

Остановимся на конфликте, который отметил Парето в своем «Трактате об общей социологии»,

между интересами *сообщества,* рассматриваемого как некое единство, сущность, и интересами элементов сообщества, то есть составляющих его людей.

Парето считал, что интересы отдельных членов общества не учитываются, если максимально удовлетворяются лишь потребности некоторых — даже при условии, что жизненный уровень остальных не понижается. Но интересы отдельных людей — это далеко не то же самое, что интересы всего общества. Максимальное увеличение благосостояния граждан иногда ставит под угрозу существование и оборону самого сообщества.

Первое замечание по этому поводу довольно банально: конституционно-плюралистические режимы задуманы для условий мира. В сообществе, созданном для войны, никому не придет в голову поощрять постоянное соперничество групп и партий. Терпимость к такому соперничеству свидетельствует о стремлении к миру. Вот почему при противостоянии с режимами, иными по своей сути, возникают непривычные сложности. Чтобы никого не задеть, возьмем примеры, достаточно отдаленные. В 1933—1939 годах конституционно-плюралистические режимы казались слабыми, ибо противостояли режимам, лидеры которых по образу мыслей и способам действий изначально отличались от руководителей парламентского типа, верящих в компромиссы и не желающих насилия. Вожди монополизировавших власть партий верили только в насилие и презирали компромиссы. Главы фашистских режимов полагали, что война — закон истории, а завоевания — естественная цель любого жизнеспособного сообщества. Конституционно-плюралистические режимы XX века плохо приспособлены к завоеваниям и даже, до какой-то степени, к подготовке войны.

Конечно, в XIX веке изучаемые нами режимы создали обширные империи, утраченные в нашем столетии. Важно уяснить причины, по которым именно они сумели столько завоевать в прошлом веке и так быстро утратили завоеванное в нынешнем. Тезис, что конституционно-плюралистические режимы вообще неспособны к завоеваниям, опровергается опытом прошлого.

По данному вопросу ограничимся одним замечанием: этим режимам все более недостает идеологических средств для оправдания своих имперских амбиций, и у них нет ни потенциала насилия, ни потенциала лицемерия, которые необходимы для стабильного проведения курса, противоречащего их идеям.

Это утверждение справедливо лишь для длительной перспективы. А за короткий срок может случиться многое, что опровергнет сформулированные мною сейчас тезисы. В прошлом веке колониальные завоевания, во-первых, были легко осуществимы из-за военного превосходства европейцев; а во-вторых, отчасти они оправдывались популярной теорией цивилизаторской миссии. Ныне положение дел иное.

Что же касается отношения конституционно-плюралистических режимов к проблеме войны, есть еще один аспект, которым нельзя пренебречь: будучи втянутыми в войну, эти режимы порою действуют более энергично, чем режимы иных видов. Конкретный пример: мобилизация в Великобритании и гитлеровской Германии в годы второй мировой войны. В демократической Англии мобилизация людей и ресурсов оказалась более радикальной, чем в Третьем рейхе. Можно возразить, что в военное время конституционно-плюралистические режимы принципиально меняются. С одной стороны, это верно: во время войны приостанавливается партийная борьба. Однако, с другой стороны, опыт Великобритании подтверждает один из тезисов «Демократии в Америке».

Токвиль писал, что у режимов, которые он называл демократическими, есть двойная особенность: им трудно готовить войны и еще труднее прекращать их. Оба феномена взаимосвязаны: в мирное время трудно готовить войну, так как в условиях демократий правители стараются следовать предполагаемым ими желаниям граждан. После вступления в войну происходит что-то вроде поворота на 180 градусов: изменившийся, едва заговорили пушки, режим настолько отличается от себя самого в мирное время, что правительство испытывает искушение дойти до конца пути к победе, дабы раз и навсегда покончить с делом и как можно скорее вернуться к обычному состоянию. Отсюда медлитель-

ность при подготовке к войне и неспособность быстро ее прекратить.

В какой мере конституционно-плюралистические режимы способны обеспечить благо сообщества?

Верно ли, что конституционно-плюралистические режимы неэффективны с точки зрения развития экономики? Имеющийся опыт свидетельствует: делать такой вывод нельзя. В конце концов именно эти режимы существуют в самых богатых странах, с наиболее высоким уровнем жизни. Экономика благосостояния расцвела именно в США, Великобритании, Западной Европе.

В иные времена, в частности во время экономического кризиса 1930—1933 годов, казалось, что эти режимы не в состоянии руководить современной экономикой. Фактически же мы приходим к иному, хоть и несколько обескураживающему, выводу: между качеством государственных институтов и качеством хозяйствования нет прямой взаимосвязи. Некоторые страны, где эти институты успешно функционируют, например Великобритания, допустили много существенных ошибок в руководстве экономикой, и не исключено, что меньше ошибок пришлось на долю стран, где эти институты проявляли себя не столь безукоризненно.

Иными словами, экономический феномен 1930—1933 годов едва ли связан с соперничеством партий и внутрипартийной борьбой. Наиболее очевидным примером может служить Франция.

Между 1930 и 1939 годами ее курс привел к тому, что накануне войны промышленное производство упало примерно на 20% ниже уровня 1929 года. Но вызвавшие этот упадок решения нельзя приписывать неустойчивости правительств или отсутствию у них реальной власти — недостаткам, о которых обычно говорится применительно к французскому режиму. Определенные ошибки, которые совершили государственные служащие, представители частных интересов, равно как и парламентарии, затянули кризис во Франции на десять лет. Отказ от девальвации франка в 1931—1936 годах не имеет ничего общего с накалом партийной борьбы, коль скоро большинство политиков, партий банкиров и промышленников необъяснимым образом отвергало меру, необходимую

(как это всем теперь известно) для оживления экономической активности.

Что касается внешней политики, тут трудно вынести окончательный приговор. Неоспоримо, что между двумя мировыми войнами внешняя политика конституционно-плюралистических режимов была исключительно неэффективной. Но вряд ли внешняя политика Великобритании оказалась удачнее французской. Не исключено даже, что между 1920 и 1939 годами она была еще более гибельной, более переменчивой. На первых порах правительство Великобритании полагало, что главная опасность исходит от Франции, а не от Германии. По меньшей мере странное заблуждение. На втором этапе, то есть после прихода Гитлера к власти, английские руководители долгое время верили в возможность прийти к соглашению с Третьим рейхом и сдержать аппетиты Гитлера. Повторим, что в иных случаях трудно судить о какой-то связи между функционированием государственных институтов и принятием ими решений.

Верным же остается то, что внешняя политика конституционно-плюралистических режимов потенциально неэффективна при противостоянии режиму иного типа. Парламентариям всегда непросто понять ход мыслей людей, воспитанных в иных традициях, привыкших к иным формам поведения. Опасность непонимания усугубляется стремлением демократических правительств игнорировать неприятные факты, уклоняться от рискованных действий.

Мне возразят, что склонность игнорировать факты и нерешительность — в гораздо большей степени черты человеческой природы вообще, а не какого-либо режима. Такое возражение отчасти справедливо: люди, какими бы они ни были, предпочитают видеть мир в соответствии со своими предпочтениями, а если он выглядит иначе — не замечать этого. Некоторые, не обязательно невротики, склонны к обратному: им вечно видятся грозящие катастрофы, но они не замечают обстоятельств, складывающихся в их собственную пользу. И все же на страницах печати, в политической жизни мир чаще видится сквозь призму желаний, а не в своей подлинной реальности.

Режимы, где парламентарный стиль — норма,

всегда избегают радикальных решений, всегда склонны к компромиссам. Но во внешней политике часто необходим выбор, и к тому же оперативный. Вспомните об оккупации Рейнской области в марте 1936 года: альтернатива была очевидной — дать отпор военными средствами или смириться. Накануне выборов пойти на военный конфликт было трудно; пассивное смирение — невозможно из-за масштаба события. Выбор сделали в пользу промежуточного варианта — было торжественно заявлено, что не будет дано согласия на оккупацию, хотя тем самым она была фактически санкционирована.

Приведенный пример едва ли не карикатурен, но в данном случае карикатура весьма символична. Демократические правительства всегда будут склонны подменять активное неприятие реальности словесным отказом от нее и полагать, что мир не таков, каков он есть.

IX

О разложении конституционно-демократических режимов

Всем известно выражение: «Как прекрасна была Республика при Империи!» Эта шутка, вполне соответствующая привычке французов видеть все в черном свете, содержит, на мой взгляд, глубокую истину. Конституционно-плюралистические режимы, обычно называемые демократическими, не могут не вызывать разочарования в силу своей прозаичности и оттого, что их высшие добродетели негативны.

Они прозаичны, ибо считаются с несовершенством человеческой природы. Они мирятся с тем, что власть обусловлена соперничеством групп и идей. Они стремятся ограничить реальную власть, поскольку убеждены, что заполучившие власть люди злоупотребляют ею.

Есть у таких режимов и позитивные качества — уважение к конституционности, личным свободам; но все же наивысшие их добродетели скорее носят негативный характер. Осознаешь это лишь тогда, когда теряешь возможность пользоваться ими. Такие режи-

мы препятствуют тому, чему не препятствуют все прочие.

Вместе с тем режим, допускающий постоянное столкновение идей, интересов, групп и лиц, не может не отражать характера тех, по чьей воле столкновения возникают. Можно мечтать об идеальном конституционном режиме без каких бы то ни было несовершенств, но нельзя представить себе, что все политические деятели заботятся одновременно и о частных интересах, которые они представляют, и об интересах сообщества в целом, которому обязаны служить, нельзя представить режим, где соперничество идей свободно, а печать беспристрастна, где все граждане осознают необходимость взаимной поддержки при любых конфликтах.

Если верен проведенный мной в двух предыдущих лекциях анализ, стоит задуматься о правомерности различения разложившихся и здоровых конституционно-плюралистических режимов. Возможно, эти режимы всегда в той или иной степени разложившиеся? Я готов признать, что они никогда не решают безупречным образом встающие перед ними проблемы. Но для того, чтобы в одних случаях говорить о режимах разложившихся, а в других — о здоровых, нужно ввести такое понятие,как уровень разложения. Сегодняшнюю лекцию я посвящу различным видам разложения конституционно-плюралистических режимов.

Характер разложения можно определить через его главную причину. Ее можно усмотреть на уровне государственных институтов (в узком смысле), настроений общества или, наконец, социальной инфраструктуры.

Разложение политических институтов проявляется тогда, когда система партий уже не отвечает всем группам интересов или когда партийная система функционирует так, что соперничество партий не приводит к устойчивой реальной власти.

Второй случай разложения — это разложение принципа, как сказал бы Монтескье.

Здесь возможны различные проявления: либо идея партийной борьбы в конце концов вытесняет идею общего блага, либо стремление к компромиссу, необходимое для функционирования режима, в конечном

счете делает невозможным любой недвусмысленный выбор и любой решительный курс.

Наконец, разложение может начаться с социальной инфраструктуры, когда индустриальное общество уже не в состоянии функционировать, когда формы социального соперничества достигли такой остроты, что власть, источником которой является соперничество партий, уже не способна совладать с ними.

Такая классификация вполне уместна. Однако ее нельзя использовать в наших исследованиях, поскольку главная причина разложения ясна далеко не всегда.

Другая, более простая классификация основана на введенном мною в двух последних лекциях различии олигархии и демагогии.

Конституционно-плюралистические режимы могут разлагаться из-за избыточной олигархичности или из-за чрезмерной демагогичности. В первом случае разложение, надо полагать, наступает оттого, что некое меньшинство использует государственные институты в своих целях, препятствуя воплощению лежащей в основе режима идеи о гражданском правлении.

Второй вид разложения проявляется тогда, когда олигархия становится, так сказать, слишком незаметной, когда всевозможные группы проявляют бескомпромиссность в осуществлении своих требований и для сохранения общих интересов уже не остается реальной власти.

И эта классификация возможна. В самом деле, разложение режимов может быть результатом и превышения порога олигархичности, и избыточной демагогии.

Но и здесь критерий слишком отвлеченный, слишком общий: далеко не всегда ясно, к какому разряду отнести данный конкретный случай. Вот почему я предпочитаю другое, простое различие: «еще нет» и «больше невозможно». Известны конституционно-плюралистические режимы, которые разлагаются из-за того, что у них еще нет глубоких корней в обществе; в то же время другие разлагаются под воздействием времени, собственного износа, привычки,— иными словами, их функционирование *более невозможно*.

Грубо говоря, режимы, разложившиеся по причине «еще нет», страдают от избытка олигархичности,

а разложившиеся по схеме «больше невозможно» страдают избыточной демагогией.

Таким образом, я буду последовательно рассматривать сначала трудности *укоренения* режима, а затем риск, связанный с возможностями его распада.

Первая, простейшая, самая распространенная трудность, связанная с укоренением режима,— это несоблюдение конституционных правил. В конце концов регламентация правил соперничества отдельных лиц, групп, партий — отличительная черта этих режимов. Любое насильственное нарушение правил не что иное, как неуважение к сущности самого режима.

Многие из этих режимов укоренились не без труда. Конституционное функционирование на долгие сроки прерывалось государственными переворотами. Франция пыталась ввести конституционный режим в конце XVIII века, но лишь в последние годы XIX столетия режим обрел устойчивость и стал пользоваться всеобщим уважением. В 1789—1871 годах нация в целом не считала бесспорным ни один из режимов.

В более широком смысле можно отметить, что в латинских странах, как и прежде, чрезвычайно трудно добиться стабильного функционирования конституционно-плюралистических режимов. Факт сам по себе поразителен, а объяснение то и дело вызывает споры.

Не претендуя на полноту охвата, можно указать несколько очевидных причин.

Первая — роль католической религии и церкви в жизни латинских стран. Как установить режим, принимаемый всеми гражданами, если его не поддерживает самая крупная нравственная, духовная сила, если церковь враждебна или выглядит враждебной политическим установлениям? Влияние этого фактора очевидно в истории Испании, Италии и (вплоть до 1885 года) Франции.

Второй фактор — экстремизм. В латинских странах многие (если не все) партии склонны выставлять экстремистские требования. Но для жизнеспособности режимов необходимо, чтобы породившие их партии действовали в соответствии с законами. Во Франции же, едва устанавливается республиканский или демократический режим, некоторые партии стано-

вятся на враждебные ему позиции, осыпают его упреками в умеренности или в консерватизме.

Наконец, третий фактор: развитие индустриального общества в католических странах не столь интенсивно, как в протестантских.

Вторая помеха укоренению режима обусловлена тем, что олигархия использует в своих целях конституционные формы действий. На каком-то начальном этапе вовсе не плохо, что всю тяжесть власти несет один правящий класс, наделенный соответствующим самосознанием. В конце концов именно так обстояло дело долгое время в Англии — конституционно-плюралистические режимы пускают корни и под покровительством олигархической власти. Однако важно, чтобы олигархии всерьез благоволили таким государственным формам, содействовали развитию общества и ведению хозяйства на разумных началах. Опасаться же приходится того, что олигархии, настроенные против подлинного соперничества партий и, следовательно, против упразднения собственных привилегий, станут использовать конституционные формы в корыстных целях.

Рассмотрим страны Ближнего Востока. В Египте до недавней революции режим лишь выглядел конституционно-плюралистическим, олигархия, в основном помещики, использовала конституционные формы в корыстных целях. Это были олигархи-плутократы, которым сохранение могущества и богатства важнее преобразования общества.

Если дело обстоит именно так, режиму не закрепиться. Новые силы, группы, возникающие в результате обновления общества, становятся враждебными режиму, который, по их мнению, тормозит ход истории.

Конституционные методы, формальное уважение свобод личности могут перерождаться в орудия сохранения отживших привилегий. В таком случае режим находится в состоянии разложения. Точнее говоря, он еще не воплощает своей идеи, потому что абсолютная власть правящего меньшинства противоречит назначению режима.

Есть и другие сложности. Раздоры между группами, в частности, теми, которые входят в состав правящего меньшинства, достигают иной раз такого

накала, что делают гибель режима неизбежной.

Так было во Франции, где в той или иной форме всегда проявлялась специфическая черта — отсутствие контакта между теми, кто способен оказывать влияние на общество, и теми, кто обладает политической властью. Подобные явления нередко отмечаются в странах, ныне называемых слаборазвитыми. Тамошние старые олигархии используют выборы исключительно в своих целях и прибегают к конституционным методам как к маскировке, провоцируя тем самым представителей средних классов, которые стремятся ускорить обновление общества; в то же время представители интеллигенции, профессиональные революционеры, а то и военные захватывают власть, прибегая к произволу, дабы упразднить прежние привилегии.

Пример Франции поучителен. В Учредительном собрании не было ни одного республиканца. Республика считалась невозможной в столь обширной и густонаселенной стране. Монархию свергли, потому что был поколеблен старый принцип законности, а столкновения различных группировок, возникших на основе прежних сословий, оказались слишком яростными, чтобы создать нормальные условия конкуренции. Непосредственной причиной революции стал провал попытки ввести парламентские приемы, скопированные с английских.

Этот провал вызвал долгосрочные последствия — до самого конца XIX века по-настоящему не укоренился ни один режим, который вся масса населения считала бы законным. То пребывавшая у власти группировка была детищем прежних привилегированных кругов, то, напротив, триумф какой-то партии означал для аристократии необходимость уйти во внутреннюю эмиграцию.

В ближневосточных странах новая элита, зачастую состоящая из офицеров и интеллигенции, становится, смотря по обстоятельствам, или фашистской, или коммунистической. Иной раз в этих странах первое практически равнозначно второму; это просто стремление к разрыву с консервативными или псевдодемократическими режимами, которые традиционная элита использовала в своих корыстных целях.

Порожденные индустриальным обществом элитарные группы вынуждены находить свое место в режиме.

Существуют также сложности, связанные с необходимостью в начальном периоде развития конституционного режима ограничивать требования масс.

Рассмотрим ситуацию во Франции в 1848 году. Замена монархии республикой не увеличила ресурсы общества и производительность экономики. Чтобы возросли доходы народных масс, мало назвать режим республиканским или демократическим. Революционные перемены не могли не породить надежд и требований. И режим неизбежно стал жертвой разочарований.

Интересен и пример Индии. Там дальнейшее существование конституционно-плюралистического режима зависит, с одной стороны, от сплоченности руководящей группы нового государства, с другой же — от определенной пассивности народных масс или, лучше сказать, от поддержания, несмотря на экономические преобразования, традиционной социальной дисциплины. Сомнительно, чтобы конституционно-плюралистический режим уцелел, если в массах Индии слишком рано пробудится политическое сознание. Каким бы он ни был, но ресурсов в стране не хватает, так что пройдет еще много времени, пока появятся возможности удовлетворять даже справедливые требования. Демократия существует в Индии, бедной стране, потому что здесь совмещены два редких условия: смирение толпы и сплоченность элиты.

Рассмотрим, наконец, трудности, связанные с нехваткой администраторов.

Мы в основном изучаем конституционные режимы в их политическом функционировании, но качество администрации важно не меньше, чем все чисто политические факторы. Если в стране, почти полностью лишенной администраторов, ввести конституционно-плюралистический режим, он не сможет функционировать. А окажется ли в лучшем положении какой-либо другой режим? Разумеется, при нехватке квалифицированных администраторов никакой режим не может быть действенным. Но недостатки администрации усугубляются, когда на них накладывается

непрерывная борьба интересов, идей, людей, партий. Возьмем в качестве примера Индонезию, страну, где нет единого языка, единой религии, единой нации. Число квалифицированных администраторов было там смехотворно малым. И вот в этих-то условиях был введен режим, который вдохновлялся конституционно-плюралистическими режимами Запада. Немудрено, что через несколько лет он начал распадаться, а с ним и национальное единство. Задача демократических режимов не состоит в том, чтобы создавать государства или укреплять единство нации. Главное для этих режимов — чтобы государства и нации противостояли постоянному соперничеству групп, лиц, партий, идей. Нацию никогда не удавалось создать, сказав людям: идите и враждуйте! Порою кажется, что Запад рекомендует освободившимся странам формировать власть на основе раздоров.

Если подытожить все трудности, связанные с укоренением режима, я свел бы свои мысли к следующим тезисам.

Прежде всего необходима разумная, то есть, следуя старой буржуазной мудрости, не слишком большая и не слишком малая дистанция между общественными силами и политической властью. Если дистанция чересчур велика, взрыв почти неизбежен. Те, кто воплощает социальное могущество, пытаются либо устранить политических руководителей, либо использовать их в своих интересах. Если же между носителями реальной политической власти и теми, кто контролирует общество (посредством капитала или традиций) дистанции нет, то конституционность режима — мнимая, она служит только интересам олигархии.

Необходимо, чтобы принципы, определяющие суть режимов, пользовались уважением, чтобы неукоснительно соблюдалась сама идея государственных институтов, чтобы дух, необходимый для функционирования этих институтов, воодушевлял если не сами народные массы, то хотя бы правящие меньшинства.

Наконец, важно, чтобы эти режимы были достаточно эффективными, а эффективность оценивается лишь по двум показателям. Первый: сохранение единства сообщества, какими бы многочисленными

ии были в нем конфликты. Второй: обновление экономики — невзирая на склонность групп, сплоченных общностью интересов, сохранить старые порядки.

Рассмотрим варианты, связанные с риском распада режима: 1) на уровне политических институтов; 2) на уровне принципа приверженности интересам сообщества; 3) в связи с социальной инфраструктурой или, в более широком смысле, с задачами, стоящими перед режимами.

1. На уровне политических институтов

Вновь обратимся к Франции. В целом французы ныне более склонны принимать существующий режим, чем когда бы то ни было начиная с 1789 года. Возможно, причина — в усталости после стольких неудачных экспериментов. А ведь считается, что режим в опасности. Если это так, то лишь потому, что многие полагают, будто несовместимые с общим благом слабость и неустойчивость исполнительной власти обусловлены конституционными правилами и партийной системой. Режим, принимаемый в качестве законного, может оказаться под угрозой из-за собственных недостатков.

2. Разложение принципа

Слово «принцип» я использую в значении, предложенном Монтескье. Граждане перестают отвечать требованиям, которые предъявляет им режим. У них отсутствуют качества, необходимые для того, чтобы основанный на свободе режим продолжал существовать.

Какими должны быть граждане при конституционно-плюралистических режимах?

Оставим в стороне употребляемое Монтескье слово «добродетель»: общества, в которых мы живем, не могут быть добродетельными по Монтескье. В его понимании добродетель включает в себя стремление к равенству и умеренности, а это не имеет ничего общего с сущностью индустриальных обществ. Коммунистические или демократические общества не добродетельны и не могут быть таковыми. Их цель —

производить как можно больше и как можно лучше. Невозможно вообразить общество, назначение которого — производить как можно больше и при этом распределять как можно меньше. В условиях экономики, которая старается создать изобилие, нельзя рассматривать в качестве высшей ценности умеренность.

Очевидность этих положений сомнений не вызывает, хотя многие критики демократии настаивают, что добродетели современных демократий могут сводиться к добродетелям демократий античных.

Осталась единственная черта, роднящая старую и современную добродетель. Это — уважение к законам. При конституционно-плюралистических режимах граждане обязаны:

соблюдать законы, и в первую очередь Конституцию, коль скоро она одновременно регламентирует правила конфликтов в обществе и определяет основы единства;

воодушевлять режим, бороться с сонным однообразием жизни, выступая с требованиями (я готов был сказать — гореть страстями, порожденными различными группировками общества),

но при этом сохранять способность к компромиссу.

Бесспорно, существует опасность, что при чрезмерной приверженности идеям будет утрачено чувство компромисса. Когда страсти разгораются, люди теряют уважение к законам и Конституции. Режимы всегда будут испытывать такую угрозу из-за чрезмерной приверженности идеям тех или иных группировок или же, наоборот, из-за избыточного стремления к компромиссам.

В самом деле: если попытка примирить отношение к некоей проблеме правых и левых партий станет первой реакцией режима, то найденный выход или решение могут оказаться скверными. Чрезмерная тяга разложившегося режима к компромиссам проявляется в парламентских попытках любой ценой выйти из создавшегося положения, а не решать сами проблемы.

В любой политике есть требующие решения проблемы. Например, определение статуса территории или разработка курса, позволяющего ликвидировать дефицит платежного баланса. Проблемы должны ре-

шаться на основе анализа сложившегося положения. Анализ не требует принятия определенных мер. Можно лишь рекомендовать те или иные направления. У каждого из них свои преимущества и недостатки, риск неудачи и шансы на успех. Выберите одно из них. Может быть, вы добьетесь своего.

Таков смысл объективного изучения проблем, которое предпринимают советники монарха, государственные служащие. Их обязанность — сформулировать политическим деятелям условия задачи. После этого перед политиком встает другая необходимость: обеспечить парламентское большинство в пользу одного из возможных решений. Нет ничего нелепее, чем высмеивать поиски большинства. Но когда это подменяет поиск самого решения, мы склонны прибегнуть к несколько отвлеченной, но строгой формулировке: стремление к компромиссу приводит если не к гибели режима, то к его параличу.

Если наилучшее решение отвергается большинством, такая опасность неизбежна. Можно возразить интеллигенту, предлагающему решение трудной проблемы: «Вы не член правительства, вам незачем заботиться о большинстве». Отвлекаясь от предпочтений рядовых граждан и депутатов, решать проблемы легче. Но сущность конституционно-плюралистических режимов заключается как раз в том, чтобы решать проблемы только с одобрения депутатов. Когда представители граждан забывают о стоящих проблемах и помышляют лишь об интригах, начинается разложение, затрагивающее самую сердцевину режима: теряется необходимая ему духовная и нравственная позиция.

Потеря принципа не имеет ничего (или почти ничего) общего с утратой нравственного чувства. Лишиться принципов могут и люди добродетельные, хорошие отцы и мужья, исправные налогоплательщики и т. п. Имеется в виду чисто политическое разложение, причины которого чаще всего связаны с самой системой.

Еще сохранились определенные черты, роднящие подобное разложение принципа с явлениями, о которых античные авторы рассказывали применительно к демократии. Платон считал, что она начинает разлагаться, когда управляемые ведут себя, как управ-

ляющие, а те — как управляемые, когда граждане утрачивают привычку к повиновению и пренебрегают дисциплиной, когда правители выглядят так, будто жаждут снискать похвалу управляемых. Все это в определенной степени можно перенести на двойное разложение, — двойное потому, что оно поражает в наших современных обществах и правителей и управляемых. Граждане требуют слишком многого, а правители недостаточно решительны. Управляемым надлежит, выдвинув свои требования, согласиться с решением большинства, а правителям — принимать во внимание предпочтения граждан, не склоняясь, однако, перед крикливым меньшинством.

Иногда распад духа, необходимого конституционно-плюралистическому режиму, обусловлен самими государственными институтами. Когда структура парламента такова, что правители вынуждены раз за разом испрашивать одобрение противников, реальные проблемы как бы отходят на второй план и единственным вопросом, который требует постоянного внимания, остается парламентское большинство.

В заключение рассмотрим случай Веймарской республики: «наилучший» пример разложения конституционно-плюралистического режима.

Я говорю «наилучший» в том же смысле, как говорят «поразительное преступление». Налицо почти все факторы в их совершенном виде. Прослеживается по меньшей мере одно из реальных проявлений распада парламентского режима.

Поскольку конституционно-плюралистическому режиму свойственны недостатки двух разновидностей, у него противники двух типов. Те, кто винят партии в гибели национального единства, и те, кто мечтают о социальном единстве, об устранении олигархов, которые закулисно заправляют в парламенте.

Ради упрощения назовем эти идеологические оппозиции революционерами справа и революционерами слева. Первые кричат об опасности, которую представляют для национального единства вечные стычки между партийными группировками, вторые, мечтая об однородном социуме, направляют свои стрелы в «монополистов», социальную стратификацию. Во всех современных обществах существуют, в явном или неявном виде, обе революционные группы. Вполне

понятны и даже в чем-то логичны доводы и тех и других. На первый взгляд, трудно устоять перед мечтой об обществе, в котором не будет классового антагонизма, и нет ничего легче, чем поносить режим, где власть — не что иное, как результат постоянных конфликтов.

У обеих разновидностей порою возникает общность цели: уничтожить плюралистический режим, это воплощение зла с обеих крайних точек зрения. В глазах революционеров слева он есть зло, поскольку олицетворяет замаскированную капиталистическую олигархию. Для революционеров справа — потому что он вызывает социальный распад и дает определенный шанс революционерам слева.

Обе — правая и левая — революционные группы при Веймарской республике обладали достаточной силой и способностью увлечь массы. Против существующей системы боролись и национал-социалисты и коммунисты.

Правая оппозиция при Веймарской республике окрепла, поскольку конституционно-плюралистический режим только возник, не пользовался никаким авторитетом, символизировал поражение. Правый революционер стремился извлечь выгоду из озлобления или энтузиазма всей нации. Для успеха его усилий, направленных на формирование полчищ под лозунгом «единство нации», следовало говорить об ослаблении этого единства, об опасности судьбам сообщества.

Левые же революционеры при Веймарской республике укрепились благодаря исключительно тяжелому кризису, который обрушился на экономику. По прошествии целого поколения нелегко понять, как руководители капиталистического мира допустили такое развитие кризиса 1929 года, когда без работы остались шесть миллионов трудящихся.

Конституционно-плюралистический режим утрачивал необходимую поддержку народных масс, а по мнению других — минимальное благосостояние, без которого невозможно существование современного общества.

Таковы исходные данные. Нужны ли другие факторы, чтобы режим оказался сметенным?

Обе оппозиции вместе сделали необходимое и достаточное, чтобы режим не смог функционировать.

Необходимо и достаточно, чтобы парламентское большинство состояло из противников режима. Он был просто обречен на государственный переворот. Изучаемый нами режим, по определению, зиждется на законе большинства: нет поддерживающего его большинства — нет больше и возможности существования конституционного режима. В 1933 году национал-социалисты, коммунисты, фракция немецких националистов образовали совместно парламентское большинство. Вопрос стоял так: либо управлять, опираясь на меньшинство, что в длительной перспективе привело бы к государственному перевороту, либо провести новые парламентские выборы, которые, весьма вероятно, вновь создали бы враждебное режиму большинство.

Таков идеальный пример разложения конституционно-плюралистического режима. Мало того, что сложилось враждебное режиму большинство, разложение внутри самого режима захватило все партии, приняло форму, которую я называю избытком духа приверженности определенным партийным или групповым идеям. Режим предполагает наличие партий, но партии нельзя абсолютизировать. При Веймарской республике все они стремились играть главенствующую роль и каждая обладала собственной идеологией и собственными вооруженными силами.

Возможны были два выхода: либо выступавшие за режим партии сами берут инициативу и действуют в нарушение конституционных правил, либо власть переходит к одной из враждебных режиму партий.

Если оглянуться назад, станет ясно, какое решение было наилучшим. Без колебаний можно сказать, что государственный переворот, совершенный сторонниками конституционного режима, был предпочтительнее. Представим себе, что в течение нескольких лет партии центра правили бы, опираясь на чрезвычайные законы: последствия были бы куда менее тяжкими, чем события, которые повлек за собой приход Гитлера к власти.

Но события пошли иным путем. На то было много причин. Одна из них идеологическая: почти полная взаимная поддержка правых революционеров и традиционных консерваторов. Эти группы отличались друг от друга, их идеи в своей основе были противополож-

ны, однако до второй мировой войны традиционные консерваторы всерьез полагали, что принадлежат к той же партии, что и правые революционеры, тогда как на самом деле у них были лишь одни и те же объекты ненависти. Во Франции традиционный консерватор — это, скажем, член «Аксьон франсез»*. Но до второй мировой войны представитель этой группировки ненавидел — чтобы никого не смущать, употребим прошедшее время — радикальных или социалистических лидеров не меньше, чем фашисты. В основе же традиционный консерватор очень далек от революционера гитлеровского типа, но не всегда об этом догадывается. Национал-социалисты пришли к власти благодаря заговору германских националистов и по решению, принятому президентом Гинденбургом.

Вот так и завершилось, идеально типичным образом, разложение конституционно-плюралистического режима — когда враждебные ему оппозиционные группировки добились большинства, а глава одной из них пришел к власти и полуконституционным путем устранил режим.

Этот пример поучителен. Режим, который мы называем демократическим, рискует утратить связь с народными массами. Возникает впечатление, что многие граждане в конце концов мечтают об уничтожении собственных свобод. Никакому режиму не продержаться на одних только официально полученных полномочиях.

X

Неизбежно ли разложение?

Неизбежно ли разложение конституционно-плюралистических режимов? Что ждет разложившийся режим? Дано ли ему продлить свое существование, или же его неизбежно сметет какая-нибудь революция? Это — классические вопросы в политической ли-

---

* Реакционная организация во Франции, существовавшая с 1899 до 1944 г.; участвовала в фашистском путче в феврале 1934 г., сотрудничала с фашистскими оккупантами.

тературе. Со времен античности философы задумывались над тем, случайно или же закономерно разложение режимов.

Смысл вопроса становится ясным при обращении к экономике. Экономистов интересовало, всегда ли неизбежны кризисы, а также случаен или неизбежен экономический путь развития режима. По отношению к кризисам экономисты делятся на три школы. По мнению представителей первой, развитие кризисов носит эндогенный* характер: фаза «бума» сама порождает причины, в результате которых вслед разражается кризис. Представители второй школы отрицают эндогенные причины, но настаивают на эндогенном характере уязвимости экономики: достигнув высшей точки «бума», экономика становится уязвимой для любого инцидента, способного вызвать депрессию, хотя сама по себе депрессия не представляется неизбежной. Представители третьей школы полагают, что кризисы вызываются экзогенными**, случайными причинами, следовательно, можно представить себе и даже осуществить непрерывное развитие экономики без чередования роста и спада.

Что касается случайности или неизбежности путей развития экономики, мнения также группируются в трех направлениях. Первое признает эндогенную природу паралича, постепенно поражающего систему,— такова, например, теория Маркса, его закон о тенденции к снижению нормы прибыли. Второе направление представлено творчеством Кейнса. Не предрекая паралича капиталистического режима по достижении определенного уровня развития, он в то же время утверждал: опасность депрессии и хронической безработицы постоянно возрастает, выгодные возможности вложения капитала сокращаются, перспективы получения прибыли все менее и менее благоприятны. Представители третьего направления считают, что в капитализме всегда таится опасность или возможность кризиса, она одинакова на любом этапе развития режима.

---

* Возникающий изнутри, в результате внутренних процессов.

** Возникающие вовне, вследствие внешних процессов.

Перенесем эти три концепции на занимающую нас сегодня проблему разложения конституционно-плюралистических обществ. Ее рассмотрение допустимо на двух уровнях. На уровне политики можно утверждать, что конституционно-плюралистический режим разрушает сам себя своей продолжительностью, или, лучше сказать, по мере развития становится все более уязвимым. Второй уровень — экономическая инфраструктура. Тут вероятность разложения режима возрастает не в силу чисто политических факторов, но преобразования экономической и социальной структуры таковы, что режим либо полностью парализован, либо функционирует со все большими трудностями.

Можно ли утверждать, что саморазрушение конституционно-плюралистических режимов — лишь следствие их продолжительности? Возрастает ли вероятность паралича, разложения таких режимов по мере их существования?

Чаще всего в поддержку этого утверждения приводят такой довод: сущность подобных режимов — зарождение власти в конфликтах между группировками и партиями. Все партии обречены использовать конфликты, неизбежные в любом сообществе. Однако, если такое неизбежно, возрастает возможность постепенного крушения национального единства и проявления двух феноменов, разобранных мною в предыдущей лекции. Первый — чрезмерная склонность к компромиссам: партии, которым необходимо преодолеть межпартийные разногласия, заботятся уже не о решении политических проблем, а о достижении взаимных договоренностей. Второй феномен — избыточная тенденциозность: партии готовы любой ценой отстаивать свои идейные установки. Действие разворачивается по сценарию Веймарской республики.

Многие страны лишь недавно добились независимости. Индия — десять лет назад. Борьбу за независимость вела партия Конгресса*. Своим единством она была в значительной мере обязана общенародному сопротивлению британским оккупантам. Вполне ве-

---

* Имеется в виду партия Индийский национальный конгресс.

роятно, что единство этой партии ослабеет, по мере того как все менее актуальной станет необходимая для победы сплоченность. Вернемся из Азии во Францию: во времена III Республики первое поколение республиканцев было более сплоченным (или менее расколотым), поскольку еще помнило о схватках с общим врагом — врагом самой Республики.

Ослабление единства по мере существования режима наблюдалось многократно. Это относится и к партии, обладавшей большинством в парламенте, и к прочим политическим сообществам. Но из этого еще не следует, что режим непременно должен вырождаться. Ведь есть и противоположные тенденции — укрепляющие режимы во втором или третьем поколении.

Одна из них — ослабление враждебных режиму партий. Этот процесс сопровождается и постепенным упадком традиционных сил. Во времена III Республики раскол среди республиканцев усилился, однако силы традиционалистов, враждебные Республике в первом поколении, перешли на ее сторону во втором. Все режимы укрепляются уже потому, что продолжают существовать. Люди привыкают к государственным институтам, а поскольку ни один из них не совершенен, то у существующих есть огромное достоинство: они уже функционируют.

Какой же из двух аргументов убедительнее: изнашивание режима из-за его демагогичности или его укрепление благодаря привыканию к режиму?

Неправомерно обсуждать это в общем виде. Нельзя говорить, будто демагогия ослабляет режим в большей степени, чем его укрепляет привычка. Все зависит от этапов развития, от обстоятельств, от стран.

Какие преобразования, связанные с развитием индустриального общества, сказываются так или иначе на конституционно-плюралистических режимах?

Наиболее часто употребляем и в периодике, и в специальной социологической литературе термин «массовая цивилизация». Часто интересуются, может ли современная массовая цивилизация включать в себя политические институты, сформировавшиеся еще в прошлом веке. Термином «массовая цивили-

зация» обозначают обычно сосредоточение населения в городах, рост числа общественных организаций, групп, созданных по общности интересов, партий. У отдельных людей все меньше возможностей по сравнению с объединениями. Подвергаемая психологическому воздействию средств массовой информации толпа используется политиками в узко корыстных целях. Население в городах подвергается постоянному воздействию со стороны печати, радио, телевидения, которые стремятся немного его просветить, но больше развлечь, а преимущественно — наделить призрачными представлениями об окружающем мире.

Благоприятны или же, напротив, вредны конституционно-плюралистическим режимам все эти явления, объединяемые понятием массовой цивилизации?

Лет двадцать назад, в тридцатые годы, пессимистический ответ был бы почти единодушным. Сегодня, в конце пятидесятых годов, заметней склонность к оптимизму: социологи тоже не чужды моде. Как и все, они склонны экстраполировать наблюдаемые события, полагая, что все свойственное какому-либо одному этапу развития будет длиться бесконечно. В тридцатые годы конституционно-плюралистические режимы распадались под ударами коммунистических или фашистских движений. К общему удивлению, после окончания второй мировой войны эти режимы в известной мере укрепились — во всяком случае, в Западной Европе и Северной Америке.

Какие перемены, вызываемые общей социальной эволюцией, происходят в этих режимах?

Постепенно исчезает уважение к традиционным социальным иерархиям. Распространяются так называемые рационалистические и материалистические мировоззрения. Привилегированные группы из прошлого, которые современная пропаганда окрестила феодальными (в строгом смысле феодалов на Западе давно уже нет), то есть традиционная аристократия, теряет власть и авторитет. Так что, если полагать, будто конституционно-плюралистические режимы существуют лишь благодаря аристократии, неизбежен вывод об их обреченности. На деле положение сложнее. Влияние традиционной аристократии уменьша-

ется, но, однако, уже существуют или складываются новые меньшинства, которые также обладают социальным авторитетом, моральной властью, экономическим или политическим могуществом.

В современных индустриальных обществах, например, в США или Франции, нет замкнутого, осознающего себя как таковое меньшинства, которое можно было бы назвать аристократией, обладающей и социальным могуществом, и реальной политической властью. В наших обществах есть группы элиты, правящие меньшинства, но обычно отсутствует какой-либо единый, цельный правящий класс с единой волей. Что касается категорий руководителей, я перечислил их в своем прошлогоднем курсе*: *вожаки масс,* то есть секретари профсоюзов или лидеры народных партий; *парламентарии,* политические деятели или депутаты; *государственные служащие,* которые, часто оставаясь в тени, осуществляют почти всю реальную власть; *хозяйственники,* директора предприятий; наконец, *деятели интеллигенции,* авторитет которых, по их собственному мнению, недостаточен, а на деле — относительно высок. Эти разнообразные меньшинства не едины. Можно сказать, суть наших обществ в том, что элитарные группы соперничают друг с другом. В странах, где борьба носит, так сказать, мирный характер, в Великобритании или США, секретари профсоюзов, лидеры партий не считают себя врагами руководителей или фирм всей экономики. Лидеры масс — участники постоянного соперничества, которое представляется им естественным. Такое соперничество было бы несовместимым с живучестью режимов, если бы политические руководители — порождение индустриального общества — были против парламентских форм, традиций представительства.

Образ мыслей и пристрастия тех, кого народные массы выдвигают в лидеры, возможно, важнейший фактор. При свободных выборах во главе партий, которые получают большинство голосов непривилегированных избирателей, неизбежно стоят секретари профсоюзов, профессиональные политики, дея-

---

* *«Классовая борьба», глава 15.*

тели интеллигенции, а не представители старых или новых олигархий. Если вожаки масс принципиально враждебны представительным институтам, то эти институты обречены, рано или поздно они погибнут.

Но так бывает не всегда. В некоторых странах вожаки масс выступают против парламентских форм, полагая, что эти формы парализуют социальные и экономические преобразования, но в Западной Европе большинство народных лидеров еще поддерживает парламентские формы. Только в двух странах — во Франции и Италии — многие (если не большинство) вожаки масс враждебны такого рода институтам. Единодушия среди них нет, но это еще не может стать причиной краха конституционно-плюралистических режимов.

Помимо враждебности новых руководителей, есть еще один фактор: парламентские институты скованы в своих действиях, отвлекаются от прямых обязанностей под влиянием извне. Как часто мы слышали: режимы, банально называемые демократическими, перестали соответствовать своему назначению, заняты лишь столкновениями интересов отдельных группировок, которые забывают, игнорируют или извращают то, что, надо полагать, представляет собой общий интерес. На такую аргументацию ответ один: не следует путать реальный режим с идеальным, никогда не существовавшим. Пренебрегать интересами отдельных групп — значит иметь целью не демократию, а невозможный строй, состоящий лишь из противоречий.

Важно понять, станет ли невозможным функционирование конституционно-плюралистических режимов при воздействии на органы государственной власти общественных группировок, например, профессиональных объединений — рабочих или предпринимательских. Несомненно, этим группам давления удается вырывать преимущества, которые гражданам доброй воли и группам, которые нельзя назвать баловнями судьбы, кажутся чрезмерными. Но неверно, будто эти группы, основанные на общности интересов, препятствуют функционированию государственных институтов в ведущих конституционно-плюралистических режимах. Рассмотрим кажущийся крайним

случай — Великобританию. Рабочие профсоюзы обладают там мощной организацией, все они входят в состав единого профцентра, который финансирует одну из двух ведущих партий — лейбористскую. Можно предположить: если рабочие профсоюзы напрямую связаны с одной партией, то функционирование режима, характерная черта которого — попеременное пребывание у власти двух партий, невозможно. Однако опыт последних двенадцати лет свидетельствует о другом. Рабочие профсоюзы предпочитают видеть у власти лейбористов, но при правлении консерваторов вовсе не обязательно переходят в оппозицию. Если бы профсоюзные лидеры пожелали быть в постоянной оппозиции к партии, получившей власть от избирателей, рабочие за ними не пошли бы и общественное мнение было бы настроено против них.

В США могущественные рабочие профсоюзы, но они не связаны ни с одной из двух ведущих партий. Будучи ближе к демократам, профсоюзы во время избирательных кампаний далеко не всегда выступают против кандидата-республиканца, не всегда поддерживают кандидата-демократа. Для победы на выборах поддержки профсоюзов еще не достаточно. Их влияние не столь велико, чтобы сказаться на результатах голосования рабочих, поскольку те видят различие между объединениями, защищающими их профессиональные интересы, и политическими партиями. Так что выбор в пользу одной из них рабочие делают совершенно свободно.

По мнению тех, кто апеллирует к опыту разложения Веймарской республики, партии, особенно в условиях массовой цивилизации, где пропаганда ведется повседневно, становятся все более тоталитарными. Преданность своим идеям приводит к тому, что противоборствующие партии утрачивают представление об общих интересах и их экстремизм в конечном счете препятствует функционированию режима. Опыт пятидесятых годов полностью противоположен опыту тридцатых: вовсе не однозначно, что тенденция партии к тоталитарности непреодолима. Единственный известный нам случай — германские партии. Ни английские, ни американские партии тоталитарными не стали. Это же относится и к партиям французским,

которые скорее страдают от недостатка дисциплины. Анализ пропаганды и ее роли в индустриальных цивилизациях не позволяет делать вывод, что партии неуклонно скатываются к тоталитарной модели или экстремизму.

Какие еще аргументы можно выдвинуть в пользу тезиса о том, что развитие индустриального общества обрекает на гибель конституционно-плюралистические режимы?

Главный аргумент наиболее весомый, самый разительный: у режима нет средств, достаточных для решения задач, которые стоят перед современными государствами. Аргумент этот варьируется до бесконечности, разбирая его, я буду предельно краток.

Посмотрим, каковы задачи современного государства, на которые так часто ссылаются.

В наших обществах социальное законодательство — дело, главным образом, администрации. Любая администрация может, даже совершая ошибки, довольно успешно заправлять всем, что принято называть социальным законодательством. Во Франции это законодательство одно из самых запутанных в мире — из-за стремления избежать полного огосударствливания в сфере управления. Все недостатки сложносоставных режимов присущи и французскому. Однако и речи не может быть о том, чтобы парламентский режим воспрепятствовал развитию и функционированию социальных служб или всего государства, которому приписывают роль чуть ли не провидения.

Вторая задача, стоящая перед современным государством,— прямое руководство частью экономики, в частности, определенными секторами промышленности. Во Франции, например, значительная часть промышленности — собственность государства. Но и в этом случае трудности для функционирования конституционного режима сильно преувеличены. В конце концов, парламент вовсе не обязан отвечать за состояние национализированной промышленности. Не стану утверждать, что это следует оценивать однозначно, однако вне национализированной индустрии соперничество партий идет своим чередом. Государство более или менее непосредственно назначает руко-

водителей национализированных предприятий. Иногда и распоряжения должен отдавать некий административный совет, в котором представители государства не располагают большинством. Выбор директора может привести к несогласию между различными представителями государства, поскольку они сами назначены несколькими министерствами. Как бы там ни было, управляющие национализированными предприятиями назначаются иным путем, нежели директора крупных частных предприятий. Однако после своего назначения руководитель национализированного предприятия действует так же, как и его коллега в частном секторе. Дирекция «Рено» руководствуется теми же соображениями, подчиняется тем же законам, что и дирекция «Ситроена». Правительство почти не вмешивается в дела «Рено», уделяя значительно больше внимания Управлению электричеством Франции*. В результате могут возникнуть трудности с капиталовложениями. Впрочем, они не так значительны, как кажется.

Накопленный за целое поколение опыт не дает оснований полагать, что национализация, во всяком случае пока она устраняет рыночные механизмы, несовместима с сохранением парламентского режима.

Третья задача, стоящая перед современным государством,— руководство, или частичное руководство, экономикой. Это область, где, бесспорно, возникает немало трудностей. В экономике смешанного типа, вроде французской, политические руководители и администрация принимают меры, непосредственно сказывающиеся на ценах и прибылях, иначе говоря — на распределении доходов между членами сообщества, то есть на общих и частных интересах. Есть опасность, что решения здесь могут быть продиктованы произволом или давлением традиционных административных правил. Ради эффективности прямого управления экономикой нужно предоставить руководителям возможность самим оценивать целесообразность принимаемых решений и диктовать свою волю. Частичное руководство экономикой всег-

---

* *Головное министерство контролирует расценки.*

да сопряжено с двойной опасностью: руководство либо игнорирует любые правила и права отдельных лиц, либо признает невозможность реализовать свои планы.

То же можно сформулировать иначе: по идеальной теории конституционного государства, органы государственной власти издают законы и общие правила, которым должны подчиняться отдельные лица,— но не принимают конкретных решений, которые могут посягнуть на частные интересы. Когда же планируется хотя бы половина экономики, многие государственные решения выглядят не очень законными.

В условиях Франции наибольшая опасность связана не с произволом, а с параличом. Жалобы на опасность произвола звучат довольно часто, и вполне вероятно, кто-то может оказаться жертвой администрации. Торговцы вином считают, что попытка построить факультет естественных наук прямо над их специализированным рынком — это произвол, который нарушает их юридические права, зафиксированные в актах более чем вековой давности. Их противники усматривают в том же образец административного бездействия, так как важным для всех мерам препятствуют юридические акты, защищающие чьи-то привилегии.

Рассмотрим более серьезную проблему. При опасности экономического кризиса следует незамедлительно приступать к крупномасштабным действиям, однако в режиме, подобном нашему, требуются подчас весьма долгие процедуры даже для получения участка под застройку, например, решения по отчуждению собственности. Конституционная традиция не всегда согласуется с требованиями экономического руководства.

Последняя трудность — не надуманная. Существует диалектическая взаимосвязь между режимом политического соперничества и экономическим режимом, основанным на чистой конкуренции. Режим политического соперничества вызывает протесты отдельных лиц и группировок против экономической конкуренции. Когда ее последствия слишком мучительны, режим политического соперничества способствует их смягчению, иными словами, конституционно-плю-

ралистический режим благоприятен для эволюции экономики в сторону полусоциалистического режима, где планируется лишь половина экономики, где прилагаются усилия против излишне резкого воздействия рыночных механизмов на определенные группы населения.

Мы живем в режимах, для которых характерно смягчение экономической конкуренции и постоянное политическое соперничество. Нет оснований полагать, что они в более или менее измененном виде не смогут существовать и дальше. Действительно, им угрожают группы давления, перед ними стоит опасность утраты исключительного права парламента на законодательную деятельность, паралича, произвола администрации. Но ведь таким опасностям подвергаются все режимы.

Кто же относится к непримиримым противникам конституционно-плюралистических режимов?

Прежде всего традиционалисты — те, кто тоскуют по старому, совершенно иному режиму. Как правило, по мере развития индустриального общества такая оппозиция ослабевает.

Вторая группа противников — экономически привилегированные слои, ощущающие в социалистической тенденции режима опасность для себя. Эта группа напоминает тех, кого Аристотель называл «богачами, которым угрожают грабительские законы» и в ком он усматривал опору тиранам. В период между двумя мировыми войнами, в частности при Веймарской республике, мы наблюдали смыкание привилегированных слоев и врагов плюралистических режимов. Сейчас складывается впечатление, что и эта опасность уменьшается. Привилегированные слои, видимо, поняли, что в большинстве случаев революционные режимы, правые или левые, относятся к ним более враждебно, чем плюралистические. Главы корпораций, которые, подобно одному из кандидатов на недавних выборах, не видят различий между кандидатом-коммунистом и кандидатом-социалистом, немногочисленны. Чтобы не замечать этих различий, требуется либо непоколебимая убежденность, либо узость взглядов.

Третья группа противников возникает в околопролетарской среде, среди тех, кто чувствует себя обде-

ленным; при всех режимах плюралистической демократии найдутся меньшинства, которые пострадали от законов, установленных экономическими группировками. Во Франции это бездомные или люди, страдающие от скверных жилищных условий (они жертвы законов, призванных защищать квартиросъемщиков). В стране насчитывается по меньшей мере два или три вида подобных околопролетарских прослоек. Но эти прослойки редко оказываются сильнее групп, в разумных пределах удовлетворенных существующим режимом, даже если он и не вызывает у них восторга.

Остается еще одна, четвертая группа: придерживающиеся классовой идеологии народные массы, настроенные враждебно по отношению к плюралистическому режиму, поскольку их мечта — создать однородное, бесклассовое общество. Эти массы, воодушевляемые классовым сознанием, все еще существуют в режимах с развитой индустриальной цивилизацией. Однако эта группа скорее сокращается, чем увеличивается.

Правда, помимо социальных групп, которые враждебно настроены к этим режимам, есть еще три группы, разделяющие эту настроенность в силу своей идеологии или общественного темперамента. За неимением лучших терминов я называю их «чистыми», «яростными» и «утопистами».

«Чистые» испытывают отвращение к строю, где непрерывно ведутся разговоры о пособиях, доходах, надбавках, субсидиях, отвращение к «экономическому барышничеству», этой неизбежной характерной черте всех представительных режимов. Используя полулитературные реминисценции, вспомним о гневе центуриона на сенатора, парашютиста — на Клошмерль*. Этот благородный бунт против материалистических режимов вечен, но участвует в нем меньшинство.

«Яростные» — это те, кто, подобно Жоржу Со-

---

* Выдуманный городок французской глубинки, символ старой, веселой, обывательской Франции, сопротивляющейся административному рвению центра. Описан в романе «Клошмерль» (1934 г., русский перевод — 1989 г.) французского писателя Г. Шевалье.

релю*, считают компромиссы омерзительными, а переговоры как средство получения того, что можно вырвать силой,— жалкой затеей. Они тоскуют по режиму иного стиля.

Наконец, «утописты», одержимые (может быть, чересчур) сознанием несовершенств, которые присущи режимам партий, мечтают о режимах, коренным образом отличающихся от существующих.

Эти три категории несогласных, движимых идеологией или темпераментом, ныне, пожалуй, выглядят не столь сильными, как поколением раньше. При некоторых обстоятельствах они могут стать сильнее. Но и в таком случае нельзя говорить о четкой эволюции в том или ином направлении. Чтобы режимы окончательно обрели устойчивость, у них не должно быть врагов, не должно быть опасностей, связанных с управлением современными индустриальными обществами. Добровольное сосуществование в рамках режима должно стать следствием душевного порыва, а не привычки или расчета. Положение дел, однако, иное. Режимы принимаются, но без восторга. Может быть, и хорошо, что без восторга: если бы их радостно приветствовали одни, другие непременно осыпали бы проклятиями. Режимы должны приниматься как нечто само собой разумеющееся. Тогда их судьба может оказаться в руках «яростных», которые могут родиться в исключительных обстоятельствах.

Еще раз: все зависит от обстоятельств. В пору глубоких преобразований режимы функционируют кое-как. Конституционно-плюралистические режимы нуждаются в том, чтобы конфликты социальных групп разрешались путем согласия. Если под воздействием внезапных факторов положение некоторых групп коренным образом меняется, то согласие на какой-то средний вариант, на взвешенное компромиссное решение трудно достижимо. Периоды потрясений ставят под вопрос само существование плюралистических режимов. Для Германии один из таких периодов — тридцатые годы. Тогда враги-традициона-

---

* Французский политический мыслитель анархо-синдикалистского толка (1847—1922 гг.). Оказал большое влияние на политическую мысль как левого, так и правого направлений.

сты были еще сильны, а враги-утописты уже были сильны. Не исключено, что сегодня Франция переживает сходный период.

Мне хотелось бы сказать еще несколько слов о переходе от разложения к революции.

Разложившийся режим не обязательно должен немедленно рухнуть. Он может оказаться весьма живучим. Скажу больше: иногда разложившийся режим — наименьшее зло, какой-никакой выход из создавшегося положения, а то и наиболее удовлетворительное решение в сложившейся обстановке. Вспомните Германию тридцатых годов. Разброд в народных массах, фанатизм на крайних полюсах политического спектра, тоталитаризм партий — все это привело Веймарскую республику к разложению. Но, вероятно, лучше было бы все же продлить существование этого разложившегося режима. Очень опасный тезис: режим разложился, и поэтому его следует ликвидировать. Разложение, отражая какую-то экономическую и социальную ситуацию, разброд в общественном мнении, может и не зависеть от воли людей. В подобной обстановке нужно либо сохранять разложившийся режим, либо передать одному человеку, группе людей или партий право на неограниченную власть. Лучше иной раз наделить одну группу абсолютной властью, чем сохранять убийственную анархию, порожденную межпартийными склоками. Однако не исключено, что в длительной перспективе за такую передачу власти придется заплатить куда более высокую цену, чем за анархию.

Как же осуществляется переход от конституционно-плюралистического режима к какому-либо иному? Известны три основные формы перехода.

Первая — государственный переворот. В южноамериканских республиках мы находим множество примеров перехода от конституционно-плюралистического режима к более или менее диктаторскому. Такой переход — результат прекращения действия конституционной законности: власть захватывает вооруженная группа. Как правило, в республиках Южной Америки именно армия совершает государственный переворот или способствует ему.

Вторая форма перехода. Передача власти на за-

конных или полузаконных основаниях, после чего происходит революционное потрясение. Гитлер получил власть законным путем, на пост канцлера его призвал президент республики. Но, получив ее, Гитлер совершил государственный переворот. В нашей истории государственного устройства мы находим аналогию: Наполеон III стал президентом республики согласно конституции. Однако свою власть он продлил с помощью государственного переворота, превратившего его в императора.

Третья форма перехода — военный разгром, иностранное вторжение или любое вмешательство из-за рубежа. В своей «Политике» Аристотель предостерегает: под давлением извне режимы меняются. Захватывая города, Афины ставили у власти демократов. Когда какой-нибудь полис попадал в сферу влияния Спарты, это было торжество олигархов. В нашем веке многие конституционно-плюралистические режимы уступили место режимам авторитарным именно под давлением извне.

До сих пор мы не обращались к революциям в собственном смысле этого слова — вроде тех, что разразились в 1830 или 1848 годах. Однако трудно представить, чтобы подобные революции были направлены против режима, основанного на таких механизмах, как конституция и выборы. Выступающих против парламентского режима достаточно, но невероятно, чтобы избиратели в своем большинстве страстно боролись против режима, существующего благодаря их выбору. Обычно революцию, направленную на свержение конституционно-плюралистического режима, совершает меньшинство, заручившись нередко согласием большинства.

Для того чтобы меньшинство могло надеяться на успех, ему необходима поддержка армии, и тогда мы имеем дело с первым вариантом. Если опора не на армию, а на существующие институты власти, это второй вариант. В иных случаях — участие иностранной армии, что означает вариант номер три.

Какие режимы возникают на развалинах режима конституционно-плюралистического? Здесь возможны любые варианты. Мы будем рассматривать их во второй части курса. Речь пойдет о режимах, отличных от конституционно-плюралистического: авторитар-

ных, которые заявляют о своем ограниченном характере, или авторитарных, претендующих на тоталитарность.

XI

Разложение французского режима

В предыдущей главе я рассматривал проблему разложения конституционно-плюралистических режимов. При этом я исходил из трех гипотез: *саморазрушение, растущая уязвимость режима, отсутствие эволюции в строго определенном направлении.* В конечном счете я остановился на третьей из этих гипотез. Не то чтобы в этих режимах нет зародышей разложения, но тенденции к укоренению не менее сильны, чем тенденции к распаду. На политическом уровне конституционно-плюралистические режимы ослабляются благодаря своему «износу», а укрепляются благодаря привыканию к ним. Когда национальное единство под угрозой, всегда остается шанс на прекращение конфронтации с революционерами. По мере развития индустриальное общество создает себе дополнительные трудности в управлении, но рост уровня жизни позволяет массам мириться с существующим строем. Конституционным режимам приходится искать политических вождей, отстаивающих парламентаризм и преисполненных решимости поддерживать конституционность. Вопреки росту материализма, граждане вынуждены проявлять преданность сообществу. Ни одно из этих условий нельзя назвать невыполнимым; вместе с тем нет никаких гарантий, что они будут выполнены. Такой выход носит строго отвлеченный характер, он не дает возможности предвидеть будущее конституционных режимов. Вполне вероятно, что капиталистический режим исчезнет, даже если его разложение не представляется неизбежным, и то же, видимо, относится к конституционно-плюралистическим режимам.

Сегодня я буду рассматривать французский режим. Я не претендую на то, чтобы учить вас, как надо

мыслить или действовать, чтобы улучшить наш режим, предсказать, каким он станет. Моя цель в том, чтобы, не выходя за пределы социологического анализа, подвергнуть проверке понятия, изложенные в предыдущих лекциях.

В последней главе я говорил, что французский режим — разложившийся. Вы вправе возразить мне: откуда это известно?

Отвечу. Во-первых, режим можно назвать разложившимся уже потому, что все говорят об этом. В стране, где газеты ежедневно твердят, что режим дошел до крайней точки распада, несомненно, царит кризис. В подобных случаях мнение — это фактическое состояние дел. В какой-то мере мнение — составная часть действительности. Представления граждан о режиме — составная часть и его достоинств, и недостатков. Режим, о котором плохо отзываются все граждане, можно отнести к разложившимся уже потому, что он не может заручиться поддержкой управляемых.

Во-вторых, отказ граждан поддерживать режим выражается в значительном количестве голосов, отдаваемых партиям, которые заявляют о своей враждебности режиму. На выборах 1951 года таких голосов было 46%, включая голоса голлистов, которых можно тоже считать крайней оппозицией. Если бы на выборах в 1951 году применили систему голосования 1946 года, Коммунистическая партия и Объединение французского народа (РПФ)* получили бы более чем абсолютное большинство мест в парламенте. На последних выборах, в 1956 году, доля голосов, которые я обозначаю здесь специальным термином «революционные» (имея в виду действительно враждебных режиму), был чуть ниже, но все же около 40%. Режим, против которого на каждых выборах голосует 40—50% избирателей, отмечен типичным признаком разложения: граждане утратили веру в своих правителей.

Третья, очевидная для всех специфическая черта разложения — неустойчивость правительств. Как известно, французским правительствам не удается про-

---

* Объединение французского народа — в 1947—1955 годах партия сторонников Ш. де Голля.

держаться в среднем и года. Все французы согласны, что недолговечность правительств — одна из коренных причин терзающих нас кризисов.

Эти три признака разложения, как мне кажется,— факт действительности, а не просто субъективная оценка.

Сразу же встает еще один вопрос: насколько серьезно разложение политического режима?

Ответ совсем не очевиден. Если ограничиться опытом, напомню, что с демократической, экономической и социальной точек зрения 1945—1958 годы представляют собой в истории Франции период быстрого подъема. Смертность, особенно детская, сократилась, что говорит о распространении гигиены, промышленное производство росло быстрыми темпами: в течение последних четырех лет ежегодный прирост составлял около 10%. Такой показатель и во Франции, и за ее пределами встречается редко. Весьма консервативное ранее сельское хозяйство ныне обновляется: за десять лет, прошедших после второй мировой войны, урожайность зерновых выросла на столько же, как и за предыдущие полвека. Во многих отношениях период между 1945 и 1958 годами, чуть ли не единодушно характеризуемый как пора упадка, стал периодом экономического и социального прогресса. Это не противоречит тезису о разложении политического режима: разложение само по себе еще не может считаться фактором, который определяет все прочие. И при неустойчивых правительствах нации бывают сильными. А упадок нации вполне возможен и при устойчивом правительстве.

Каковы же последствия разложения политического режима?

Судя по высказываниям самих французов, результаты разложения в основном следующие.

1. Руководство экономикой во многих отношениях было неудовлетворительным и вызвало инфляцию (между 1945 и 1949 годами), а затем и кризисные явления в зарубежных финансовых операциях: дважды, в конце 1951 и в конце 1957 годов, валютные запасы практически истощались, что вынуждало Францию обращаться за иностранной помощью.

2. Из-за слабости государственной власти группам давления удается вырывать у государственного аппарата и политических деятелей привилегии, несовместимые с общим благом. Есть фирмы, которые сохраняют устаревшие производства и предприятия за счет получаемых от органов власти субсидий.

3. Разложение нашего режима привело к так называемому распаду Французской Империи, или Французского Союза, к «утрате» Индокитая, Туниса и Марокко.

Против первых двух упреков не приходится (правда, с определенными оговорками) возражать: французской экономикой можно бы управлять и получше. Есть связь между слабостью власти и инфляцией 1947 и 1948 годов, кризисом зарубежных финансовых операций 1951 или 1957 годов. Как именно соотносится разложение нашего режима с финансовыми кризисами? Это можно обсудить. Периоды, когда государственными финансами управляли плохо, более многочисленны, чем благополучные времена в этой области; инфляция, девальвация не придуманы республикой и демократией. Многие французские короли умели извлекать выгоду из операций с национальной денежной единицей. В прошлом такие операции были сложнее, но результаты почти всегда сходны.

Что касается уязвимости государства перед группами давления, то этот упрек справедлив. Но неужели ситуация во Франции хуже, чем в любой иной стране с аналогичным конституционно-плюралистическим режимом? Известно, что при любом таком режиме граждане имеют право и возможность выражать и защищать свои частные интересы. Отсюда — опасность, что защитники частно-общественных интересов сумеют добиться от органов власти не всегда правомерных преимуществ. Намного ли сильнее группы давления во Франции, чем за ее пределами? Проводить сравнение — задача трудная, поскольку здесь требуется кропотливое исследование. Достоверно известно, что во Франции о давлении куда больше разговоров, что некоторые случаи получают широкую огласку. Например, в части алкогольных напитков — по традиции во Франции их производство чрезмерно. Однако подобные явления присущи всем западным

странам. Эти промахи в сфере управления не помешали развитию и обновлению французской экономики после второй мировой войны.

Остается последний упрек. Французская печать громче всего кричит об утрате Французского Союза, или Французской Империи.

Но и здесь напрашивается замечание: со времени второй мировой войны все европейские страны так или иначе утратили часть того, что они считали своей империей. Великобритании, предположим, удалось уйти более элегантно, чем Франции. Но если независимость колонии — потеря для метрополии, выходит, что и те страны, где режим единодушно признается хорошим, тоже сталкиваются с подобными злоключениями. Допустив, что наши государственные институты повинны в этих прискорбных событиях, добавим: грешны не одни они.

Наши замечания не противоречат очевидному: во Франции слишком много несогласия и неустойчивости. Перейдем ко второй части анализа.

Вначале отметим, что есть связь между избытком несогласных, настроенных на революционный лад, и неустойчивостью правительств. В теперешней палате, где чуть менее 600 депутатов, около 200 «не соблюдают правил игры». Опять-таки это специальный термин, под которым я разумею безразличие к тому, как функционирует режим, неизменную враждебность к курсу, который он проводит. По-английски я бы сказал: in-game deputy и out-game deputy*. 400 депутатов из 600 могут образовать правительственное большинство. Надежно большинство, численность которого существенно превышает половину. Поэтому в теперешней палате единственно возможная коалиция должна охватывать крайне левое и крайне правое крыло депутатов, которые соблюдают правила игры. Вместе должны действовать и социалисты и независимые. Так складывается правительственное большинство. Но кабинет, в котором сосуществуют представители несогласных между собой партий, изначально расколот, а значит — слаб и неэффективен.

---

* Депутаты, участвующие в игре, и депутаты, не участвующие в игре.

У этого принципа есть и другое следствие: группы крайнего меньшинства в правительственной коалиции занимают непропорционально большое место. Если для большинства требуются почти все депутаты из тех, кто «соблюдает правила игры», то нужны и 70 крайне революционных депутатов, причем безразлично, левые они или же правые. Однако дань, уплачиваемая «яростным», неблагоприятно сказывается на эффективности и устойчивости правительства.

Такое объяснение теперешней неустойчивости неоспоримо, но оно не приносит удовлетворения. Во времена, когда численность не входивших в коалицию депутатов была невелика, французские правительства все же не достигали устойчивости. Схема анализа, которую я только что набросал, применима и к нынешнему Национальному собранию, но для изучения всего феномена в историческом плане она не годится. Неустойчивость правительств проявлялась еще до того, как стало возрастать число голосов, отдаваемых коммунистам, пужадистам* и экстремистам. Возникает ощущение, что неустойчивость правительств — один из признаков любого французского парламентского режима.

Отсюда — два вопроса: 1) с чем связана постоянная неустойчивость правительств при всех известных нам парламентских режимах? 2) с чем связана численность революционно настроенных противников правительства в нынешней Франции?

Что касается структурных причин неустойчивости правительств, то, на мой взгляд, они объясняются так: это — совокупность черт, присущих французской партийной системе.

1. В самом деле, во Франции всегда было много партий.

2. Французские партии не похожи одна на другую. Для одних — коммунистической и социалистической — обязательна дисциплина голосования. Прочие — например, радикальная или партия независимых — кичатся своей недисциплинированностью. До-

---

*** Крайне правое движение второй половины пятидесятых годов. Лидер — Пьер Пужад. Выступало в поддержку лозунга «Французский Алжир».**

вольно легко добиться эффективности от системы партий, где каждая подчиняется дисциплине, можно обеспечить и функционирование системы партий, где ни одна этого не делает. Сочетание же дисциплинированных и недисциплинированных становится еще одним фактором неустойчивости, ибо для *создания правительства нужна изначальная договоренность между партиями,* а затем — согласие *каждого из депутатов.*

3. Причина возникновения партий и их опора — традиционные идеи. Когда появляется какая-либо жизненно важная проблема, в партии нередко наступает разброд. Социалисты обычно подчиняются дисциплине, но, когда речь заходит о Европейском оборонительном сообществе (ЕОС)*, внутрипартийные фракции начинают нападать друг на друга и единство парламентской группы трещит по всем швам.

4. К межпартийным и внутрипартийным столкновениям надо добавить ряд конфликтов, доставшихся в наследство от прошлого. В палате депутатов, например, это антагонизм левых и правых (причем смысл обоих терминов не вполне ясен) плюс противоречия внутри тех и других.

Все это — характерные черты *французского парламентского механизма.* В момент выдвижения кандидата на пост президента республики механизм этот напоминает *американский внутрипартийный механизм.* Палата депутатов делится на группы — и небольшие, дисциплинированные, и недисциплинированные. В каждой из них обозначаются новые конфликты, личное соперничество сочетается с соперничеством идей, коалиции непременно временные и при первом же случае распадаются.

Эти структуры можно наблюдать в США каждые четыре года при выдвижении кандидата на пост президента. Тогда и разыгрывается сцена, которая сравнима с постоянными событиями во французском парламенте. Изучая действия американской партии при выдвижении кандидата, французские обозреватели

---

* Планировавшийся военный союз ряда западноевропейских стран, в том числе и Франции. ЕОС так и не было создано из-за позиции Национального собрания Франции.

находят их не слишком благовидными. Сама структура подобных действий предполагает методы, не всегда отвечающие правилам fair play*. Однако после выдвижения кандидата вокруг него объединяются все, чтобы добиться его избрания. Потом единство может быть вновь нарушено. Во французской системе этот механизм действует и после образования совета министров, что лишь способствует неустойчивости кабинета.

До сих пор мы ограничивались простым описанием. Если мы намерены пойти дальше, зададимся вопросом: откуда такая структура? Тут мы сталкиваемся с многочисленными объяснениями, ни одно из которых, несмотря на его *справедливость,* нельзя счесть удовлетворительным.

Все они справедливы, поскольку призваны показать, что мы, французы, занимаемся политикой именно таким образом в силу нашей природы. Все они неудовлетворительны, так как в объяснении нам хочется найти способ преобразования мира. Каждое объяснение основано на таком множестве явлений современности и прошлого, что может в определенной мере вызвать ощущение безнадежности. Вся французская действительность получает свое выражение в режиме.

Объяснения бывают трех видов: с опорой на экономическую и социальную структуру, или на исторические традиции, или, наконец, на национальную психологию, вплоть до психологии галлов в описании Юлия Цезаря.

1. Многочисленность и пестрота партий объясняются неоднородностью самой Франции. Почти вся промышленность сосредоточена в нескольких регионах; на западе ее почти нет, и там сохраняются традиционные формы общественной жизни. Влияние партий по провинциям весьма неравномерно. Даже если одна из них представлена во всех провинциях, то электорат ее по регионам не одинаков, и единство каждой партии весьма непрочно. Социалист из северного промышленного региона не похож на своего единомышленника с юга, где развито виноградар-

---

* Честной игры *(англ.)*.

ство, или на социалиста с запада Франции, где на политическую борьбу по-прежнему влияют религиозные мотивы. Социальная неоднородность Франции, таким образом, выдвигается в качестве одной из причин многопартийности и недисциплинированности партий. МРП — Народное республиканское движение — вновь стало региональной партией, большинство приверженцев которой сосредоточено на западе, на северо-востоке и на севере. А ведь в 1945—1946 годах оно добивалось сенсационных успехов.

Необходимое условие для существования в стране ограниченного числа крупных, сплоченных партий — достаточная социально-экономическая однородность самой страны. Чрезмерное разнообразие непременно скажется на партиях.

2. И правые, и левые помнят о бурных перипетиях политической истории Франции за последние полтора столетия. Каким бы ни был французский режим после 1789 года, он неизменно вызывал споры и никогда не получал единодушной поддержки всей страны. Стоит разразиться кризису (независимо от его причин), как существование режима оказывается под вопросом. По-прежнему могут разгореться страсти в некоторых регионах, где полемика, например, о светском характере образования уходит корнями далеко в прошлое. Французы по-прежнему враждуют из-за революции*, дела Дрейфуса, перемирия и Освобождения**, и кроме того, не утихают страсти вокруг экономической деятельности и политики в заморских территориях, а еще идут ожесточенные споры о последствиях возможных политических курсов.

3. Почему так происходит? Перейдем от традиции к психологии. Французы всегда были склонны превращать экономические, социальные и технические дискуссии в идеологические конфликты. Экономика — предмет скучный. Помимо трех десятков специалистов, никого и никогда не волновал теоретический вопрос о контроле над инфляцией, зато дискуссия

---

* Имеется в виду революция 1789—1794 гг.

** Речь идет о событиях соответственно июня 1940 г. и 1944—1945 гг.

о светском характере образования или такой отвлеченной проблеме, как возможность во имя государственных интересов осудить невиновного, способна вызвать бурные волнения. И подобные споры могут длиться бесконечно. Согласие невозможно в принципе, ибо у каждой стороны есть веские доводы, а отвлеченный характер дискуссии позволяет вести ее вечно. Де Мадарьяга написал книгу «Французы, англичане, испанцы». Он полагает, что французы склонны руководствоваться доводами разума, и анализирует их политические обычаи. Он отмечает, что французы проявляют заметное пристрастие к теоретическим проблемам. Причем более резко сталкиваются мнения как раз по тем проблемам, материальные последствия которых весьма ограниченны. В качестве символического примера де Мадарьяга приводит дело Дрейфуса.

Эти три группы объяснений приводят порознь или в сочетаниях. А вывод всегда один: коль скоро Франция такова, нечего удивляться, что такова ее политика.

Я довольно сжато изложил объяснения. Каждое из них может быть развернуто. Приемы мышления, характер действий, исторические традиции, социально-экономическая структура получают свое выражение в том или ином политическом курсе. При сочетании всех подходов удалось бы, вероятно, прийти к пониманию — что, однако, ни в коей мере не помогает ответить на вопрос, что же необходимо делать.

Откуда же столько несогласных?

Все три группы объяснений в точности воспроизводят схему, применяемую для анализа неустойчивости правительств: ссылки делаются на социально-экономическую структуру, традиции, психологию.

1. Французский рабочий класс никогда по-настоящему не был составной частью режима. Из-за медлительного экономического развития в прошлом веке он так и не получил выгод, которые связаны с развитием экономики. Результатами развития экономики рабочие лишь начинают пользоваться. Однако в силу общей ситуации, связанной с инфляцией, рабочий

класс этого еще не осознал. Наконец, он по традиции сохраняет враждебное отношение к государству, готовность к бунту против капиталистической системы.

Что касается еще одной части избирателей — правой оппозиции,— то социально-экономическое объяснение их противодействия государству выглядит примерно так.

Численность пужадистов на последних выборах объясняется в основном быстрыми темпами экономического развития за последние десятилетия. Любое ускоренное расширение хозяйственной деятельности ставит в трудное положение те группы населения, которым не удается к нему приспособиться. Быстрые темпы означают неравномерность развития. Одним регионам или группам достаются большие выгоды, другим — меньшие. В стране, где царит застой, многие мирятся с привычным ходом дел. Но при подъеме экономики группы, не получающие своей доли, восстают против всего происходящего. Разумеется, недовольные винят не экономическое развитие, а налоговую систему, которая всегда вызывает недовольство.

Социально-экономическое объяснение двух форм экстремизма в нынешней Франции сводится, таким образом, примерно к следующему: не став в прошлом полноценной частью государства, французский рабочий класс в своем большинстве сохраняет враждебность режиму, но оппозиция есть и на другом краю политического спектра, так как расширение хозяйственной деятельности прямо или косвенно ударяет по группам, плетущимся в хвосте этого движения.

2. Историческое объяснение. Вот уже более полутора веков французы не перестают обвинять свой режим. Они будут делать это и дальше, так как их мышление политизировано. Режим становится бесспорно приемлемым лишь со временем. Устойчив он только после того, как его перестают оспаривать. В Великобритании и в США режим устойчив, потому что отождествляется с национальными ценностями. Численность революционно настроенных противников определена исторически обусловленными взглядами, и потому французы тщетно ищут конституцию, которая

обеспечит более успешное ведение государственных дел и приведет к национальному единству.

3. В такой же мере уместно и третье объяснение неустойчивости правительства и критики политического режима — ссылка на характер народа. Можно ли найти что-нибудь более возбуждающее ум, чем споры, к тому же идеологические, о режиме, о достоинствах и недостатках любой конституции?

Теперь перейдем к совсем другим вопросам — к реформам.

Объяснения, которые мы набросали, не приводят к выработке плана конституционной реформы. Более того, они могут вообще отбить охоту к проведению реформ. Чем настойчивее говорится о численности факторов, определяющих функционирование режима, тем сильнее искушение заявить: для частичных перемен необходимы перемены радикальные.

В недавней статье экономиста Пьера Юри я нашел весьма любопытную фразу, которая могла бы послужить примером типичных ошибок, совершаемых без злого умысла самыми выдающимися умами и без нарушений логики.

«Как можно забывать,— пишет Юри,— *что вся разница между Веймарской и Боннской республиками, между дробностью партий и их укрупнением, между повторяющимися правительственными кризисами и долговечностью кабинетов основывается на двух небольших условиях: конструктивном вотуме недоверия и внесении корректив в пропорциональное представительство — партии, которым в масштабе всей страны досталось менее 5% голосов, уже не получают ни одного места в парламенте?»*

При буквальном истолковании этой формулировки вся разница между Веймарской и Боннской республиками основывается на двух статьях конституции. Согласно одной из них, правительство нельзя свергать, не договорившись о том, кто же возглавит следующий совет министров, а согласно другой, партии, которым досталось менее 5% голосов, не могут быть представлены в парламенте.

Возможно, оба условия полезны, но судить об этом на примере Боннской республики трудно.

Там сложилось такое положение, что оба условия не имели серьезного значения. Христианско-демокра-

тическая партия постоянно была столь значительно представлена в парламенте, что она неизменно контролировала события. Личность канцлера вызывала глубокое уважение коллег. Даже если бы и не существовало правило пяти процентов, характерной для Веймарской республики раздробленности партий теперь не было бы.

Главное различие между обеими республиками заключается в том, что при боннском режиме революционно настроенные избиратели немногочисленны, крупные партии едины и сплоченны, а психология нации полностью изменилась. Я мог бы назвать и другие изменения.

Следовательно, ошибочно утверждать, будто главное различие между обеими республиками сводится к двум статьям конституции. Может быть, они когда-нибудь и сыграют какую-то роль. Но представьте, что многие революционно настроенные депутаты во французском парламенте преисполнены решимости сбросить правительство. Они проголосуют без колебаний за того, кто сменит нынешнего председателя совета министров, даже если новый кандидат вызывает у них неприязнь. Что может помешать коммунистам и пужадистам объединиться хотя бы в ходе одного голосования? Обойти конституционные правила всегда возможно.

Какие же реформы в состоянии изменить действие французской Конституции? Вероятно, замена парламентской формы президентской либо изменение закона о выборах и правила, по которому можно в рамках нынешнего режима распустить парламент.

Против президентского правления выдвигают два довода: если бы такое правление оказалось выходом из положения, то депутатам, согласным голосовать за него, пришлось бы создавать парламентское большинство. Такое большинство возможно лишь в исключительных обстоятельствах. Получается заколдованный круг. Надо, чтобы парламентарии сумели решиться на такую реформу или не протестовали против нее.

Улучшит ли президентская система действие государственных институтов? Может быть. Но с окончательным выводом лучше не торопиться. Само по себе

президентское правление еще не придает особой действенности исполнительной власти, которая стабильна, но не эффективна. Президенту США обеспечено четырехлетнее пребывание у власти (что не всегда отрадно), однако он также нуждается в одобрении и поддержке со стороны членов палаты представителей и сенаторов, которые избираются по иному принципу. В США, да и в любой президентской системе, большинство в парламентских структурах не всегда то же самое, что привело к избранию президента республики. Требуется взаимодействие между исполнительной властью одной политической ориентации и властью законодательной, ориентация которой может быть другой. В США такое взаимодействие каким-то образом устанавливается: в политической жизни американцы прагматичны, экстремизм им не свойствен, к идеологиям их особенно не тянет, и партии там не подчинены строгой дисциплине. Любой депутат или сенатор голосует без особой оглядки на распоряжения своей партии. Но возможны ли точно такие же условия в парламенте французского типа? Партийная недисциплинированность — главное условие существования американской системы, но это не относится, например, к системе британской. Что произошло бы у нас, когда в одних партиях — строгая дисциплина, а в других — никакой? Исполнительная власть, вероятно, была бы устойчивой, а вот президент, на которого пал выбор партий, поскольку он не задевал ничьих интересов, непременно оказался бы слабым, как это уже случалось со множеством наших глав правительств. Энергичный президент республики, вступивший в столкновение с законодательным собранием, вызвал бы конституционный кризис: это нередко бывает в странах с президентской системой.

Возможные в рамках нынешнего режима реформы, о которых бесконечно спорят в печати и парламенте, не могут иметь большого значения. Можно представить себе реформу избирательной системы, направленную на уменьшение численности революционно настроенных депутатов. Во Франции это не обязательно те депутаты, которые хотят революции. Они лишь не могут сосуществовать с системой в ее нынешнем виде. Избирательная реформа легко могла

бы уменьшить численность революционно настроенных депутатов вдвое, не меняя при этом численности голосующих за них избирателей. Представить себе подобные хитрости не трудно. Во имя организации более дисциплинированных или менее сектантски настроенных партий можно лелеять и более честолюбивые мечты — о сочетании частично мажоритарной системы голосования с частично пропорциональной, как это принято в Германии.

Второй вид предполагаемых реформ затронул бы принцип вотума доверия и правила роспуска парламента.

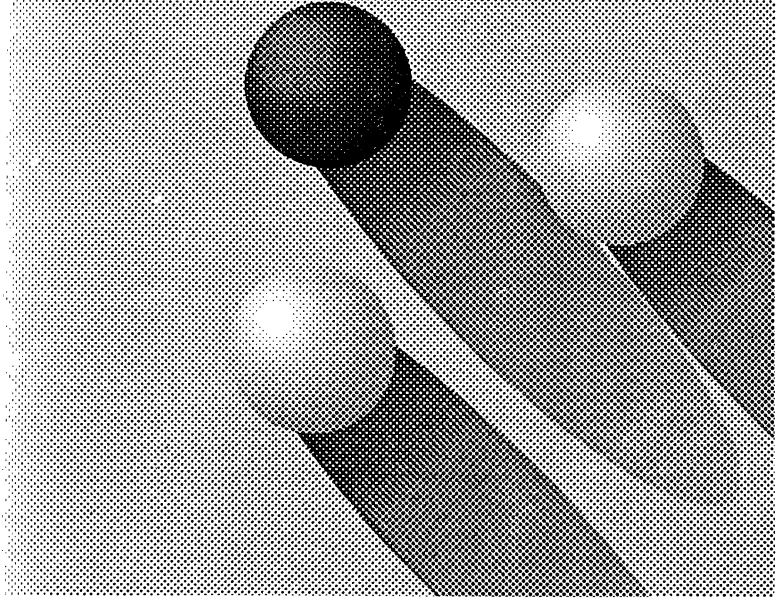
Кое-кто предлагает автоматический роспуск парламента в случае правительственного кризиса. Другие возражают, что автоматический роспуск парламента способен принести больше зла, чем добра. Подобная мера имеет смысл в английской системе, где выборы приводят к четким и ясным результатам, но не в режиме, при котором соотношение сил между партиями не слишком меняется от выборов к выборам. Встречное возражение: положение об автоматическом роспуске парламента позволит избежать правительственных кризисов, правительства станут более долговечными. Но одной долговечности мало. Правительства должны иметь возможность действовать. Положение об автоматическом или полуавтоматическом роспуске парламента обеспечивает шанс на большую долговечность — но не на большую эффективность правительства.

Остается еще один вопрос, вызывающий страстные споры: как, не предлагая смены правительства или аналогичных мер, добиться, чтобы революционно настроенные противники власти не могли блокироваться против правительственных решений? Было предложено множество проектов такой системы. Однако трудности остаются: нужно, чтобы правительство имело право ставить вопрос о доверии, когда иного выхода при проведении через парламент определенного законопроекта нет. Но если вопрос о доверии ставится слишком назойливо, возникает опасность, что правительство будет сброшено при обсуждении малозначащих проблем. По сути, ни одна такая реформа в обозримом времени не сможет коренным образом преобразовать действие французского режима.

Но тут никак не обойтись без последнего вопроса: действительно ли конституционная реформа — первый из жизненно важных вопросов для Франции? Страна переживает политический кризис, причина которого известна: алжирская война. Навязчивое стремление провести конституционную реформу приведет либо к забвению этого, либо к поискам иного по своей сути правительства, которое сможет проблему решить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Режим с партией, единолично владеющей властью



XII

Шелковая нить и лезвие меча

Предыдущую главу я посвятил изучению французского режима, взятого в качестве примера разложения. Значительная часть избирателей голосует так, будто верность государственным институтам их не связывает. Эти институты не гарантируют правительствам ни долговечности, ни реальной власти. Далее я уточнил, каковы результаты разложения, и в последней части лекции сжато рассмотрел проекты конституционной реформы, которые вызывают у меня определенный скептицизм. Помимо революции, нет вероятности того, что какие-то структурные черты французского режима будут изменены. В заключение я указал на то, что навязчивое стремление провести конституционную реформу вызвано сложностью существующих государственных проблем. Возможно, в настоящее время режим не лучше и не хуже, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

Конфликты в общественном мнении французов или в правящих группах страны полностью отражены, а нередко и усугублены в среде политических деятелей. Любому режиму нелегко добиться единства намерений и действий, если такого единства нет в народе. В конце концов даже британскому режиму, который вечно ставят нам в пример, совсем не просто добиться единства устремлений, когда общественное мнение раздроблено. Перед войной 1939 года в Великобритании сохранялась видимость монолитного правительства, которое, однако, было парализовано столкновениями внутри правящего меньшинства. Различие лишь в одном: чаще всего британскому режиму, благодаря дисциплинированности партий, удается сохранять дееспособное правительство, хотя, если бы учитывалось мнение каждого депутата в отдельности, никакого большинства не было бы. Франция доводит

демократическую идею, так сказать, до крайности, выясняя у каждого избирателя, какую партию он предпочитает, и у каждого депутата — какой вариант решения он поддерживает. Обилие вопросов, задаваемое множеству людей, информированность которых совсем неодинакова, приводит к тому, что никакого единства нет и в помине.

Проблемы, которые Франции пришлось решать после войны в своих заморских владениях, в общем не отличались от тех, что вставали перед Великобританией. Англичане уже осознали стоящие перед ними задачи: предоставить независимость всем территориям, где были сильны националистические движения. Даже одержав победу в войне против партизан-коммунистов в Малайзии, Великобритания все же предоставила там независимость режиму умеренного толка. Франции необходимо было выбирать между двумя курсами: или, как это сделала Англия, допустить образование независимых государств на территориях Французской Империи, или Французского Союза, или же провести реформы, направленные на установление там автономий, но, по возможности, с сохранением французского господства. Ни один из этих курсов не был четко определен и разработан. Ни один из них не был и применен достаточно решительно. Двенадцать лет спустя (в 1958 году) первый вариант стал реальностью. Индокитай состоит из трех или четырех ныне независимых государств, Тунис независим, Марокко — тоже. Территории в Черной Африке получили автономию, которая, вероятно, превратится в независимость, как только территории этого потребуют.

Мы дошли до мучительной проблемы Алжира, требующей безотлагательного решения. В этом случае труднее всего прийти к единству мнений. Выступавшие против полной независимости Французского Союза яростно противятся курсу, уже проводимому в Тунисе и Марокко. Мотивы несогласия можно понять: ведь отступать больше некуда! Стань Алжир, подобно Тунису и Марокко, независимым — и процесс неудержимо охватит и всю остальную часть Французского Союза. Французское же меньшинство в этих территориях слишком многочисленно, чтобы покориться или добровольно войти в состав какой-то

Алжирской Республики. Сторонники этого курса не допускают и мысли о возвращении или репатриации части французского меньшинства во Францию. Они справедливо полагают, что в Алжире националистическое движение более эмоционально и опасно, чем где бы то ни было во Французском Союзе, поскольку националистическая революция сочетается там с революцией социальной. Французы составляют большинство привилегированного класса в Алжире, а националистическое движение, активисты и лидеры которого вышли из народа, неизбежно становится социалистическим, оставаясь при этом националистическим. Наконец, защитники лозунга «Французский Алжир» полагают, что французское господство в Алжире необходимо для сохранения традиционных уз, связывающих с метрополией все прочие территории Африки.

Те, кто выступал (или мог бы выступать) за то, что территориям Французского Союза должна быть предоставлена независимость, обычно убеждены, что их вариант — единственно возможный, единственно разумный именно потому, что он уже был осуществлен на других территориях. В истории есть несокрушимая логика. Сторонники независимости территорий говорят, что немыслимо отказать Алжиру в образовании независимого государства, если такое право предоставлено, например, Мадагаскару. Наконец, как можно победить в войне, если «националисты», или «бунтовщики», в Алжире получают поддержку извне, и помешать этому нельзя?

Единства в выборе решения этих проблем нет ни в одной из партий палаты депутатов.

Реально же — по крайней мере с 1956 года — проводится курс, предложенный теми, кто считает, что для спасения Франции и французского будущего в Африке необходимо французское господство в Алжире. Несправедливо обвинять французские правительства — как это делается ежедневно — в том, что они топтались на месте. Каждое следовало курсу, сознательно выбранному если и не всей страной, то, во всяком случае, большинством депутатов. А ведь и среди противников и среди сторонников реально проводимого курса наблюдается недовольство. И те и другие требуют бескомпромиссного выбора, чтобы в том

или ином направлении были предприняты далеко идущие меры. Приверженцам нынешнего курса хотелось бы, чтобы в Алжир были направлены подкрепления или, по крайней мере, чтобы была запрещена антифранцузская пропаганда на этой территории. Что касается сторонников иного курса, то они не верят в успех мирного решения проблемы.

Думаю, что при нынешнем режиме во Франции вряд ли в ближайшем будущем возможна какая-то иная политика, которая не вызвала бы такую же волну критики.

Каков же выход? Можно представить три возможности. Первая — *тирания,* вторая — *диктатура* в римском смысле слова, а третья — *выжидание*: пусть спор так или иначе решат события.

Каждый из нас в бессонные ночи мечтает о тирании, но только пусть она даст власть нашим единомышленникам! Каждый убежден, что есть какой-то иной курс, лучше правительственного. Новый курс может установить вооруженная группа, захватившая власть и заставившая повиноваться несогласных. Такой путь выбран во многих странах, которые раздираются непримиримо враждующими группировками или партиями. Одна из группировок или партий брала верх над прочими.

Второй выход, о котором часто толкуют,— обращение к *спасителю на законных основаниях* или, если угодно, к диктатору римского образца. Всем известно, кто он сегодня во Франции. К этой крайности призывают многие органы печати самого разного толка. О ней помышляет такое множество людей, мнения которых противоречат друг другу, что приходится допускать две возможности. Первая: третейский суд, проведенный этим спасителем, вызвал бы разочарование представителей всех лагерей, к нему взывающих. Вторая: спаситель отечества найдет выход, который чудесным образом примирит все враждующие группировки. Но можно ли представить себе курс, до того великий или хитроумный, что в нем совместятся достоинства всех предложенных решений, но не проявятся недостатки, свойственные каждому из них? Такое чудо неосуществимо. Проблема — в Алжире, а не во Франции. Даже если антагонистические партии придут к согласию относительно кан-

дидатуры спасителя, вовсе не обязательно к нему примкнут наши противники.

Третье решение — или отсутствие решения — это наша нынешняя жизнь. Правительство лавирует между противоположными лагерями, и сторонники каждого надеются в душе, что непредвиденные события заставят правительство сделать выбор в их пользу.

Нынешний кризис мы разбирали только для того, чтобы выявить одну черту французского режима: в любой кризисный период какая-то часть сообщества может не подчиняться национальной дисциплине. Например, коммунистическая партия не скрывает своих подрывных намерений. В любую историческую эпоху треть населения Франции готова предать режим страны, во всяком случае, ведет она себя так, что защитники официальной политики считают это предательством.

В прошлом веке Ренан говорил о внутренней эмиграции. При любом режиме часть нации отрицает возможность духовного согласия с правителями, замыкаясь в неизменной враждебности. В ходе любого крупного кризиса нашего века часть населения отвергала мысленно, если не на деле, решения правительства.

Согласуется ли такая враждебность с самой сутью конституционно-плюралистических режимов? Разумеется, нет. Можно объявить незаконными все партии, не принимающие правил политической игры, проповедующие тиранию. Боннская республика поступила так с революционными партиями крайне правого и крайне левого толка. От этого она не перестала быть конституционно-демократической. Любой режим вправе защищаться от нападок тех, кто хочет его уничтожить. Но чтобы режим оставался конституционным, он должен действовать согласно собственным законам, а не просто предоставить полиции полную свободу действий. Иначе говоря, должны сохраняться конституционность актов и контроль над судебной властью.

Я не предлагаю объявить во Франции вне закона несогласных с политикой правительства коммунистов. У меня достаточно оснований не высказываться подобным образом. Помимо чисто личных причин, есть еще и довод более общего характера: объявив

вне закона диссидентов или сепаратистов, отказывающих в верности правителям, можно подвергнуть риску сам конституционно-плюралистический режим. Когда в стране слишком много споров о наилучшем режиме и мерах, которые надлежит принять в какой-то конкретной ситуации, лучше зачастую смириться с полубездействием. Когда правители огорчают нас, попытаемся услышать в их высказываниях отзвуки того, что Жан-Жак Руссо назвал бы голосом «народа, воплощающего верховную власть», ведь в конце концов именно эти правители нами избраны. Пока соблюдаются конституционные правила, еще не все потеряно. Страсти могут быть накалены до предела, однако, сохраняя законность, гражданский мир еще можно сохранить.

Вот почему я сошлюсь на выражение Ферреро, сказавшего, что конституционный режим — это такой, где вопреки всему высшей преградой является шелковая нить,— шелковая нить законности. Порвется шелковая нить законности — и непременно обозначится на горизонте лезвие меча*.

Перейдем к третьей части лекции. Она посвящена режимам, где господствует лезвие меча**. Я буду разбирать три их разновидности: испанскую революцию, национал-социалистическую революцию и русскую революцию. Несмотря на различия, их объединяет сходство истоков: насильственный захват власти вооруженным меньшинством.

Рассмотрим эти типы режимов, противоположных конституционно-плюралистическому. Первый противоположен скорее *плюрализму* партий, а не *конституционности*. Второму свойственно отрицание многопартийности при поощрении революционной партии, отождествляющей себя с государством,— таков гитлеровский режим. Наконец, третий, как и предыдущий, враждебен многопартийности и благожелателен к *революционной партии,* но эта партия, монополизи-

---

* Во французском оригинале игра слов: шелковая нить — fil de soie и лезвие меча — fil de l'épée.

** *Я заимствовал этот оборот у генерала де Голля, чтобы противопоставить его «шелковой нити» Ферреро. Однако голлизм не является режимом, где «господствует лезвие меча» в применяемом здесь значении.*

ровавшая власть, ставит перед собой цель сплотить общество в единый класс.

Португальский режим — пример первого типа. Салазар, конечно, не принимает идею парламентаризма, но стремится, ограничив полномочия государства, обеспечить независимость различных групп общества. Для такого режима характерно создание представительства, отличного от парламентского. Постоянное соперничество партий за реализацию власти запрещено, но провозглашается, что правители не всевластны и не могут быть таковыми, что они действуют в рамках закона, нравственности и религии. Власть, заявляя о своей приверженности традиционалистской идеологии, хочет устранить беспокойства, связанные с многопартийностью и парламентом, но при этом пытается избежать отождествления общества с государством. Таков режим, стремящийся к либерализму без демократии, но не имеющий поэтому возможности стать либеральным.

Второй тип режима, именуемый в просторечии фашистским, роднит с предыдущим отрицание демократических идей и парламентаризма. Однако есть и различия. Режим Салазара стремится скорее к «деполитизации», режимы же Муссолини или Гитлера «политизируют», а то и «фанатизируют». В режиме Салазара нет государственной партии, в режиме Гитлера или Муссолини такая партия была.

Испанский, итальянский и немецкий режимы роднит осуждение того, что на их языке зовется демократическими и либеральными идеями 1789 года. Все три типа режимов опираются на принцип реальной власти, но теоретическое обоснование власти у них различное. Испанский режим занимает как бы промежуточное место между режимами первого и второго типов. С одной стороны — опора на традиционалистскую философию, поддержка церкви, утверждающей, что власть ниспослана свыше и потому не зависит от желаний граждан. С другой стороны — для него характерна антитоталитарная направленность. Испанский режим не так консервативен, как салазаровский, ему присущи элементы современного фашизма, например, фалангистское движение, сходное с фашистским движением в Италии. Основой итальянского режима была государственная партия: он

руководствовался теорией верховенства государства. Но итальянский режим не так революционен, как германский. В Италии предпринимались попытки сохранить традиционные структуры, наделяя при этом неограниченной властью правительство, чему способствовали ликвидация парламентских традиций и опора на единую партию.

Режим, представляющий в наиболее чистом виде второй тип,— это национал-социализм. Действительно, само движение было антидемократическим и антилиберальным, хотя и революционным в точном значении слова. Оказавшись у власти, национал-социалисты сделали все для уничтожения социальных и идеологических структур Веймарской республики. Объединяющим началом было не государство, как у итальянского фашизма, а нация, и даже более того — раса.

Третий тип режима, коммунистический, также ликвидирует многопартийность, но он коренным образом отличается от режимов второго типа. Не только не отвергаются демократические и либеральные идеи, напротив, декларируется намерение воплотить их в жизнь, устраняя партийное соперничество. При этом конституционно-плюралистические режимы объявляются лишь прикрытием капиталистической олигархии. Отсюда делается вывод о необходимости ликвидировать олигархию и установить унитарное, бесклассовое общество ради истинной свободы и истинной демократии. Считается, что монополизация власти одной партией не противоречит принципам свободы и демократии, поскольку главное в этом режиме — его место в истории. Для достижения высших целей, связанных с построением бесклассового общества, абсолютная власть партии, выражающей интересы пролетариата, оказывается необходимой.

Есть и другие виды классификации таких режимов. Некоторые исследователи полагают, что режим первого типа, консервативный, в духе Салазара, принципиально отличен от революционных режимов второго и третьего типов. С одной стороны — восстановление традиционного общества, где государство играет ограниченную, но абсолютную роль, с другой — революционные партии, государство партийного типа, т. е. сливающееся с партией. В такой класси-

фикации две революционные системы противопоставляются системе консервативной.

Есть еще один возможный вариант классификации. В ее основе — идеологии. В таком случае режимы первого и второго типов противопоставляются режиму третьего типа. Салазара, генерала Франко, Муссолини и Гитлера объединяет то, что они отвергают либеральные, демократические идеи. Авторитарно-консервативные или революционно-фашистские режимы не приемлют идеалов 1789 года и рационализма; они в равной степени привержены авторитаризму. В этом случае режим, претендующий на роль наследника конституционно-плюралистических режимов, противопоставляется режимам первого и второго типов, которые эти системы отрицают. Первый тип — недиалектическое отрицание конституционно-плюралистического режима, третий же претендует на отрицание диалектическое, т. е. попытки одновременного отрицания и сохранения различных его элементов.

Наконец, в соответствии с еще одной классификацией, никакие два режима не могут объединиться против третьего: каждый из трех — воплощение особой идеи.

Любой режим определяется тем, как естественные социальные различия сочетаются с единой политической волей. Режим первого типа приемлет различия на уровне семей, профессиональных групп, регионов. Единство политической воли поддерживается сильным, но не безграничным в своих прерогативах государством.

Режим второго типа проповедует национальное или расовое единство, в основе которого — однопартийность. Делается это для того, чтобы преодолеть неоднородность общества, обусловленную индустриальной цивилизацией. В соответствии с воззрениями фашистов и национал-социалистов классы могут вызвать распад социума. Какая-то одна группа должна ликвидировать эту неоднородность и утвердить (если потребуется, силой) единство сообщества, единство государственной воли.

Наконец, режим третьего типа декларирует, что причина столкновения классов — экономический строй. С ликвидацией классовых различий или хотя бы

антагонизма в сообществе воцарится единство. Руководить государством будет единственная партия, ибо антагонистических классов не останется.

При таком подходе каждый из трех режимов определяется особым, присущим только ему соотношением неизбежных различий и необходимого сходства.

Эту классификацию нельзя считать исчерпывающей, существуют, вероятно, режимы смешанного типа, не относящиеся, строго говоря, ни к одному из трех типов.

В современном нам мире постепенно исчезает традиционная преемственность правопорядка. Соблюдение правил конституционно-плюралистических режимов наталкивается на трудности, поскольку исходным условием считается либо национальная дисциплина, либо благоразумие партий. Вот почему в подавляющем большинстве стран возникают иные режимы, одна группа навязывает свою волю всем прочим. Возможно, такая группа не принадлежит полностью ни к одной из указанных мной трех идеологических и структурных категорий. Трудно определить, например, нынешний режим в Египте: он скорее революционный, чем консервативный, раз там провозглашается необходимым решить великую задачу: достичь единства арабских народов. Но эта идея — миф. Теперь в Египте царствует всеми признаваемый харизматический вождь (как говорил Макс Вебер) — офицер, который не подчеркивает свою принадлежность к военной касте. Будь он лицом гражданским, он, наверное, как Сталин, присвоил бы себе военный чин.

Многие режимы в Латинской Америке — не консервативные и не фашистские. Они просто-напросто возникли в результате вооруженного захвата власти. Политические союзы образуются в этих странах непривычным для нас образом. То же относится и к поведению масс. Поразительный случай — Аргентина: ее государственные институты, на первый взгляд конституционно-плюралистические, находились под защитой главным образом привилегированного класса, а народные массы были по-настоящему враждебны им. Такой популярный вождь-тиран, как полковник Перон, пользовался там поддержкой большинства

рабочих профсоюзов, даже свободных профсоюзов. Подобной поддержки вождя-тирана со стороны рабочих масс никогда не было в Европе, он установился в Южной Америке, потому что так называемые конституционно-плюралистические институты, импортированные из-за рубежа, оказались выгодны лишь части правящего класса. Используя введенные мною термины, скажу, что в Аргентине конституционно-плюралистический режим был настолько олигархичен, что вызывал гнев и противодействие широких народных масс.

Из трех типов режимов я в основном буду изучать последний, коммунистический. В Европе режим авторитарно-консервативного типа установился только в странах, не охваченных индустриальной цивилизацией. Меня же, как вы знаете, интересуют прежде всего политические режимы, образующие надстройку индустриальной цивилизации.

Более того, я занимаюсь режимами, которые называют себя демократическими. Но фашистские государства, при всей их откровенной грубости, заявляли, что не являются демократическими и не хотят быть таковыми. Исторический процесс, духовное развитие там коренным образом отличались от того, что происходило в интересующих нас режимах.

Наконец на какое-то — возможно, продолжительное — время роль фашистских режимов в Европе оказалась в итоге не так значительна, как коммунистического. Фашистским режимам требовался националистический угар, которого к настоящему времени нет ни в одной европейской стране. У этих режимов были далеко идущие внешнеполитические планы. Обстоятельства сложились не в их пользу.

В заключение лекции мне хотелось бы сказать несколько слов о коренных различиях и формальном сходстве (хотя, возможно, уместнее говорить о коренном сходстве и формальных различиях) коммунистического режима и режимов фашистского типа.

Для гитлеровского, как и для коммунистического, режима характерна одна партия, обладающая монополией на политическую деятельность. На вооружении у такой партии — воодушевляющая ее революционная идеология. Говоря «революционная», я просто

имею в виду стремление к коренному преобразованию общества. Вождь такой партии в Германии был предметом обожествления, что не всегда можно было сказать о вожде русской партии, обожествление которого после смерти прекратилось вовсе.

Второе сходство — сочетание идеологии и террора. Эти режимы во имя идеи широко используют террор как орудие борьбы против идеологических врагов, которых считают более опасными, чем уголовных преступников. Тем самым такие режимы полярно противоположны, например, французскому, где на каждом шагу приходится сталкиваться с «предателями» (в чисто формальном смысле слова), чему не придается особого значения. В условиях, когда партия монополизирует власть, ортодоксальность обязательна, а несогласие с правителями гибельно. Для подобных режимов, как с правой, так и с левой ориентацией, одинаково характерны некоторые формы юридических действий, например, заключение в лагеря противников, инакомыслящих и уголовных преступников.

Различия видны сразу и поражают столь же сильно, как и черты сходства.

Избиратели и члены партии принадлежат к разным классам общества. Члены коммунистической партии в России или в Германии до 1939 года, как и в теперешней Франции, происходят не только из рабочих, однако рабочий класс — один из главных источников пополнения партийных рядов.

Коренным образом отличается отношение правящих классов к фашистским и коммунистическим партиям. В Италии, до того как Муссолини завладел властью, отношение к фашистам со стороны части правящего класса, особенно в промышленных и финансовых кругах, было благожелательным.

В Германии Гитлер получал субсидии от крупных промышленников. Оставим спорный вопрос о роли капиталистов в организации фашистских движений. Фашистские партии стали выразителями надежд тех привилегированных слоев, которые испытывали тревогу в связи с «грабительскими законами» конституционно-плюралистических режимов или революционными требованиями, допустимыми в рамках этих режимов.

Популярность фашизма в результате последней войны резко снизилась. Сочувствие значительной части бывших правящих классов остается, вероятно, одним из необходимых условий успеха тиранических движений, которым присущ некоммунистический характер.

Наконец, в глаза бросается третье отличие. Оно касается идеологии и, следовательно, программы. Главный вопрос ставится так: каковы устремления партий, монополизировавших власть? Да, эти партии стремились к абсолютной власти, да, они ликвидировали оппозицию, это очевидно. Однако монополия на власть — это все же средство, а не цель. Задачи, идеологические системы и формы действий у партий различны.

Если рассматривать разные режимы, где партия монопольно владеет властью, что же важнее: черты сходства или различия? Ответ прежде всего зависит от существующих и будущих государственных институтов. Для коммунистического режима важно, чтобы его воспринимали не в современной ипостаси, а в будущей. Коммунистическое государство характеризует себя не столько действиями в настоящее время, сколько собственным представлением о себе и о целях, которые оно провозглашает. Вот почему нельзя изучать коммунизм, отвлекаясь от его задач.

В ходе изучения конституционно-плюралистических режимов у меня не было особой необходимости противопоставлять идеологические системы реальной жизни. Если эти государства придерживаются чересчур лестного мнения о самих себе, то достаточно прочесть работы их противников, и иллюзии, порожденные тщеславием, рассеются. Мое исследование не может считаться «поэтическим», все институты рассматривались там скорее в прозаическом свете. Исследователь открывает для себя очень важную вещь: эти государства представляют себя такими, какие они есть. Кое-кто может сказать, что описанный мной конституционно-плюралистический режим не может считаться *подлинной* демократией. Найдется, наверное, немало критиков, которые скажут, что при демократии непременно *должно быть* единство граждан даже при партийных конфликтах. Однако представления о демократии, которые можно проти-

вопоставить практике, остаются пока умозрительными. Всем известно истинное положение дел — соперничество партий с его не скажу отвратительными, но неизбежно пошлыми чертами. Вот почему задача заключалась в том, чтобы показать: многопартийные режимы именно в их нынешнем виде — реальность, не противоречащая вдохновившей их идее. Через государственные институты они становятся олицетворением самоуправления, управления на основе дискуссий и добровольного волеизъявления.

В коммунистическом режиме действительность едва различима, а про идеологию нам напоминают на каждом шагу. Приведу только один пример — простейший и наиболее разительный. В Советском Союзе есть Конституция (с 1917 года их было три). Последняя провозглашена в 1936 году, во время великой чистки, когда несколько миллионов настоящих или мнимых оппозиционеров оказались в тюрьме. Эта торжественно провозглашенная конституция на бумаге гарантировала уважение прав личности, Habeas corpus на таких же безупречных условиях, как и в Великобритании. Если, как говорил Маркс, следует различать реальное положение и представление о нем, то этот подход должен быть применим и к режимам, где провозглашается верность одной определенной идеологии. Эти государства прилагают все силы, чтобы сохранить образ, который они сами придумали. Причем даже тогда, когда этот образ не имеет ничего общего с истинным положением дел.

XIII

Советская Конституция: фикция и действительность

Коммунистический режим часто называют *идеократией* — настолько часто государство ссылается на свою идеологию и настаивает на приверженности ей. Необходимо сопоставлять *идеологию* и *действительность*. Это особенно важно, когда речь идет о режиме, который в большей степени, чем любой другой, основан на идеологии.

Иногда достаточно уверовать в ложную идею, чтобы сделать ее истинной. Если граждане страны не верят в существование классов, то в определенной мере классы и в самом деле исчезают, коль скоро они определяются осознанным противопоставлением групп внутри социума.

Вернемся к точке отсчета, к революции. Советский режим возник в результате революции, то есть насилия: большевики захватили власть в ноябре 1917 года. В январе 1918 года состоялись выборы — вероятно, первые и последние свободные выборы в западном смысле слова. Свободно избранное Учредительное собрание было разогнано через несколько дней, потому что значительное большинство его было враждебно большевикам.

Советский режим, разумеется, не был изначально конституционным. Повторяю: все или почти все режимы в таком положении неконституционны. Но чаще всего режим, установленный путем насилия, стремится стать конституционным. Иначе говоря, принимает Конституцию, в соответствии с которой будут назначаться правители и осуществляться власть. В этом отношении советский режим подобен всем режимам на свете: он принял Конституцию и даже, точнее говоря, три. Первая относится к 1918 году, вторая — к 1924 году, а третья, все еще действующая, к 1936 году. У них много общих черт, но есть и кое-какие различия.

На стилистике первой Конституции, одобренной 10 июля 1918 года V съездом Советов, еще сказывалась революция. В ней говорилось о диктатуре пролетариата, сильном и централизованном правительстве, представители эксплуататорских классов лишались права голоса, как и права занимать государственные должности. К таким классам были отнесены купцы, священники, монахи, помещики. Основные права в 1918 году предоставлялись только трудящимся. Между крестьянами и рабочими вводилось неравенство. Крестьяне, не очень склонные к поддержке режима, могли иметь только 1 депутата в Совете от 120 тысяч избирателей, да и выборы проходили в два этапа. Зато в городах 1 депутат избирался прямыми выборами от 25 000 избирателей.

Если верить Конституции, советский режим был конституционно-плюралистическим. Декларировалось, что высшая власть принадлежит Всероссийскому съезду Советов, депутаты которого получали полномочия на основе всеобщего избирательного права. Между сессиями заседал Центральный исполнительный комитет в составе 200 человек, избиравшихся съездом Советов, и этот Центральный исполнительный комитет в свою очередь избирал Совет Народных Комиссаров, то есть Совет Министров.

О коммунистической партии не было сказано ни слова. На бумаге режим вполне сопоставим с режимами Запада: представительное собрание избирало постоянный комитет, который в свою очередь назначал носителей исполнительной власти. Все это как нельзя больше соответствовало западным представлениям о парламентском режиме. Но эта конституция не имела никакого значения, поскольку реальная власть принадлежала коммунистической партии.

В 1924 году была принята новая Конституция, несколько отличная от предыдущей. В 1918 году режим еще не укрепился во всех губерниях царской империи. С 1918 по 1924 год революция распространилась на все эти территории — или, если вы предпочитаете другое выражение, большевики восстановили единство царской империи.

Идеологическое заявление, открывавшее Конституцию, определяло в качестве цели СССР объединение всех рабочих во всемирную советскую республику. Во второй части провозглашалось, что главные республики свободно объединяются в единое федеральное государство; на бумаге эти республики по-прежнему пользовались правом выхода из его состава. Сохранялось различие избирательной системы между городом и деревней: в одном случае 1 депутат представлял 120 000 избирателей, а в другом — 25 000. Других коренных изменений не было: по-прежнему имелся парламент, сформированный на основе выборов, но теперь уже двухпалатный, причем одна палата избиралась прямым голосованием всего населения, а другая представляла национальности и именовалась Советом Национальностей. Предусматривалось, что обе палаты должны одобрять все декреты и постановления, принимаемые исполнительной властью, что

все законы принимаются от имени исполнительного совета, который (опять-таки на бумаге) формировался на основе выборов. Кроме того, в Конституции предусматривалось создание правовой системы. Как и в 1918 году, о коммунистической партии не говорилось. Это была типичная западная конституция, без малейшего упоминания о коммунистической партии — решающего фактора жизни в СССР по словам самих граждан этой страны.

Все еще действующая (с незначительными изменениями) Конституция 1936 года представляет собой весьма интересный документ. В ней шестнадцать глав. Вначале говорится об общественном устройстве страны: о законах собственности, о государственном устройстве, о высших органах государственной власти Советского Союза, затем о союзных республиках. Далее в Конституции рассматривается управление государством, затем на уровне союзных республик и, наконец, на местном уровне. Определяются также судебный аппарат, основные права и обязанности граждан, избирательная система. Две последние главы описывают флаг, указывают столицу Советского Союза и, наконец, определяют порядок пересмотра Конституции.

Этот текст можно считать более передовым, чем аналогичные западные, потому что в нем рассматриваются принципы, на которых основано не только государство, но и общество, и подробно определяется организация власти на всех уровнях — от союзного государства до избирательных округов. По своей сути режим тот же, что определен в двух предыдущих Конституциях, хотя есть и новые черты. О враждующих классах больше не говорится ни слова, нет дискриминирующих различий между городом и деревней, следы этого исторического противопоставления формально исчезли. Высшая власть — у палат парламента: образуя вместе Верховный Совет, они избирают Совет Министров (уже не Совет Народных Комиссаров). Список министерств включен в Конституцию. Он несколько раз пересматривался. У советских депутатов есть право обращаться с запросами: если депутат обратился с запросом к министру, тот должен дать ответ в течение трех дней.

Повторим: если бы эти конституционные тексты воспринимались всерьез, то можно было бы сказать, что у французского и советского режимов нет принципиальных различий.

Нам известно, как известно и советским гражданам, что все это фикция. Конституционные тексты — фикция. Депутаты избираются свободно, но свободно стать кандидатом нельзя. Поскольку список кандидатов — единственный, остается лишь выбор между голосованием «за» или неучастием в голосовании. Ясно, что 99% избирателей (а то и больше) предпочитают голосовать «за». По своему характеру эти выборы отличаются от западных. Их результаты предсказуемы — и предсказаны, колебания в процентах поданных голосов весьма незначительны.

Что касается заседаний обеих палат парламента, то ход их также в значительной мере известен заранее — если не гражданам, то, во всяком случае, правителям. В своих речах депутаты чаще всего одобряют министров. Бывают, конечно, и критические выступления, но и они разворачиваются по заранее разработанному сценарию (во всяком случае, в основных чертах).

У палат — короткие сессии. Это, так сказать,— представления, приветственные церемонии для выражения согласия управляемых с правителями.

Теоретически у всех управляемых есть основные права: свобода слова, свобода печати, свобода собраний. Личность священна, жилище неприкосновенно, гарантируется соблюдение всех требований Habeas corpus, всех официально провозглашаемых свобод. Однако при реализации прав есть два ограничения. Первое определяет сама Конституция: права могут реализовываться «в соответствии с интересами трудящихся». Весь вопрос в том, кто определяет эти интересы. Второе ограничение — во всяком случае, в некоторые периоды советской истории — необязательность подчинения министерства внутренних дел и полиции юридическим правилам и Конституции.

Новым стало то, что впервые в Конституции Советского Союза дважды упоминается коммунистическая партия. В статье 141 указывается: кандидаты для участия в выборах должны отбираться некими общественными организациями, и среди них — ком-

мунистическая партия, которой отведено скромное место наравне с профсоюзами. В статье 126 указывается, что наиболее активные граждане Советского Союза организуются в коммунистическую партию, которая образует передовой отряд трудящегося народа.

Каково же значение того, что содержится в Конституции? Чем объяснить результаты выборов? Для чего составлять столь подробные Конституции, никак не отражающие реальное функционирование власти?

Часто отвечают так: это инсценировка в назидание заграницe. Раз Запад придает значение конституционным правилам, ему показывают, что даже в этом отношении учиться у него нечему. Вспомним: Конституцию 1936 года принимали в период угрозы со стороны национал-социализма и существования Народного фронта. Одной из причин того, что понадобилась новая Конституция, могло стать желание продемонстрировать мировой общественности: по духу советский режим приближается к западным конституционным режимам, он диаметрально противоположен фашистской тирании или национал-социализму.

СССР стремится показать Западу, что делает различие между партией и государством. При отсутствии такого юридического различия сама возможность отношений между Советским Союзом и прочими государствами была бы под вопросом. Партия не отказывается от учения о мировой революции, следовательно, требуется, хотя бы в теории, чтобы Советское государство коренным образом отличалось от партии, которая руководствуется экспансионистскими устремлениями.

Налицо и желание продемонстрировать единодушие народа. Правители не сомневаются в одобрении управляемых, но приветственные церемонии содействуют поддержке режима со стороны граждан: организация энтузиазма и единодушия — психологический прием, цель которого — обеспечить единство народа и правителей. Единство это, даже фиктивное, крепнет в процессе самовыражения.

Остается, однако, основной вопрос: насколько правители, теоретики и граждане верят в значение, масштабность и действенность конституционных фикций? Суждено ли, по их мнению, этим фикциям

когда-нибудь претвориться в жизнь? Перед нами серьезная проблема. Фашистский или национал-социалистский режимы заявляли о своей враждебности демократическим принципам, коммунистический же режим провозглашает веру в демократические принципы, даже если таковые не реализуются на практике. Все это нуждается в разъяснении.

Еще раз вернемся к исходной точке. Большевистская партия выделилась из всей российской социал-демократии, где составляла экстремистскую фракцию, располагавшую большинством. Захватив власть с помощью оружия, большевики считают себя представителями пролетариата, а не тиранического меньшинства. Как же большевики видят свою власть в свете марксистского учения?

Рассмотрим сначала, что такое само марксистское учение. Прежде всего, это попытка объяснить функционирование общества через экономическую инфраструктуру. Это также объяснение истории, по которому современные общества развиваются от капитализма к социализму. Но в марксистском учении не содержится точных указаний на то, какими должны быть экономика и политическая власть при социализме.

У большевиков было всего две направляющие идеи в экономике: общественная собственность на средства производства и планирование. Они немедленно установили общественную собственность на средства производства, попытались планировать экономику и методом проб и ошибок создали механизм хозяйственного руководства, который легко оправдать ссылкой на Маркса, коль скоро Маркс никогда не говорил, как следует организовать экономику.

В политике положение было более сложным, так как в этом отношении марксистское учение сводилось к тезису: государство — орудие господства и эксплуатации одного класса другим. Марксистское предвидение будущего носило анархистский (с устранением враждующих классов государство отомрет) или, по крайней мере, сен-симонистский характер. Фридрих Энгельс часто пользовался формулировкой: «Руководство вещами придет на смену управлению людьми». Маркс говорил о диктатуре пролетариата применительно к переходному периоду построения со-

циализма. Но что должна представлять собой диктатура пролетариата? Это понятие можно толковать совершенно по-разному. С одной стороны, диктатура пролетариата должна уподобиться Парижской коммуне 1871 года, ведь Маркс писал: если вы хотите знать, что такое диктатура пролетариата, посмотрите на Парижскую коммуну. С другой стороны, диктатура пролетариата должна быть по сути якобинской — абсолютной властью террористического и централизованного типа.

Большевики немедленно нашли выход из положения: пролетариат представлен большевистской партией, которая, обладая абсолютной властью, реализует марксистскую идею диктатуры пролетариата. С идеологической точки зрения такой выход вполне удовлетворителен и оправдывает монопольную власть партии, которая должна обладать всей полнотой власти, поскольку представляет пролетариат, а диктатура пролетариата означает промежуточный этап между капитализмом и социализмом.

Такое оправдание партийного всевластия на основе марксистского тезиса о диктатуре пролетариата сразу же приводит к определенным последствиям. Первое из них — запрет на существование других социалистических партий. Когда большевики брали власть, по крайней мере еще одна партия — а именно меньшевики — заявляла о приверженности Марксу. Коль скоро большевистская партия по определению и была пролетариатом, то несогласные с ней меньшевики не могли не оказаться предателями. Отсюда — совершенно логичный вывод, сделанный Зиновьевым: «Когда большевики у власти, место меньшевиков — в тюрьме». Если коммунистическая партия — *единственная* представительница пролетариата, то лишь предатели по отношению к истине, а значит, и к пролетариату, могут заявлять, что представляют интересы рабочих. Предатели должны быть ликвидированы. Иными словами, идеологическое учение приводило к мысли об исключительном праве на *толкование истины.*

Но эта формулировка порождала другие трудности: если государство — орудие одного класса в борьбе с другим, то, по логике, оно отомрет с исчезновением классов. Если пролетариат — эксплуатируе-

мый класс, он, по определению, перестает быть таковым, оказавшись у власти. Пролетариат в марксистском значении слова перестает быть пролетариатом с того момента, как он у власти.

С другой стороны, класс определяется через собственность на средства производства. Нет частной собственности на средства производства — нет больше и классов. Но если нет классов, раз нет частной собственности на средства производства, то чему же соответствует диктатура пролетариата? С отсутствием эксплуатации больше нет пролетариата, нет и враждующих классов, для чего же нужна диктатура?

Подобные идеологические вопросы возникают в режиме, установленном большевиками.

Как же на них отвечают советские люди? СССР — государство рабочих и крестьян; сохраняются отличающиеся друг от друга, но уже не враждующие между собой классы. Коммунистическая партия объединяет наиболее активных граждан, ее можно сравнить со школьным учителем. Становится вполне понятной идеология коммунистической партии, передового отряда рабочих и крестьян, учителя всего советского народа.

И все же остается трудность, связанная с отправной точкой: если единственная причина существования государства — это эксплуатация одного класса другим, зачем же нужно государство с того момента, когда антагонистических классов нет, и почему оно постоянно стремится стать сильнее и сильнее?

Незадолго до смерти Сталин дал ответ на этот вопрос. Он сказал: государству, прежде чем оно исчезнет, надлежит укрепляться. С диалектической точки зрения — удовлетворительный ответ: перед тем как разрушиться и исчезнуть, государство, так сказать, достигнет совершенства. СССР все более укрепляется, ведь его окружают капиталистические государства. Нужна все более сильная держава, потому что социализм еще не стал всемирным. Но тем самым напрашивается вывод: учение, согласно которому государство — только орудие для эксплуатации одного класса другим, неверно. Государство необходимо, пока человечество не станет единым. Пока не возникнет всемирная держава, отдельные государства будут призваны руководить отдельными сообществами.

Вторая сталинская формулировка была удивительной: классовая борьба усиливается по мере построения социализма. Удивительной, потому что перед нами полный логический бред. Классы были определены через свое отношение к средствам производства: для наличия враждующих классов требуется класс, завладевший средствами производства. В советском обществе больше нет частной собственности на средства производства, и единственная собственность, которая не является общественной (не считая приусадебных участков) — собственность колхозная, то есть кооперативная. Но даже под воздействием сталинского бреда нельзя говорить, будто классовая борьба — это борьба советского общества против кооперативной собственности колхозов. Для усиления классовой борьбы нужны, во-первых, классы, а во-вторых — оторванность классов от средств производства. Еще сохраняется, очевидно, точка зрения, что враги — это уцелевшие представители прежних классов — помещики, банкиры, купцы, предприниматели. Но ведь у классов, составлявших меньшинство общества, с утратой собственности и богатства не остается никакого могущества. Спрашивается, каким образом, через тридцать лет после революции, бывшие (раз нет частных банков) банкиры могли вновь стать врагами, с которыми должно бороться Советское государство.

Обострение классовой борьбы по мере построения социализма может означать или борьбу против уцелевших представителей прежних классов, что нелепо, или же борьбу против классов, возникших внутри общества с коллективной собственностью, что тоже нелепо, так как по марксистскому учению при коллективной собственности на средства производства классов быть не может.

Угадывается, правда, наличие в обществе каких-то иных учений и идеологий. В СССР правители и управляемые — такие же люди, как и все прочие, стоит лишь оторваться от ритуальных формулировок. Им известно, что формулировки не несут никакого конкретного смысла, и они прибегают к нескольким полуподпольным тезисам. Согласно одному из них, важно создать совершенно новое общество, нового — социалистического — человека. Сохранение абсо-

лютной власти партии обусловлено не уцелевшими элементами прежних привилегированных классов и даже не внешней угрозой, а требованиями воспитания. Наделенный властью учитель необходим, чтобы создать общество, соответствующее социалистическому идеалу, и человека, соответствующего ценностям социализма.

Четкую идеологическую основу режима создать не удается из-за заблуждений теории, на которую опираются большевики.

В области экономики советские люди проделали огромную работу, не имеющую, однако, ничего общего с исходным представлением Маркса о социализме. По Марксу, социализм должен стать преемником капитализма, усвоить его достижения и сделать всеобщим достоянием блага, создаваемые производительными силами. Советские люди открыли метод индустриализации, у которого есть как преимущества, так и недостатки; он может быть более совершенен, чем индустриализация на Западе, но не имеет ничего общего с изначальным представлением Маркса о роли социализма.

В политической области расхождение между тем, что хотели и что смогли сделать большевики, еще разительнее. Они исходили из идеи о временной диктатуре во имя конечной анархии. Что же они совершили? Они открыли систему, у которой есть свои преимущества и недостатки, и современный способ удержания абсолютной власти; они создали государство, которому не угрожает паралич из-за раздоров между гражданами и между партиями.

Сами того не желая, большевики опровергли собственную теорию, согласно которой социализм — это наследник капитализма, и не может установиться до определенного уровня развития производительных сил, и иначе, чем наследник капитализма. Поразительнейшим образом они продемонстрировали, что тип государства, который они называют социалистическим, может сформироваться на любой стадии экономического развития, лишь бы власть оказалась в руках марксистско-ленинской партии. Революция такого типа более или менее вероятна в зависимости от экономических обстоятельств, но возможна она повсюду. Они создали государство, опирающееся на

единую партию, оставляющую за собой исключительное право на идеологию и на политическую деятельность,— то есть тип государства, неведомый марксистам до 1917 года и который большевики тоже никак не могли предвидеть. Распространенное выражение: «Люди творят свою историю, но не понимают историю, которую творят» — без всякого сомнения применимо к ученикам самого Маркса. Все плохое и хорошее, что сотворили большевики, не соответствует их исходным представлениям о том, что следовало или хотелось сотворить.

Теперь понятно расхождение между конституционными фикциями и действительностью. Большевикам все еще не удалось полностью примирить свое учение, остающееся по направленности и целям демократическим, с практикой однопартийного государства, порожденного обстоятельствами. Ошибочно предположение, будто конституционные фикции лишены смысла, что они всего лишь примитивные уловки или потемкинские деревни. Пока провозглашается во всеуслышание верность демократической конституции, есть надежда, что в режиме могут произойти демократические перемены. Провозглашая верность демократии, государство заявляет об одной из возможных конечных целей своего развития.

На деле, однако, расхождение между официальной идеологией и практикой при этом режиме сильнее, чем при любом другом, а полуофициальные идеологические схемы, например, возвеличивание роли партии в создании промышленности, оказываются ближе к действительности.

Теперь рассмотрим партию. Вначале мы вновь сталкиваемся все с тем же явлением: у партии есть устав, который, однако, не играет в ее жизни особой роли. Как Конституция расходится с практикой, так и партийный устав чрезвычайно далек от реальной жизни.

XIX съезд — это съезд обожествления Сталина, Генерального секретаря ЦК. Ораторы один за другим поют хвалу железному человеку, восторгаясь его гениальностью. Затем — XX съезд, и новый Генеральный секретарь произносит знаменитую речь, ставшую известной на Западе. Тот, кто на XIX съезде воспевал Сталина, курил ему фимиам, теперь выступает

с разоблачениями множества преступлений, совершенных во время царствования Сталина. Новая версия происходившего столь же далека от истины, как и предыдущая. В выступлении Хрущева на XX съезде есть и правда — некоторые факты нам уже были известны, однако есть и суждения, которые представляются нам ложными, поскольку противоречат рассказам очевидцев (например — оценка роли Сталина в годы войны). На обоих съездах речи произносились по одному и тому же образцу, награждались одними и теми же аплодисментами. Выступали одни и те же, одни и те же аплодировали, только ораторы говорили иначе, но диаметрально противоположные высказывания покрывали одинаково восторженные аплодисменты.

Как же обстоят дела в партии? В этой связи возникает три вопроса.

Первый: о выборах. Штаб ли партии назначает тех, кто приходит на съезд, чтобы аплодировать ораторам, или же делегатов избирают рядовые партийцы? Короче, кто назначает тех, кому предстоит аплодировать правителям?

Второй вопрос: кто принимает решения? Или, другими словами, кто какие решения принимает? На каком уровне? Один человек или несколько? Что это за люди?

Третий вопрос: какова степень единства партии? Допускается ли существование группировок, и есть ли они? Какая судьба уготована инакомыслящим?

Разумеется, с точки зрения теории и идеологии партия всегда едина, монолитна, как и неизменно един советский народ; ей неведомы раздоры. Тем не менее часто встречаются предатели, кого на Западе называют диссидентами, или инакомыслящими.

Ответы на эти вопросы различны в разные периоды истории русской большевистской партии. Упрощенно можно выделить пять этапов.

Первый прошел до взятия власти. После взятия власти и при жизни Ленина практика партии стала иной. Третий этап — время борьбы между преемниками, с 1923 по 1930 год. Четвертый этап ознаменован всемогуществом Сталина: между 1930 и 1953 годами. Ныне идет пятый этап, когда разворачивается борь-

ба между его преемниками и утверждается новый стиль в жизни партии.

Первый этап, включающий в себя историю партии до взятия большевиками власти,— это время революционной партии, которая по большей части находилась в подполье. Теоретические основы партии такого типа разработал Ленин в 1903 году в своей знаменитой книге «Что делать?»: рабочие сами по себе не могут стать революционерами, они приспосабливаются к капиталистическому обществу, ограничиваются профсоюзной борьбой за удовлетворение своих требований. Партия, необходимая для выполнения исторической задачи пролетариата, должна быть партией профессиональных революционеров. Это — немногочисленная партия, подчиненная власти штаба в соответствии с учением о демократическом централизме; дисциплина — строжайшая; свободное обсуждение разрешается до принятия решений, но принятым решениям должны подчиниться все.

В ту пору подпольный штаб внутри царской России или штаб, находившийся за пределами страны, оказывали важнейшее влияние. Выборы делегатов действительно проводились, но делегациями легко было манипулировать. Этим словом я обозначаю искусство штаба или секретариата партии отбирать тех, кого направляли на съезд различные секции и кто будет выбирать высший орган, то есть Центральный Комитет.

Такая практика не нова для Запада. Французской социалистической партии известны все эти приемы. В принципе, делегатов на съезды партии избирают рядовые члены, но у секретарей секций и федераций есть способы оказывать на делегатов давление. Генеральный секретарь оказывает значительное влияние на федерации. Правда, он недостаточно свободен, чтобы проводить политику, против которой выступили бы широкие партийные массы, но и не массы в конечном счете определяют политику партии. Есть взаимная (или диалектическая) связь между настроениями рядовых членов партии и возможностями штаба, Центрального Комитета или Политбюро.

Таков, следовательно, первый этап. Партия состоит из революционеров-профессионалов и руководствуется принципом демократического централизма. Деле-

гаты съезда — выборные, но выборы в большей или меньшей степени под контролем штаба. Ленин, мастерски владевший искусством управлять партийными съездами, почти всегда умел навязать им свою волю.

Второй этап, начавшийся еще при жизни Ленина, после победы в гражданской войне, охватывает стабилизацию режима и партии. В некоторых отношениях практика напоминала революционную, но теперь она стала более явной, а споры — более резкими.

Деспотизм какого-то одного лидера или даже Политбюро в целом был еще не очевиден. На каждом съезде разворачивались страстные дискуссии между фракциями. Ленин нередко оказывался в меньшинстве как в Политбюро, так и в Центральном Комитете, и если он все же постоянно брал верх, то лишь потому, что соратники чуть ли не слепо ему верили: опыт почти всегда подтверждал его правоту.

В этот период партия обзаводится также бюрократической структурой. Став многочисленнее, она играет все более значительную роль в управлении государством. Секретариат начинает применять прием, доведенный до совершенства на следующем этапе: все чаще секретари не избираются, а назначаются. Когда секретариат партии стал назначать секретарей секций или федераций и, косвенным путем, представителей на съездах, реальная власть переходит от массы партийцев к горстке руководителей в Центральном Комитете, в Политбюро или секретариате.

Третий этап связан с победой Сталина над своими соперниками и укреплением системы, при которой руководителей партии стали не выбирать, а назначать, а пост Генерального секретаря, занимаемый Сталиным, стал господствующей высотой, откуда можно держать в руках всю партию. Добился этого Сталин с помощью полуконституционных приемов. Чтобы одержать победу в каждый данный момент, он создавал новое большинство. Вначале Сталин вступил в союз с левыми, то есть Зиновьевым и Каменевым, против Троцкого, затем с правыми, то есть с Бухариным, против Зиновьева и Каменева, помирившихся с Троцким. В иных случаях, когда Сталин чувствовал угрозу в Политбюро, он обеспечивал себе большинство в Центральном Комитете. В конечном счете каж-

дая из побед Сталина завоевана на съезде или во всяком случае закреплена там. Осуществляя личный контроль над назначениями внутри партии, Сталину всегда удавалось заручиться большинством.

Апелляция к большинству так никогда и не исчезала из официальных текстов Союза Советских Социалистических Республик. Такая официальная верность принципу еще не гарантирует возврата общества от абсолютной власти одного человека к конституционному механизму, но может содействовать этому. Внутри партии это оказалось невозможным, поскольку те, кому надлежало оценивать политику Генерального секретаря, самим же Генеральным секретарем и назначались. Сталин пользовался безоговорочной поддержкой своих назначенцев. Но все же поддержка подтверждалась голосованием, и та система, которая возникла после смерти Ленина, созрела для перерождения. Оно должно было наступить рано или поздно.

На четвертом этапе, когда Сталин имел абсолютную власть, главные решения он принимал единолично. Его окружали соратники, с которыми он хоть и совещался в Политбюро, но всегда навязывал свою волю. Начиная с 1934 года, он внушал им страх. Фракции беспощадно ликвидируются — не только политически, но и физически. Настоящие или мнимые противники внутри партии объявляются предателями. Их либо торжественно судят и приговаривают к смертной казни на основе «признаний», либо без всяких церемоний убивают в тюрьмах.

Любое движение в такой системе явно исходит сверху, а массы вынуждены подчиняться. Это не означает, что народ обязательно настроен враждебно по отношению к власти. Когда явная враждебность связана с крайним риском, количество официальных противников неизбежно сокращается: ведь героев никогда не бывает слишком много. К тому же решения, принимаемые одним лидером, могут отвечать интересам масс. Но раз мы пытаемся локализовать власть, нужно сказать, что она, вне всякого сомнения, сосредоточена на вершине иерархии партии, в руках одного человека. У меня есть все основания сделать такой вывод, поскольку это говорят ныне сами преемники Сталина.

Ситуация вновь меняется на пятом этапе. В свое время движение шло в какой-то степени от пролетариата к партии, от партии к Центральному Комитету, от Центрального Комитета к Политбюро и от Политбюро к Генеральному секретарю. Теперь происходит обратное движение, и отныне речи не может быть о сосредоточении власти в руках одного человека. Разворачивается и соперничество между преемниками Сталина, напоминающее соперничество 1923—1930 годов.

Есть и другие схожие черты. В 1923—1930 годах не применялись методы физического устранения противников. Ленин рекомендовал соратникам не подражать великим деятелям французской революции и не заниматься взаимным истреблением. Он вменил им в обязанность не переступать то, что называл «кровавой чертой». Ее и не переступали четырнадцать лет. С 1917 по 1934 год борьба между большевистскими лидерами была ожесточенной, однако побежденных не приговаривали к смерти. Даже Троцкий был отправлен сначала в Среднюю Азию, а затем вовсе изгнан из СССР, но не предан суду. Внутрипартийных противников стали судить и казнить, начиная с 1934 года, то есть с убийства Кирова и «великой чистки». Создается впечатление, что со времени смерти Сталина его преемники тоже приняли решение больше не переступать «кровавую черту»: противников устраняют, но — политически, а не физически. У этого правила есть исключения, и наиболее известное — дело маршала Берии, убитого, вероятно, по техническим соображениям. Глава министерства внутренних дел или полиции в режиме такого рода — чересчур опасное лицо, чтобы применять к нему конституционные методы воздействия. Кроме него, главные оппозиционеры все еще здравствуют, получив назначения на второстепенные посты подальше от Москвы.

Подобные явления, поражающие некоторых наблюдателей, означают возврат к тому, что делалось в 1923—1930 годах. Зиновьев, Каменев, Бухарин и прочие находились на второстепенных постах после того, как потерпели поражение, вплоть до своего исключения из партии. Сегодня, как и вчера, у фракций нет права на существование. Но (во всяком случае,

временно) с враждебными, так называемыми «антипартийными» группировками больше не обращаются как с агентами международного капитализма; фракционеры считаются политическими противниками, жертвами заблуждений, но не предателями.

Решения по-прежнему принимаются на высшем уровне, но, пожалуй, не единолично, а группой. Это называется коллегиальным руководством.

Борьба между преемниками Сталина проходит в типичном стиле большевистской партии второго и третьего этапов, то есть со смесью формальной приверженности принципу большинства и скрытой хитрости. Чтобы нанести поражение какой-либо группе, против нее всякий раз образуют большинство: будь то в Политбюро (как случилось впервые, когда Маленкову пришлось отказаться от ряда своих функций) или в Центральном Комитете, при последнем кризисе, когда Хрущев, не получив большинства в Политбюро, воззвал к Центральному Комитету, где большинством располагал.

Таким образом, власть пока продолжает оставаться на вершине, а не в массах, однако количество тех, кто влияет на принятие решений, увеличилось. Советский Союз вышел из экстремальной фазы, в ходе которой побежденные во фракционной борьбе оказывались под угрозой немедленной гибели.

XIV

Идеология и террор

В предыдущей главе я показал расхождение между конституционными фикциями и действительностью в Советском государстве и в коммунистической партии. Лозунг диктатуры пролетариата служит оправданием для монопольного обладания властью, на которое претендует партия; лозунг демократического централизма служит оправданием и прикрытием всемогуществу нескольких, а то и одного внутри самой партии. Таким образом, если воспользоваться терминами, которыми я описывал конституционно-плюралистические режимы, советский режим по сути своей оли-

гархичен, даже когда уже или еще не является тираническим.

Олигархической сущностью советского режима в какой-то степени объясняется назойливость, с которой коммунистическая пропаганда обличает монополистов. Те, кто живут в СССР, с трудом могут поверить, что за хаотическим фасадом конституционно-плюралистических режимов не скрывается всемогущество маленькой группы людей. Точно так же многие западные демократы убеждены, что Советскому Союзу присущи конфликты, которые составляют суть конституционно-плюралистических режимов. Иными словами, советские люди считают конституционно-плюралистические режимы «монополистическими олигархиями», поскольку хотят найти на Западе то же, что и дома. А сторонники конституционно-плюралистических режимов полагают, будто за фасадом партийной олигархии непременно есть свободное взаимодействие сил и группировок.

Есть еще одна причина, по которой коммунистические правительства твердят о своей приверженности учению, провозглашающему примат экономики. История коммунистической партии и советского режима — прекрасная иллюстрация успешного воздействия нескольких людей на так называемые объективные силы. По этому учению, захват большевиками власти стал символом победы мирового пролетариата. На деле же взятие власти коммунистической партией в 1917 году, изменения, которые претерпел мир под воздействием этой революции, служат подтверждением и официальным признанием роли малочисленных группировок в истории человеческих обществ.

Суть конституционно-плюралистических режимов — перевод на язык государственных институтов идеи народовластия, выражением которого становятся выборы. Избиратели более или менее свободно делегируют своих представителей, которые подчиняются парламентским правилам. При коммунистической олигархии верховная власть передается партии, передовому отряду пролетариата или всего народа. Оба типа режимов одновременно близки и противоположны друг другу. Символ первого — предвыборное соперничество, а второго — мнимые выборы и

приветственные возгласы, закрепляющие согласие между подлинной (или мистической) волей масс и правителей. Соперничество режимов — это еще и соперничество одних и тех же идеологических тезисов на языке различных государственных институтов. Нам всем известно, что подлинное различие между конституционно-плюралистическими режимами и теми, где господствует монополизировавшая власть партия, носит основополагающий, а не второстепенный характер. Оно затрагивает образ жизни, методы правления, форму, которую принимает существование сообщества.

Чем же обусловлено это основополагающее различие?

Первое, что приходит на ум,— это ответ в духе марксизма: коренное различие вызвано экономическим укладом.

Я не стану повторять своего прежнего анализа экономических режимов*. Один способ производства похож на другой: на определенном уровне технического развития изменение режима едва ли может означать перемены в организации заводов. Не может не возрождаться какая-то правовая самостоятельность предприятий. За один только год советским судебным органам пришлось рассматривать около 330 тысяч конфликтов между предприятиями. Советское государство хочет сохранить видимость законности, хотя законы регулируют отношения между предприятиями, в равной степени являющимися государственной собственностью.

Дошло до того, что другая страна — Израиль — предъявила иск советскому объединению по экспорту нефти за то, что оно по приказу правительства прекратило договорные поставки после вторжения Израиля на Синайский полуостров.

Конечно, многие из решений, принимаемых на предприятиях,— всего лишь детализация административных распоряжений Госплана. Но некоторые решения принимают сами директора, а некоторые — результат договоров с другими заводами или фабриками.

---

* *«Восемнадцать лекций об индустриальном обществе».*

С политической точки зрения (и это в моих глазах играет решающую роль) в западных государствах есть множество организаций, независимых от государства, тогда как советские предприятия или тресты хоть и обладают определенной степенью административной и правовой автономии, но обязательно связаны с государством, а значит, подчинены его идеологии.

Разбирая классовые отношения*, я показал, что по образу жизни и уровню потребления советское общество не более однородно, чем западное. Но все профсоюзные или политические организации в СССР зависят от государства. Любая из них пропитана официальной идеологией государства и партии.

Действительно, государство неотделимо от партии, как партия — от своей идеологии, которая, в свою очередь, не может быть оторвана от определенных исторических воззрений. Но эти воззрения отражают не только эволюцию обществ, но и беспощадную борьбу между классами, между добром и злом. Государство, поглощающее все профессиональные и политические организации, по сути своей в непрерывном становлении. Для исторического движения, в которое втянуты одновременно общество и государство, характерны две на первый взгляд противоречащие друг другу черты: в теории оно подчиняется исторической необходимости, на деле же является лишь следствием решений, принимаемых малочисленной группой людей, а то и единолично лидером государства.

Как же сочетается учение об исторической необходимости с исключительной ролью отдельных личностей? Марксистское учение ставит во главу угла примат экономики и сил социума и придерживается такой схемы истории, по которой история, преодолевая любые преграды, идет от капиталистического режима к социалистическому по мере того, как развиваются производительные силы и обостряются противоречия в производственных отношениях.

Подобный взгляд на историю характерен для II Интернационала, и в особенности для немецких социал-демократов, занимавших там господствующую

---

* *«Классовая борьба».*

позицию. Этот взгляд был настолько детерминистским, что некоторые социал-демократы испытывали искушение отдаться на волю объективной диалектики и пассивно дожидаться неизбежной революции. Помнится, еще в 1932 году я слышал в Германии, как один оратор воскликнул: «Мы, социал-демократы, можем ждать, так как мы представляем целый класс, мы однородная партия, диалектика истории на нашей стороне». Несколько дней спустя Гитлер был у власти, и, несмотря на диалектику истории, оратор попал в концлагерь.

III Интернационал порвал с этим объективистским взглядом на ход истории. Ленин и большевики отвергли пассивное смирение перед лицом исторического детерминизма, встав на позицию утверждения своей воли. Когда Ленину приходилось выбирать между буквой учения и необходимыми действиями, он никогда не колебался, принося в жертву учение или, во всяком случае, приспосабливая его к потребностям данного момента и находя оправдание тем поступкам, которые несколькими годами ранее осуждал в теоретических работах. До 1917 года Ленин резко выступал против тех, кто верил в социалистическую революцию в России,— стране, не прошедшей капиталистического пути развития. В 1917 году Ленин захватил власть в России. Отправной точкой революции была идея исторической миссии пролетариата, ставшей отныне исторической миссией партии, которая, в свою очередь, стала воплощением пролетариата. Следовательно, что бы ни делала партия, это соответствует миссии пролетариата и законам истории. Объективно же партия в Советском Союзе главным образом творит произвол. Марксистская теория не уточняла, каким будет государство в переходный период от капитализма к социализму. Идеи «Капитала» еще оказывали влияние на руководство экономикой, но военный коммунизм, нэп, пятилетние планы стали ответами большевиков на неожиданные обстоятельства. Так возникло основное противоречие: учение ссылается на исторический детерминизм, а практика оставляет право на решение кучке людей или даже одному человеку. Следствием такого волюнтаризма стало преображение самой марксистской идеологии.

Марксистское учение допускает много толкований. В советском марксизме содержатся элементы, о которых Маркс никогда не помышлял. Учение интерпретируется шире или у́же в зависимости от обстоятельств.

Шире — когда провозглашается ортодоксальность в области живописи, музыки, гуманитарных наук, истории и, в конце концов, даже биологии. Идеологические указы о живописи или о музыке не имеют ничего общего с высказываниями Маркса и Энгельса, которые выражали свои личные пристрастия, а не точку зрения пророков социализма. Маркс и Энгельс настаивали на том, что существует связь между общественной средой и искусством (с чем согласится каждый, марксист он или нет), но никогда не говорили, какими должны быть музыка или живопись при социализме. Формализм в музыке объявлен буржуазным и реакционным пережитком в силу различных обстоятельств, подробно разбирать которые у меня нет времени. Абстрактную живопись тоже долго считали выражением буржуазного декаданса. Кстати, негативно относились к абстрактной живописи и национал-социалисты.

Ортодоксальность в области гуманитарных наук необходима Советскому государству. Оно положило в основу идеологии определенную трактовку истории и общества, и мы, социологи, могли бы гордиться тем, что отныне социология стала религией для трети человечества. Но надо помнить, что важнейшая характерная черта режима, при котором социология сливается с официальной государственной идеологией,— подчинение государству и его идеологии. Но и здесь остается какая-то возможность маневрировать — то больше, то меньше.

В XIX веке царская Россия осуществила ряд завоеваний. В рамках официального учения эти завоевания могли получить двоякое истолкование. Либо захват Средней Азии был проявлением царского империализма, который так же достоин осуждения, как и империализм западный (такая оценка была принята в первые годы большевистского режима), либо же завоевание Средней Азии, даже если это было империалистической политикой, имело и прогрессивное значение, раз уж армия оказалась проводником более

развитой цивилизации, а великорусскому народу было суждено стать творцом спасительной революции. Все, что способствовало включению какого-то народа в состав социалистического государства, объявлялось прогрессивным. Между осуждением царского империализма и восхвалением его прогрессивных действий находится целый спектр полутонов. Официальная трактовка постоянно колебалась между этими двумя крайностями. Для отдельного человека единственной постоянной обязанностью было не ошибиться, не отстать от официальной трактовки и не опередить ее.

Крайней формой такого расширительного толкования марксизма стал ортодоксальный подход к любой естественно-научной дисциплине. Впрочем, здравый смысл подсказывает, что в этой области заходить слишком далеко не следует: ведь ортодоксальность неблагоприятно сказывается на развитии науки. Естествознание слишком полезно для государства, для его могущества, чтобы осмелиться тормозить его развитие. Однако на последней стадии сталинского режима началось осуждение менделизма, который был объявлен противоречащим социалистической истине. Нашлись хитроумные толкователи, сумевшие обосновать это, ведь теория однородного общества всячески преуменьшает значение врожденных различий между отдельными людьми. Цель нападок, обрушившихся на генетику при Сталине,— отрицание наследственной передачи приобретенных признаков и утверждение относительной устойчивости генофонда.

Интерпретация марксизма может быть у́же или шире, но основные положения не меняются. Можно сохранять в силе общие принципы исторической эволюции от капитализма к социализму и роли партии и давать конкретному событию прошлого противоположное истолкование. Но развитие теории привело, в частности, к постепенному признанию роли отдельных лиц, хоть ранее в трактовке исторических событий господствовал детерминизм. Усилиями советских теоретиков советская история все меньше напоминает историю производительных сил и все больше — историю самой партии. Священная история, история революции — это история партии большевиков, столкновений внутри нее и даже история партий-спутников.

Я был знаком с одним французом, который несколько лет был в Северной Корее в плену. Ему пришлось пройти через «перевоспитание». Прежде всего его поразило то, какое важное место в советской воспитательной системе занимает история коммунистических партий, со всеми их межфракционными трениями. Этот французский журналист узнал о никому неведомых деятелях болгарской, например, или румынской коммунистических партий, об их ошибках или достижениях в период между 1917 и 1945 годами.

В Советском Союзе свобода обсуждения и право на толкование истории также меняется в зависимости от времени. Одна из главных проблем исследователя — определить, благословляет ли теория те или иные методы советского режима.

Возьмем два примера. Во времена Сталина, да и ныне, двадцатипятипроцентная норма накоплений считалась неотъемлемой частью официального учения. Сомнения по этому поводу возникли только несколько лет назад, при Маленкове. Другим официальным институтом были МТС. Им принадлежали трактора, которые за плату предоставляли колхозам. Неоднократно ставили вопрос о том, чтобы продать колхозам технику. В своей последней работе Сталин заявил, что такое предложение — контрреволюционно, ибо означает шаг назад в развитии социалистического хозяйства. Несколько недель назад Хрущев постановил, что МТС утратили свое значение и что отныне трактора будут собственностью колхозов, которым предоставляется полная свобода их приобретения. Проблема перестала быть частью догмы и превратилась в вопрос простой целесообразности.

Возникает искушение повернуть на 180 градусов мысль, которую я пытался внушить вам до сих пор, мысль о связи идеологии с партией, и заявить, что в конце концов идеология — лишь орудие управления. Возникает искушение применить к советскому режиму марксистские интерпретационные методы. Что предлагает нам Маркс? Верить, будто буржуазия пользуется возвышенными словами, чтобы замаскировать гнусную эксплуатацию народа. Если приложить марксистский метод к советскому режиму, получается, что партия или кучка людей, руководящая

ею, пользуются любым тезисом для сохранения власти и создания такого общества, где за ними бы оставалась ведущая роль.

Марксистская идеология наверняка представляет собой орудие управления, точно так же, как демократическая идеология в конституционно-плюралистических режимах. Но было бы ошибкой считать, что теория — всего лишь орудие в руках власти, и советские правители не верят собственному учению. Большевики — не оппортунисты, использующие любую идею для укрепления своего могущества. Они способны сочетать фанатизм в теории с необыкновенной гибкостью в тактике и практике.

Только партия имеет право на политическую деятельность, а потому и господствует в государстве и навязывает всем свою идеологию. Используя государственные институты, она оставляет за собой право на монопольное распоряжение средствами силового воздействия, гласности и пропаганды. Идеология — не самоцель и не единственно возможное средство. Существует вечное взаимодействие (или некая диалектика): то идеология используется для достижения какой-то цели, то используется сила ради формирования общества в соответствии с требованиями идеологии.

Одним из самых поразительных последствий такого идеологического режима становится террор. Для того чтобы уяснить себе некоторые аспекты режима, где лишь одна партия обладает властью, следует рассмотреть террор как явление. В течение долгого времени оно озадачивало весь мир, оказывая на иностранцев одновременно притягательное и отталкивающее воздействие.

Формально в советском режиме различаются три вида террора.

Он может быть законным, упорядоченным. Действия, признаваемые советским уголовным кодексом преступными, не считались бы таковыми в конституционно-плюралистических режимах. Для советской уголовной практики важнее не допустить безнаказанности виновного, нежели избежать осуждения невинного. Например, подготовка к преступным действиям квалифицируется как преступление, даже если их осуществление и не начиналось. Формулировка

«контрреволюционная деятельность» достаточно широка и расплывчата и поддается самым различным толкованиям. Равным образом «общественно опасное деяние» может толковаться судами весьма расширительно. Наконец в ход идет пресловутый принцип аналогии, который сводится примерно к следующему: если к какому-то деянию не применима ни одна статья кодекса и оно поэтому не может считаться преступным, суды имеют право выносить обвинительный приговор, если это деяние так или иначе похоже на то, которое было некогда сочтено преступным.

Эта репрессивность на основе закона — не главный аспект террора как явления. Начиная с 1934 года, в советском Уголовном кодексе фигурировали статьи, ныне, возможно, отмененные: они давали тайной полиции или министерству внутренних дел (что одно и то же) право арестовывать «социально опасных» и «контрреволюционеров», приговаривая их к долгим срокам пребывания в концлагере, причем не подлежащий обжалованию приговор мог быть вынесен и в отсутствие обвиняемого, и в отсутствие защитника.

Вторым, еще более устрашающим аспектом террора были административные суды. Юридический документ 1937 года в случае контрреволюционной деятельности предусматривает вынесение обвинительного приговора по сокращенной судебной процедуре: все должно быть завершено в несколько дней, без предоставления подсудимому каких бы то ни было возможностей защиты и права на обжалование приговора. Однако даже такое законодательство еще не могло неизбежно привести к сталинскому террору.

Третий вид террора, отличный от двух первых,— депортация целых народов. Во избежание обвинений в пристрастности я зачитаю вам несколько строк из доклада Хрущева о феномене перемещения народов:

«...Уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечественной войны определился прочный перелом в ходе войны в пользу Советского Союза, было принято и осуществлено решение о выселении с занимаемой территории всех карачаевцев. В этот же период, в конце декабря 1943 года, точно такая же участь постигла все население Калмыцкой автономной республики. В марте 1944 года выселены были со своих родных мест все чеченцы и ингуши, а Чечено-

Ингушская автономная республика ликвидирована. В апреле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской автономной республики выселены были в отдаленные места все балкарцы, а сама республика переименована в Кабардинскую автономную республику. Украинцы избежали этой участи потому, что их слишком много и некуда было выслать. А то он бы и их выселил».

Украинцев — более 40 миллионов.

Это — необыкновенный текст: он показывает, что самые бредовые фантазии, содержащиеся в пьесе, ныне идущей на сцене Народного Национального Театра**, могут воплотиться в реальной жизни. Этот текст подтверждает уже известное за пределами страны: крупномасштабную практику перемещения целых народностей. Такие же операции были проделаны на оккупированных русской армией территориях Польши в 1939—1940 годах: численность депортированных в ту пору оценивается в полтора миллиона.

Помимо формальной классификации, мне представляется необходимым произвести конкретную или материальную классификацию трех разновидностей террора.

Первую форму террора я назвал бы, так сказать, *нормальной,* она повторяет опыт французской революции. Это — террор одной партии или фракции против враждебных ей партий или фракций. Он представляет собой одну из форм гражданской войны. В революционные эпохи группировка, завладевшая властью, опасается, что ее царствование недолговечно, и повсюду видит врагов. Правители не обязательно заблуждаются, так как власть группы — новое явление, а численность противников, надеющихся на радикальные перемены, должна быть значительной.

Первая разновидность террора наблюдалась в период гражданской войны 1917—1921 годов. Это время, когда лидеров и рядовых членов соперничающих с большевиками социалистических партий — эсеров

---

* *Цитирую по книге А. Росси «Анатомия сталинизма». Париж, 1957, с. 119.*

** *«Убю-король» Альфреда Жарри.*

и меньшевиков — устраняли, бросали в тюрьмы. Тогда представители прежних привилегированных классов боролись с победившими большевиками. Пожалуй, ни одна великая революция не обошлась без подобных явлений. Террор осуществляли Кромвель, Робеспьер, Ленин. История повторяется.

Вторая разновидность террора относится к началу коллективизации в 1929—1930 годах. Ее цель — устранение тех, кого называли классовыми врагами, главным образом — кулаков. Террор и в данном случае, законен он или нет, объясним с точки зрения логики. Как только было принято решение о коллективизации в сельском хозяйстве, кулаки стали непримиримыми врагами Советского государства: крестьяне забили по меньшей мере половину поголовья скота. Высылка сотен тысяч кулаков означала, таким образом, форму борьбы с настоящими, а не воображаемыми врагами режима. Правомерно полагать, что какие-то иные методы оказались бы предпочтительнее. В своей речи Хрущев дал понять, что коллективизация сельского хозяйства могла быть осуществлена с меньшими жертвами. Но это — соображения экономического и ретроспективного характера. Если же согласиться с тем, что цель политики по отношению к деревне — это коллективизация, то террор получает логическое объяснение, хотя и не может быть прощен.

Третья разновидность террора, также осужденная Хрущевым,— это репрессии, направленные уже не против политических или классовых противников, а против несогласных, диссидентов внутри самой коммунистической партии, реальных или воображаемых. Я вновь цитирую Хрущева, чтобы дать представление о том, какого размаха достиг террор, обрушившийся на членов партии:

«Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 80 процентов состава участников XVII съезда с правом решающего голоса вступили в партию в годы революционного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года включительно. По социальному положению основную массу делегатов съезда составляли рабочие (60 процентов делегатов с правом решающего голоса).

Поэтому совершенно немыслимо, чтобы съезд такого состава избрал Центральный Комитет, в котором

большинство оказалось бы врагами партии. Только в результате того, что честные коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допущены чудовищные нарушения революционной законности, 70 процентов членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом, были объявлены врагами партии и народа.

*Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим или совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины — 1108 человек»**.

70% членов Центрального Комитета и 50—60% всех делегатов съезда коммунистической партии. Вот он, третий аспект террора, самый поразительный, самый нелепый. Все происходило так, как если бы с 1917 по 1938 год революционный террор не только не ослабевал, но, напротив, усиливался по мере стабилизации режима.

Террор усиливался прежде всего во время второй советской революции, то есть коллективизации, а затем — начиная с 1934 года, когда были устранены почти все ветераны коммунистической партии. Террор породил два явления, сыгравших важную роль в спорах о советском режиме: с одной стороны, концлагеря, а с другой — пресловутые московские процессы. Я не буду останавливаться на концлагерях и скажу несколько слов о московских процессах, так как они стали кульминацией, наиболее ярким проявлением идеологического террора в рамках этого необыкновенного режима.

Подсудимые сами обвиняли себя в преступлениях, которые, как нам говорят сегодня, вовсе не совершали, да и по мнению любого здравомыслящего человека совершить не могли. Тут возникает ряд вопросов, которые необходимо строго разграничить. Прежде всего, что сделало подобные признания неизбежными; затем вопрос о *психологии обвиняемых и обвинителей*. Наконец, вопрос о функции процессов и чистках.

Логика признаний. Ответ прост: достаточно довести до логического завершения тезис «кто не со мной,

* *А. Росси, цит. соч., с. 82.*

тот против меня», добавив, что Центральный Комитет или Политбюро коммунистической партии это и есть коммунистическая партия, которая и есть пролетариат, который в свою очередь — смысл истории. Стало быть, любой, кто не с Центральным Комитетом,— враг священной миссии пролетариата, то есть виновен в величайшем преступлении и заслуживает самой суровой кары. Во все революционные эпохи несогласных считают преступниками или предателями. И незачем особенно напрягать воображение: за последние двадцать лет слово «предатель» широко применялось во Франции для обозначения тех или иных групп общества в зависимости от обстоятельств, причем изменение оценок на противоположные может служить иллюстрацией скоротечности событий и относительности суждений.

Система признаний сводится примерно к следующему: несогласный с Центральным Комитетом или Генеральным секретарем коммунистической партии *ведет себя* как враг коммунизма. Поскольку решено намерения во внимание не принимать и судить только за деяния, можно считать, что оказавшийся в оппозиции ослабляет Центральный Комитет, а значит, и пролетариат. Он ведет себя как враг, значит,— как предатель, и раз не принимаются во внимание его намерения, какими бы они ни были, *объективно* его следует считать предателем. Чтобы массы уяснили, что нет разницы между формулировками «вести себя, как предатель» и «быть предателем», им надо сообщить, что Зиновьев, Каменев, Бухарин или Троцкий были связаны с гестапо. Теперь цель достигнута.

В своей речи Хрущев выразил примерно то же, что я пытаюсь разъяснить вам. Он сказал: *«Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин... давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным... подвергнуть самым жестоким репрессиям»**.

Второй вопрос — о психологии обвиняемых. Тут возможны три ответа, и к ним, несмотря на тонны изведенных чернил, все в конце концов и сводится.

Первый ответ, наиболее удовлетворительный в глазах идеалистов,— преданность партии. У партийца — угрызения совести либо потому, что он побеж-

---

* *А. Росси, цит. соч., с. 70.*

ден во фракционной борьбе, либо потому, что признает правоту победителя. Чувствуя, что жизнь на исходе, он хочет придать некий смысл тем немногим дням, которые остались. Для укрепления партии, которой угрожает иностранная агрессия, партиец принимает решение выступить с торжественным заявлением о правоте Центрального Комитета или Политбюро и о своей вине.

Объяснение преданностью партии часто порождало сравнение с японскими камикадзе. Это были летчики, вылетавшие на единственное боевое задание, с которого им не суждено было вернуться, так как своим самолетом они врезались в палубу военного корабля противника. Точно так же партийцы, сами себя во всеуслышание обвинявшие и обрекавшие на бесчестие, по сути, шли до конца в служении великому делу. Они унижали себя, чтобы возвысить своего победителя, раз уж именно он олицетворял партию и пролетариат.

Второе объяснение, не столь торжественное,— тайный сговор между полицией и обвиняемыми, которым якобы обещали сохранить жизнь в обмен на официальное признание. Судя по имеющимся сведениям, обвиняемые казнены, и большинству была известна участь их предшественников. Вероятно, они хотели спасти даже не свою жизнь, а жизнь родных и близких.

Не исключено, что такие соглашения действительно имели место.

Третья и, пожалуй, простейшая версия — пытки. Я еще раз приведу слова Хрущева, потому что они представляются мне самыми толковыми среди тех, что были написаны по данному поводу:

«Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это «враг народа». А банда Берия, хозяйничавшая в органах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать виновность арестованных лиц, правильность сфабрикованных ими материалов. А какие доказательства пускались в ход? Признания арестованных. И следователи добывали эти «признания». Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним способом — применением физических методов

воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания».*

Скорее всего, третья версия ближе к истине, хотя и не исключает полностью двух предыдущих.

Странной была психология обвинителей. Следователи знали, что признания полностью выдуманы. Они не могли верить тому, что внешне принимали всерьез. Признававшиеся знали, что следователи не верят им. Тот, кто взял на себя функции режиссера московских процессов, не мог не знать, что именно он сам приказал создать этот неправдоподобный мир. Однако могущество государства и полиции привело к тому, что все удивлялись подлинности этого фиктивного мира. Полностью никто не был введен в заблуждение, но мало у кого хватало мужества сказать по-английски «nonsense» — «бессмыслица», и по-французски — «ложь! ложь! ложь!».

И что еще удивительнее, этот окрашенный смертью мир не просто омерзителен или гнусен. В нем было нечто притягательное. Он оказывал гипнотическое воздействие, потому что все имело там определенное значение, ничто не происходило по воле случая. Глубинные силы истории вступали во взаимодействие с классовыми конфликтами и заговорами отдельных лиц. Гегелевская диалектика порождала полицейский кошмар, и каждый пытался разобраться в причинах того, что творилось в этом трагическом балагане. Никто не осмеливался сказать так, как много позже говорил Хрущев: Генеральный секретарь в результате своей крайней мнительности и подозрительности даже в маршале Ворошилове видел английского агента.

XV

О тоталитаризме

В конце предыдущей главы мы проанализировали одно из самых тягостных в своей загадочности явлений советского режима: периодически возникавшее идеологическое неистовство в сочетании с полицей-

* *А. Росси, цит. соч., с. 10.*

ским террором. Два периода, когда это проявилось, так сказать, в наиболее совершенном виде,— 1934—1938 и 1949—1952 годы. Теперь, благодаря самому Хрущеву, известно, что за год до смерти Сталин готовил огромную чистку, сопоставимую, возможно, с той, что прошла в 1936—1937 годах. Было бы несправедливо судить о всем советском режиме и его лидерах только на основе этого полицейского террора, но мне кажется, что он имеет несомненное значение.

Секретный доклад Хрущева похож на странную иллюстрацию теории Монтескье о деспотизме: согласно этой теории, принцип, на котором зиждется деспотизм — страх, незаметно завладевающий всеми в данном обществе,— всеми, кроме одного. Хрущев сам спрашивает: «Почему же мы ничего не сделали?» И отвечает, искренне и простодушно, что ничего поделать было нельзя. Когда верховный владыка тебя вызывал, никогда не было известно, хочет ли он с тобой посоветоваться или отправить тебя в тюрьму. Этот всеобщий страх получил распространение в режиме, порожденном благороднейшими из устремлений человечества.

Если бы такой террор был революционным, он казался бы вполне обычным делом, но он обрушился не только на подлинных или возможных противников, но и на тех, кто был верен режиму, лет через двадцать после взятия большевиками власти. Наконец, террор церемонно прикрывался саморазоблачениями обвиняемых, что было за пределами всякой логики, поскольку так или иначе позорило весь режим. В самом деле, уж если понимать буквально признания бывших соратников Ленина или обвинения против генералов Красной Армии, пришлось бы поверить, что государством управляли именно те, кто против него же устраивал заговоры и предавал его иностранным державам. Совокупность обвинений, которые тем самым навлекал на себя режим, была чудовищной. Если же эти признания считать ложными, то как оценивать режим, вынуждавший обвиняемых так оговаривать себя? Наконец, нельзя не задаться вопросом: где же реальность? Где идеология? Во что же верят высший вождь, вожди рангом поменьше и массы? Один-единственный лидер определял судьбы всех, покрывал

славой или обрекал на позор, объявлял тех, кто служил режиму, верными подданными или предателями. Но раз он распоряжался жизнью и смертью каждого, то не мог же он сам верить в нежизнь, которую прочих заставлял принимать за жизнь, да и они едва ли с большим доверием относились к этому бреду. В итоге получался странный мир, где смысл имело любое отдельное событие, но все в целом было совершенно бессмысленным.

Теперь, пожалуй, возникает искушение отбросить идеологию как шелуху и сделать вывод: если что и было подлинным — так это деспотизм, возможно, даже деспотизм одного лидера, а прочее сводилось к маскировке, которая никого не могла ввести в заблуждение.

Мне кажется, что даже в таком крайнем случае было бы неверно игнорировать идеологию. Дело в том, что патологические проявления деспотизма немыслимы вне рамок идеологического неистовства, даже если оно внушает большинству больше неверия, чем веры.

Что представляет собой феномен тоталитаризма? Как и все социальные явления, он, в зависимости от точки зрения наблюдателя, может получить много различных определений. Вот какими мне видятся пять его основных признаков:

1. Тоталитаризм возникает в режиме, предоставляющем какой-то одной партии монопольное право на политическую деятельность.

2. Эта партия имеет на вооружении (или в качестве знамени) идеологию, которой она придает статус единственного авторитета, а в дальнейшем — и официальной государственной истины.

3. Для распространения официальной истины государство наделяет себя исключительным правом на силовое воздействие и на средства убеждения. Государство и его представители руководят всеми средствами массовой информации — радио, телевидением, печатью.

4. Большинство видов экономической и профессиональной деятельности находится в подчинении государства и становится его частью. Поскольку государство неотделимо от своей идеологии, то почти на

все виды деятельности накладывает свой отпечаток официальная истина.

5. В связи с тем, что любая деятельность стала государственной и подчиненной идеологии, любое прегрешение в хозяйственной или профессиональной сфере сразу же превращается в прегрешение идеологическое. Результат — политизация, идеологизация всех возможных прегрешений отдельного человека и, как заключительный аккорд, террор, одновременно полицейский и идеологический.

Определяя тоталитаризм, можно, разумеется, считать главным исключительное положение партии, или огосударствливание хозяйственной деятельности, или идеологический террор. Но само явление получает законченный вид только тогда, когда все эти черты объединены и полностью выражены.

Все пять перечисленных признаков были взаимосвязаны в 1934—1938 годах; так же обстояло дело и в 1948—1952 годах. Понятно, каким образом осуществлялась взаимосвязь. В советском режиме исключительное положение партии и идеологии связано с самой сутью большевизма, его революционной устремленностью. Централизация средств силового воздействия и средств убеждения связана с идеей исключительного положения партии в государстве. Огосударствливание хозяйственной деятельности есть прямое выражение коммунистического учения. Связи между перечисленными признаками легко видны. Что касается завершения — идеологического террора, он становится логичным как раз благодаря исключительному положению партии, идеологии, средств убеждения и огосударствливанию видов индивидуальной деятельности.

Было бы неправомерным отождествлять *понятность* и *необходимость* такого сочетания. Эти признаки объединены, однако их связь еще не обязательно постоянна, а режим с партией, монополизировавшей власть, не всегда приводит к крайней разновидности террора. Надлежит поставить три основных вопроса:

1. Насколько тоталитаризм как историческое явление неповторим?

2. Насколько советский тоталитаризм сопоставим с аналогичными явлениями в других режимах, например в национал-социализме?

3. Обречен ли однопартийный режим или режим тотального планирования на тоталитаризацию?

Начнем с последнего вопроса.

В XX веке есть авторитарные режимы, но не однопартийные, и есть однопартийные режимы, не ставшие тоталитарными, не занимающиеся распространением официальной идеологии, не стремящиеся охватить своей идеологией все виды деятельности. Есть однопартийные режимы, где государство не поглощает общество, а идеология не имеет патологического размаха, характерного для советского режима. Верно, что любой однопартийный режим в индустриальных обществах *чреват расцветом* тоталитаризма. В индустриальных обществах цивилизованные нравы: правители должны обращаться к управляемым и оправдывать свою власть. Они не ссылаются на традиционную легитимность, у них нет таких обоснований собственной власти, которые не могли бы стать предметом дискуссий, они обязаны разъяснять, почему и во имя чего повелевают. Но любой управляемый в условиях однопартийного режима вынужден прекращать обсуждение, когда оно доходит до определенной точки, я бы сказал — до той точки, когда обсуждение становится интересным. Можно обсуждать многие вопросы, но не вопрос о том, почему отсутствует право объединяться в иные партии, помимо единственной. Соответственно у руководителей единственной партии неизбежно возникает искушение оправдать свое исключительное положение. Для этого достаточно любой идеологии (люди никогда не проявляют чрезмерной придирчивости к качеству идеологических систем), но она должна быть разработанной, навязанной, проникающей всюду.

Тем не менее однопартийный режим в фашистской Италии никогда не отличался избыточной идеологичностью и тоталитарностью, которые могли бы сравниться с великой чисткой в СССР и крайностями гитлеризма последних лет. Когда применительно к обоим случаям говорят о тоталитаризме, то главным явлением, первопричиной оказывается, на мой взгляд, сама революционная партия. Режимы стали тоталитарными не в силу какого-то постепенного развития, а на основе первоначального стремления коренным образом преобразовать существующий порядок в соот-

ветствии со своей идеологией. У революционных партий есть общие черты, которые приводят к тоталитаризму,— масштабность устремлений, радикальность позиций и выбор самых крайних средств.

Можно ли сказать, что эти проявления сходства дают возможность сблизить оба воплощения тоталитаризма?

Приводились две противоречащие друг другу системы аргументов. Одна отрицает, другая же утверждает родство обоих режимов. В большинстве случаев обе системы представляются мне неудовлетворительными или, по крайней мере, неубедительными.

Каковы доводы тех, кто отрицает родство обоих воплощений тоталитаризма?

Во-первых, разные источники пополнения рядов коммунистической и национал-социалистской партий. В Германии социальные базы партий и в самом деле различны: хотя многие рабочие голосовали за национал-социалистскую партию, подавляющее большинство промышленных рабочих отдавали свои голоса социалистической или коммунистической партиям.

Необходима, впрочем, одна оговорка. В годы, предшествовавшие взятию власти Гитлером, немцы довольно часто переходили из партии в партию. Психологический темперамент активистов не обязательно различался, даже если их социальное происхождение не совпадало.

Но главное не в этом. Допустим, что слои, откуда шло пополнение партий, не одинаковы. Главное — установить, могут ли сходные феномены происходить на основе разных классов? Различия в социальных базах партий еще не дают ответа на поставленный вопрос. Те, кто настаивает на родственности режимов, говорят, что, невзирая на различия в социальном происхождении активистов, обе партии, придя к власти, обнаруживают многочисленные черты сходства в том, как они свою власть реализуют.

Во-вторых, утверждается, что национал-социализм и капитализм изначально заодно, так как национал-социализм — режим, созданный капиталистами или монополистами для сохранения своей власти.

Довод несостоятелен и противоречит истинному положению дел. Правда, в догитлеровской Германии

многие капиталисты-промышленники и банкиры оказывали денежную поддержку национал-социалистской партии. Им казалось, что этой партией они смогут вертеть по своему усмотрению. Они видели в ней возможность защититься от социалистической или коммунистической революции. Но, став тоталитарным, режим вышел из-под контроля и из услужения монополистов. Промышленники, банкиры, представители прежних правящих классов на последнем этапе гитлеризма находились преимущественно в оппозиции. После июля 1944 года* они стали жертвами чистки, по своей природе отличавшейся от советских чисток, но достаточно серьезной, чтобы доказать: курс пришедшей к власти гитлеровской партии не стал выражением воли класса капиталистов.

Третий довод таков: коммунисты и фашисты ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть. Он опять-таки неоспорим. Но ведь братоубийственные распри — дело обычное. По-прежнему остается нерешенным вопрос: насколько тоталитарность как явление присуща обеим партиям после того, как они приходят к власти?

Этим партиям, несмотря на бесконечные раздоры, случалось признавать родство между собой. Риббентроп, прибыв в Москву в 1939 году, говорил о встрече двух революций, а Сталин ответил любезностью на любезность, подняв тост за здоровье канцлера Гитлера, которого так любит немецкий народ. Подобные высказывания доказывают лишь, что обе стороны в одинаковой мере умеют пользоваться любой стилистикой.

Четвертый довод — того же порядка, что и первые три: изначальная несовместимость идеологий. Я не ставлю под сомнение его истинность, но вопрос опять-таки остается открытым. Согласно коммунистической идеологии, фашизм воплощает все самое скверное в истории и самое низкое в человеческой природе. Согласно фашистской идеологии, коммунизм — зло в чистом виде, абсолютный враг. Но если одна идеология выглядит универсалистской и гуманной, а другая — националистской, расистской и ни в коей мере

---

* Имеется в виду заговор против Гитлера, организованный группой офицеров.

не гуманной, это вовсе не доказывает, что партии не прибегают во имя противоположных идей к аналогичным методам. Ссылаться на диаметральную противоположность идей при анализе сходства или несходства методов — значит удаляться от поставленной проблемы. Те, кто настаивает на родстве партий, как раз и хотят показать, что идеологии или благородные устремления немного значат на весах истории, и люди подчиняются побуждениям, не зависящим от идеологий. Ответить, что глубокого родства быть не может, поскольку идеологии диаметрально противоположны,— значит считать заранее решенной обсуждаемую проблему — могут ли идеологии оказывать определяющее влияние на методы.

Из любви к истине добавлю, что по большей части доводы в пользу родства обеих разновидностей тоталитаризма меня не убеждают, хотя я не согласен и с доводами противоположной стороны.

Отдельные проявления тоталитаризма повторяются в какие-то периоды истории советского режима и режима национал-социалистского. Однопартийность, официальная идеология, абсолютная власть Верховного Правителя, вездесущая полиция, идеология, которая мало-помалу пропитывает все виды деятельности, полицейский террор — это и в самом деле было как в национал-социалистической Германии, так и в Советской России. Крайняя форма нацистского режима проявилась во время войны, когда прошли годы после взятия власти,— да и в Советском Союзе крайний террор воцарился через двадцать лет после взятия власти, а не сразу же.

Другой довод в пользу родства обеих разновидностей тоталитаризма я уже отверг. Речь шла об исключительной роли власти, о том, что идеи не имеют никакого значения. Но ссылки на несовместимость идеологий и на неверие коммунистов в общечеловеческие и гуманистические ценности я отказываюсь принимать в качестве решающих доводов.

Наиболее убедительное обоснование родства обеих разновидностей тоталитаризма содержится в книге «Происхождение тоталитаризма». Ее автор Ханна Арендт в основном сравнивает Советскую Россию 1934—1937 годов и гитлеровскую Германию 1941—1945 годов. Но было бы несправедливо ставить на

одну доску сравнение этих двух периодов и двух типов террора — и режимов в целом.

Различия и родство двух разновидностей тоталитаризма неоспоримы. Черты сходства слишком заметны, чтобы усматривать в них чистую случайность. С другой стороны, различия в идеях и целях слишком очевидны, чтобы принять мысль о коренном родстве режимов. Родство или противоположность могут выступать более ярко в зависимости от многих соображений. Однозначный ответ получить никогда не удастся, поскольку национал-социалистский режим не имел столько времени для развития, сколько советский, история которого охватывает множество этапов. Национал-социалистскому режиму было отпущено всего лишь шесть лет мирной жизни. В 1939 году государство ввязалось в военную авантюру, определившую его дальнейшую судьбу.

Нельзя довольствоваться сравнительным социологическим анализом, если хочешь уяснить относительные масштабы родства и противоположности; следует принимать во внимание и два других метода: историю и идеологию.

Как известно, с исторической точки зрения советский режим порожден революционной волей, вдохновляемой гуманистическим идеалом. Цель заключалась в создании самого гуманного общества, которое когда-либо знала история, где больше не было бы классов, а однородность общества способствовала бы взаимному сближению граждан. Но при движении к абсолютной цели режим не стеснялся в средствах, ведь, согласно учению, только насилие могло привести к безупречно положительному обществу, и пролетариат вел против капитализма беспощадную войну.

Сочетание возвышенной цели и безжалостных средств обусловило разнообразие этапов развития советского общества. Первый этап — банальный: гражданская война и политический террор, сопутствующий гражданской войне. Следующий этап: террор смягчается, какое-то место в обществе отводится частной инициативе — нэп. В 1929 году начинается третий этап: новая революция в точном смысле слова (то есть коренное преобразование общественных структур), осуществляемая государством сверху. Через десять лет после своей победы режим пред-

принимает следующую революцию, которая в каком-то смысле (если верить свидетельствам самих вождей) стала еще более яростной и еще более мучительной, нежели первая. Вторая революция — коллективизация сельского хозяйства — сопровождалась, по словам Хрущева, новыми проявлениями террора, который нынешний Генеральный секретарь не подвергает осуждению. В своем знаменитом докладе Хрущев ограничивается тем, что заявляет, будто эту революцию можно было б совершить ценой меньших жертв. Он приемлет террор против землевладельцев, крестьян и кулаков, отвергавших коллективизацию, приемлет террор против врагов партии.

По-прежнему удивляет, почему, начиная с 1936 года, бушует великая чистка, новый этап террора? Ведь аграрная революция победила и режиму более ничто не угрожает! Найти истолкование советскому террору сложно потому, что непонятно, зачем чистки, когда сражение уже выиграно? Этот вопрос задают не только специалисты на Западе, но и сам Хрущев. Начало культа личности, полагает он,— террор 1934—1938 годов, обращенный против членов партии. Целью террора вначале было уничтожение уже побежденных противников Сталина, что сам Хрущев считает лишним. Затем репрессии обрушились на самых верных сталинцев. Но для чего нужен террор именно против тех членов коммунистической партии, которые никогда не были уклонистами?

Культ личности — вот единственный ответ, предлагаемый Хрущевым в данном случае. Однако это по меньшей мере ничего не дает. Как сказал весьма известный марксист Тольятти, Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии, ссылки на культ личности — не марксистское объяснение. Утверждать, что столь значительные явления — результат действий одного человека, значит прибегать к аргументации, которую само учение отвергает в принципе.

Изучая методы коммунистической партии, понимаешь не саму великую чистку, террор против членов партии, а *ее возможность*. Когда партия присваивает право на насилие против всех своих врагов в стране, где в данный момент она находится в меньшинстве,

она обрекает себя на длительное применение насилия.

В теории партия демократична, но демократический централизм заключается в том, чтобы передать власть штабу, который использует выборы в своих интересах, обеспечивая назначение избирателей самими избираемыми. Потому вполне понятно, что в такой системе находится лидер, готовый пойти до конца, и что хозяином всей партии становится он один, а не олигархия. В этом Хрущев согласен с западными социологами: начиная с определенного момента, демократический централизм перерождается в абсолютную власть одного. Суть такого феномена кажется мне очевидной, его удивительным образом предвидел Троцкий. Когда в 1903 году Ленин в своей работе «Что делать?» впервые развил теорию демократического централизма, Троцкий возразил ему примерно так: вы собираетесь поставить партию на место пролетариата, затем Центральный Комитет на место партии, а в итоге Генерального секретаря — на место Центрального Комитета, и во имя пролетариата вы придете к единоличной власти. Сам Троцкий так полностью и не осознал справедливости собственного предвидения.

Иными словами, явления, названные «культом личности», стали возможны благодаря не только странностям одного лидера, но и методам организации, действиям целой партии.

Как же произошел переход от потенциального к реальному? Почему стали возможны чистки? Что их обусловило, какие ставились цели?

Есть множество разных объяснений. Они содержатся в превосходной маленькой книге «Чистка в России»*. Ее авторы — швейцарский физик и русский историк, встретившиеся в тюремной камере в пору великой чистки 1936—1937 годов. Там они обсуждали причины своих несчастий. Эти двое, теперь уже покинувшие Россию, рассказывают, что в 1936—1937 годах любимой темой разговоров заключенных была сама великая чистка. Из этих разговоров они почерпнули семнадцать теорий. Я избавлю вас от пере-

---

* *F. Beck et W Godin. Russian purge and the extraction of confésson. New York, 1951.*

числения их, указав лишь на основные функции, приписываемые великой чистке там, где в СССР только и была полная свобода слова, то есть в тюрьмах.

Согласно первой теории, главная причина — внутрипартийная борьба. В партии, после того как она пришла к власти, продолжается политическая борьба, сопоставимая с той, которая присуща всем партиям, с их группировками, фракциями, соперничеством и оппозицией. Фракция, одержавшая в конце концов победу, хочет закрепить ее, устранив группы, потерпевшие поражение.

Вторая теория основывается на стремлении носителей власти к ортодоксальности. В идеологическом режиме те, в чьих руках бразды правления, хотят устранить не только реальных, но и потенциальных врагов партии и режима. Все, кто теоретически могут в каких-то обстоятельствах выступить против режима, объявляются врагами. «Осколки прошлого», все, сохраняющие связи с внешним миром, например, евреи, все, кто в какой-то момент враждовал с победившей фракцией, рассматриваются в конечном счете как реальные враги. Чистка — метод социальной профилактики, направленной на превентивное устранение любого, кто в непредвиденных обстоятельствах может перейти в оппозицию. Доводимый до логического завершения, такой метод порождает явления, не поддающиеся разумному осмыслению, но, во всяком случае, ему можно найти рациональное обоснование.

Согласно другой теории, одна из главных задач чисток — обеспечение лагерей рабочей силой.

Есть еще одна версия: советское общество — одновременно бюрократическое и революционное. Его иерархия, иерархия государства и общества, стремится к постоянным изменениям организационных форм. Все побуждает советское общество к стабильности в рамках бюрократических форм, а в идеологии все препятствует тому, чтобы советское общество принимало какую-либо окончательную форму. Чистки — способ сохранения революционной динамики в обществе, которое могло бы приобрести тенденцию к бюрократическому окостенению.

Перечислив все эти гипотезы (а можно бы привести и много других), я не могу не отметить, что чистка 1936—1938 годов остается совершенно иррациональным или, если угодно, полностью неподвластным разуму явлением. По советским свидетельствам, она внесла хаос в армию и в администрацию. Были казнены или брошены в тюрьмы не менее 20—30 тысяч офицеров, в том числе и Рокоссовский, будущий маршал и министр обороны Польши. Расстреляны крупные советские военачальники, в том числе маршал Тухачевский. Чистка такого размаха противоречит высшим интересам партии уже потому, что партии нужны действенный режим и сильная армия.

Вот почему я считаю нужным добавить к предыдущим теориям еще одну — вмешательство личности. Для перехода от потенциального к реальному, от функций чисток вообще к великой чистке требовалось нечто уникальное, например — уникальная личность: сам Сталин.

Какова бы ни была принимаемая на вооружение концепция истории, необходимо в определенные моменты учитывать роль отдельной личности. Вполне можно предположить, что, не будь Наполеона Бонапарта, корона досталась бы другому генералу. Но никак нельзя ни доказать, ни настаивать, что при ином коронованном генерале исторические события развивались бы так же. То же относится и к Советскому Союзу: понятно, как режим скатился к изучаемым мной явлениям, но, не будь Сталина, крайние формы идеологического бреда, полицейского террора и церемониала признаний, возможно, не проявились бы. Я этого не утверждаю, и никто не может это утверждать, но в толковании, которое советские люди сами дают этому явлению, мне представляется верным следующее: помимо роли партии, ее планов и методов в проведении чисток при бюрократическом режиме сказалось воздействие одного непредвиденного фактора: личности, ее особенностей, проявившихся благодаря абсолютной власти.

С исторической точки зрения рождение гитлеровского режима определилось волей, отличной от коммунистической. Режим возник из стремления возродить моральное единство Германии и, в более широ-

ком плане, стремления расширить территорию, открытую для немецкого народа, а значит,— вести войну и завоевания. Тут нет ничего оригинального: в XX веке происходит возврат к планам и иллюзиям цезарей.

После захвата власти немецкая жизнь постепенно «гитлеризуется», а основная волна террора приходится только на последние годы войны. Может возникнуть искушение сказать, что террор объясняется самой войной, но вряд ли история соответствует такому объяснению. Символом гитлеровского террора можно считать истребление шести миллионов евреев в разгар войны, между 1941 и 1944 годами. Решение об этом было принято одним человеком, по совету еще одного-двух. Это истребление по сравнению с целями войны так же иррационально, как великая чистка — по сравнению с целями советского режима. В то время как Германия вела войну на два фронта, лидеры государства решили бросить значительные материальные ресурсы и транспортные средства на систематическое умерщвление миллионов.

Этот акт террора не имеет равных в современной истории и практически не сравним ни с чем в истории вообще. Нельзя сказать, что в прошлом не было массовых убийств. Но никогда в ходе современной истории один государственный деятель не принимал хладнокровно решение о конвейерном истреблении шести миллионов человек. Гитлер затратил ресурсы, необходимые для ведения войны, на удовлетворение собственной ненависти, чтобы те, кого он ненавидел, не могли уцелеть, как бы ни кончилась война.

Цель национал-социалистской партии состояла в том, чтобы перекроить расовую карту Европы, уничтожив целые народы, названные низшими, и обеспечить победу народа, считавшего себя высшим. То было время террора, и предвидеть его было еще труднее, чем террор, обрушившийся на советских граждан, цели которого — и это особенно важно — совершенно иные. Цель террора в СССР — создание общества, полностью отвечающего определенному идеалу, тогда как для Гитлера истребление было важно само по себе.

Вот почему, переходя от истории к идеологии, я по-прежнему буду настаивать на том, что это раз-

личие двух видов террора решающее, какими бы ни были черты сходства. Различие это — решающее из-за идеи, вдохновляющей каждую из систем; в одном случае завершающим этапом оказывается трудовой лагерь, в другом — газовая камера. В одном случае действует воля к построению нового режима, а может быть, и созданию нового человека, и для достижения этой цели годятся любые средства; в другом — проявляется прямо-таки дьявольская воля к уничтожению некоей псевдорасы.

Если коротко изложить смысл целей, которые ставят перед собой обе системы, я мог бы предложить две формулировки. Говоря о цели советской системы, я напомнил бы известную мысль: «кто хочет уподобиться ангелу, уподобляется зверю»*. По поводу же гитлеровской системы, сказал бы: человеку незачем хотеть уподобиться хищному зверю, уж слишком легко у него это получается.

XVI

Советский режим и попытки его осмысления

В предыдущей главе я сформулировал три вопроса по поводу тоталитаризма как явления. Первый касался природы связей между составными частями тоталитаризма. Второй — родства или противоположности различных видов тоталитаризма.

Остается третий вопрос: об уникальности тоталитаризма в истории. Я сопоставляю предпринятые ранее попытки осмысления коммунистического режима. Поскольку он провозглашает свою связь с марксизмом, я начну с разбора марксистских трактовок советского режима.

Прежде всего — марксистское осмысление советского режима, предлагаемое самими советскими руководителями: то есть самоистолкование СССР. В общих чертах оно известно: революция была пролетарской, партия стала выразителем и передовым отрядом пролетариата, СССР строит коммунизм, вдох-

* Неточная цитата из «Мыслей» Блеза Паскаля.

новляясь взглядами Маркса; пока что режим находится на стадии социализма, где доход каждого пропорционален совершенной работе, но на горизонте истории — стадия коммунизма, где распределение будет подчиняться потребностям.

Такое самоистолкование игнорирует важнейший, его отрицающий факт: так называемая пролетарская революция произошла в стране, где пролетариат был в меньшинстве, где капиталистическое развитие находилось еще на начальной стадии. С этим фактом согласны все, включая граждан СССР. Он не противоречит разумному марксизму: можно понять, каким образом восторжествовала революция, утверждающая свою пролетарскую сущность, в стране, где капиталистическое развитие еще не достигло расцвета. Это обстоятельство пытались объяснить и Ленин, и Троцкий, и Сталин, но оно неизбежно приводит к непредвиденным последствиям. Сегодня уже нельзя считать очевидной или хотя бы правдоподобной историческую схему классического марксизма, по которой развитие идет от феодализма к капитализму, а от капитализма к социализму. Советский опыт доказывает, что капиталистическую стадию можно перескочить. Маркс возлагал на капитализм задачу, ставшую главной для советского режима,— развитие экономики, тяжелой промышленности. Научное осмысление должно по крайней мере включать в себя доказательство того, что режим в Советском Союзе, решая задачу развития производительных сил, становится прообразом режима, который, видимо, должен прийти на смену капитализму на Западе. Иначе говоря, если руководствоваться «умеренным» марксизмом, можно говорить о пролетарском характере революции в стране, где пролетариат в меньшинстве, но нельзя утверждать, что те организационные формы, которые использовала пролетарская революция для развития тяжелой промышленности, непременно следует воспроизводить в странах, которые уже миновали этап индустриализации. Вот почему лидеры Советского Союза вступают в противоречие с марксизмом, утверждая, что их режим — это и есть социализм, теория которого была создана Марксом, видевшим в нем преемника западного капитализма.

Вторая слабость советского самоистолкования в том, что оно не содержит осмысления политического режима в его реальном виде. Сказать, что власть принадлежит пролетариату,— явная бессмыслица. Власть никогда не может реализовываться миллионами заводских рабочих. Это, разумеется, дело меньшинства, дело членов коммунистической партии, а внутри ее — элиты активистов. Партийные лидеры могут править в интересах пролетарской и крестьянской массы, но пролетариат не находится непосредственно у власти, или же, повторяю, он правит, но в том мифологическом смысле, в каком Бог через Людовика XIV правил Францией в 1700 году. Видеть вместо властителей некую высшую, трансцендентную и имманентную силу — значит заниматься мифотворчеством.

Раз теоретического осмысления государства нет, самоистолкование, предлагаемое режимом, зиждется сразу на нескольких взаимоисключающих тезисах. Один — что нельзя требовать многопартийности и плюрализма, ибо общество однородно. Другой — что классовая борьба обостряется по мере построения социализма. Налицо — явная необходимость выбора: если общество однородно, классовая борьба не обостряется, а если классовая борьба обостряется по мере построения социализма, то общество неоднородно, и монопольное право партии на власть и пропаганду — это проявление деспотизма*.

Третья существенная слабость советского самоистолкования — отсутствие марксистского объяснения проявлениям тоталитаризма, наличие которых признает ныне сам Генеральный секретарь. Хрущев подробно рассказал (добавив, впрочем, несколько странных утверждений) о том, что произошло на последнем этапе царствования Сталина. Он поведал о полицейском терроре против членов коммунистической партии. С марксистской философией истории вряд ли действиями одного человека можно объяснить великую чистку или полицейский террор. Марксизм не отрицает роли личности, но и не допускает, что один человек может стать причиной крупно-

---

* *В 1965 году в моду вошла еще одна формулировка: «общенародное государство».*

масштабных явлений вроде полицейского террора 30-х годов.

Последняя слабость советского самоистолкования — неточность формулировок. Невозможно понять, что именно толкователи считают переходным, а что — окончательным. Закончится ли однопартийность с построением социализма? Или же советская демократия в принципе — это монополия на власть одной партии? Связана ли официальная идеология с задачами построения социализма? Или же идеологическая исключительность объясняется абсолютной истинностью самого учения? Советские теоретики колеблются между этими тезисами. Впрочем, их можно понять: партия, которая к 1916 году насчитывала лишь несколько тысяч членов и руководители которой были в изгнании, из секты заговорщиков преобразилась в государство, владеющее величайшей империей мира. Учение этой партии стало официальным вероисповеданием 40 процентов человечества. На все это ушло около сорока лет. Со времени распространения ислама история не знает, пожалуй, столь быстрого и внушительного завоевания, наполовину духовного, наполовину политического.

Каким образом теоретики этого крестового похода могут избегать сомнений в конечном смысле своего собственного дела?

Вторая марксистская трактовка принадлежит социал-демократам, в частности — меньшевикам.

Во время революции 1917 года, между крахом царизма в феврале и взятием власти коммунистической партией в ноябре, меньшевики и большевики обсуждали следующий вопрос: возможно ли осуществить социалистическую революцию до развития капитализма? Большевики отвечали без колебаний: да! Верность утверждения доказана их успехом. Возможно, меньшевики были более подкованными марксистами, во всяком случае, к теории они относились серьезнее. Опираясь на труды основоположников, они доказывали, что социалистическая революция невозможна в стране, которая не знала капитализма. За несколько лет до войны Ленин тоже утверждал, что социалистическая революция немыслима в государстве, не прошедшем капиталистическую стадию развития. Троцкий же полагал капиталисти-

ческий этап необязательным. Таким образом, меньшевики говорили о невозможности социалистической революции, добавляя: если бы случилось такое несчастье и рабочие партии приложили бы усилия, чтобы завладеть властью и совершить социалистическую революцию, они обрекли бы себя на полвека деспотизма.

Наиболее активным критиком большевизма был главный теоретик тогдашнего марксизма, папа римский II Интернационала — социалист Карл Каутский. Едва большевистская партия захватила власть, как он провозгласил, что установление абсолютной власти партии, находящейся в меньшинстве и утверждающей, что она действует от имени пролетариата, представляет собой отрицание социалистических чаяний: социализм без демократии — не социализм. Уже тогда Каутский написал следующую знаменитую фразу: «Это — не диктатура *пролетариата*, а диктатура партии *над* пролетариатом». Именно на эти доводы отвечал Ленин в своей книжечке о «ренегате Каутском».

Противоборство меньшевиков и большевиков в начале века казалось не особо важным: то были две фракции российской социал-демократической партии. На деле, соперничество между ними стало непримиримым, и причины этого понятны. Каждая концепция привела к появлению определенных режимов, принципиально отличных друг от друга. Большевики совершили революцию, захватили власть, построили однопартийный режим, который, по мнению меньшевиков, противоречит идее демократии. Меньшевики же или социал-демократы никогда не совершали революции, но проводили реформы (значительность которых зависела от стран, где реформы проводились), оставаясь в рамках того, что коммунистическая партия называет капитализмом.

Мне представляется, что в историческом плане мы перед альтернативой. Либо целью становится взятие власти путем насилия, что приводит к такому типу режима, который хоть и не обязательно подобен русскому в его нынешнем виде, но по меньшей мере делает невозможным формальные и парламентские свободы. Либо насилие отвергается, а взамен принимается практика соблюдения всех парламент-

ских процедур и многопартийность, что, по мнению коммунистов, означает дальнейшее пребывание в рамках капитализма. В одном случае продолжает существовать демократия, более или менее приверженная догмам социализма (я разобрал ее в первой части книги, это — многопартийный режим); в другом же — вслед за революцией, действующей, по словам революционеров, во имя марксизма и пролетариата, устанавливается однопартийный режим.

Существует ли третий путь? Как всегда, люди мечтают о промежуточном варианте, о революции, которая была бы столь же радикальной в экономическом плане, что и коммунистическая, оставаясь в политическом плане столь же либеральной, что и у английских лейбористов. История учит, что европейские социал-демократы реализовали два, а не три пути. Отчего же третий путь существует пока лишь в воображении? Оказывается, не выходя за пределы многопартийности, можно проводить важные реформы, но не полную национализацию средств производства и не полное планирование экономики, так как и то, и другое предполагает разрыв с определенным образом жизни, пренебрежение законными интересами личности и групп. Сегодня между большевиками и меньшевиками нет ничего общего: одни представляют авторитарный — если не тоталитарный — тип режима, а другие, даже когда они ссылаются на марксистское учение, стали частью того, что принято называть конституционно-плюралистическими режимами.

Третья марксистская теория советского режима, разработанная Троцким, несет одновременно черты и советского самоистолкования и социал-демократической критики. Троцкий начинает с оправдания захвата власти в 1917 году, с провозглашения пролетарского характера коммунистической революции. Он по-прежнему говорит о возможности пролетарской революции до того, как созреет капитализм. Троцкий лишь в 1917 году примкнул к концепции демократического централизма, к диктатуре большевистской партии. Но, встав на эти позиции, он безоговорочно признал законность используемых средств.

В отличие от ортодоксов Троцкий критикует то, что называет обюрокрачиванием. Однако, стремясь объяснить собственное поражение, Троцкий, в отличие от Хрущева, оказывается слишком хорошим марксистом, чтобы принять теорию культа личности. Причины победы Сталина должны быть совместимы с каким-нибудь вариантом марксизма. Предложенный Троцким вариант: после победы революции рабочий класс был истощен, для управления плановой экономикой пришлось создать бюрократию, олицетворенную больше Сталиным, чем Троцким, поскольку Сталин — образец человека, которого она хотела видеть вождем. Троцкий со своим учением о перманентной революции вызывал тревогу у бывших активистов, которые обрели покой в чем-то вроде термидора.

В объяснении, предложенном Троцким, сочетаются две схемы: марксистская схема обюрокрачивания, ставшего необходимым при управлении плановым хозяйством, и схема революции, которая, пройдя этап насилия и террора, при сталинизме становится мирной,— примерно так, как термидор наследовал якобинскому кризису.

Вопреки критике сталинизма и бюрократии, Троцкий, во всяком случае до начала второй мировой войны, продолжал утверждать, что советский режим — социалистический, поскольку основан на коллективной собственности и планировании. Советское государство, говорил он, государство социалистическое и пролетарское, которое ныне подвергается обюрокрачиванию. В борьбе между буржуазной демократией и советским режимом Троцкий делал выбор в пользу советского режима как более близкого к социалистическому идеалу. Однако к концу жизни у Троцкого возникли сомнения по поводу самого марксизма: он не исключал, что марксистская теория может оказаться ошибочной. Она предполагает, что пролетарская революция, режим, основанный на коллективной собственности и планировании, приведут к освобождению человечества. Троцкий не скрывал, что если демократии и освобождения человека нет, то режим коллективной собственности и планирования может быть очень опасен. Если пролетариат не сумеет осознать свою судьбу, если в условиях Советского Союза интернационализм не возьмет

верх над националистическими настроениями, придется сказать, что события опровергли марксистское учение.

В теории Троцкого по крайней мере два слабых момента. Первый — использование понятия термидора. Троцкий считал, что сталинский режим — по окончании неистовств революции 1917 года — эквивалент французского термидора, сменившего якобинскую диктатуру. Но это сравнение никуда не годится. После 1929—1930 годов прошла еще одна революция, связанная с коллективизацией сельского хозяйства и индустриализацией. По-моему, называть термидором этап между 1929 и 1939 годами — вызов здравому смыслу. После термидора появилась огромная жажда наслаждения жизнью, тогда как в 1929—1934 годах был, напротив, введен курс жесточайшей экономии во всем во имя создания тяжелой промышленности.

Мне могут возразить: революционеры, члены партии хотели обрести безопасность и благосостояние. Но их чаяния вошли в противоречие с великой чисткой и разгулом террора. В советском обществе якобинскому террору соответствует не только этап 1917 — 1921 годов, но и 1934—1938 годов.

Троцкий никогда не мог вразумительно объяснить, почему режим, в основе которого лежат коллективная собственность на средства производства, планирование и однопартийность, должен одновременно быть демократическим или же либеральным. Господство бюрократии в Советской России стало для Троцкого настоящим ударом. Привилегии, которые присваивали власти предержащие, противоречили, по его мнению, сути социализма. Пусть это был социализм, о котором можно только мечтать. Но ведь в таком режиме весь высший класс состоит из представителей государства, то есть, если угодно, из бюрократов. Почему бы классу, сосредоточившему в своих руках всю полноту экономической и политической власти, не обзавестись материальными или моральными благами? В истории ни один класс, обладавший всей полнотой власти, не отказывался извлечь определенную выгоду из своего положения.

Режим с плановым хозяйством может быть плох

или хорощ, превосходить капиталистический режим или уступать ему; тут можно спорить. В рамках такого режима хозяйственники, все государственные служащие добиваются благ, как руководители частных фирм на Западе, «эксплуатирующие народные массы», если пользоваться известным жаргоном.

Теперь я перейду к другим марксистским истолкованиям, которые, впрочем, носят более антикоммунистический характер, чем меньшевистское.

Самое интересное из неортодоксальных марксистских истолкований было предложено американским социологом Карлом Виттфогелем в недавно вышедшей книге «Восточный деспотизм». Общий смысл ее сводится примерно к следующему: сам Маркс, в предисловии к работе «К критике политической экономии», перечислил различные способы производства. Помимо античного, феодального и капиталистического, он признает еще один, который называет *азиатским*. Не только Маркс, но и Ленин считают способ этот отличным по своей сути от всех, что наблюдались в западных обществах.

При азиатском способе производства государство, так сказать, поглощает общество или по меньшей мере оказывается могущественнее общества, потому что коллективным трудом управляют государственные служащие. Сельское хозяйство требует постоянного использования рек. Вот почему в Египте и в Китае установился социально-экономический режим, где государство если и не является собственником средств производства, то, во всяком случае, организует труд сообщества. Привилегированными оказываются лица, так или иначе связанные с государством или представляющие его интересы.

До революции 1917 года Ленин сознавал, что вместо полного освобождения, о котором он мечтал, социализм может привести человечество к азиатскому способу производства. Отмена рыночных механизмов и частной собственности на средства производства привела к поглощению общества государством и переходу управляющих трудовыми коллективами в положение государственных служащих. При азиатском способе производства нет классов

в западном смысле слова, зато есть бюрократическая и государственная иерархия.

Политическая власть абсолютна и, так сказать, священна. Носитель верховной власти провозглашает свою приверженность религии, опираясь при этом на бюрократию. В прошлом веке один английский посол отказался пасть ниц перед китайским императором. Ритуал при дворе повелителя Срединной империи включал в себя эту позу, которую западный человек счел невыносимым унижением. Для китайцев же она символизировала расстояние между священным владыкой и его подданными.

Теория восточного деспотизма и общества, основанного на использовании воды, может быть названа марксистской. Постоянная потребность в воде и централизация административных функций создают определенную инфраструктуру. По этой концепции русское общество было до революции полуазиатским, с чем был склонен соглашаться и Ленин.

Принимая такую концепцию, следовало бы отказаться от единообразной схемы исторического развития. Согласно классической марксистской теории, развитие идет от феодализма к капитализму, далее к социализму, причем капиталистический этап может в каком-то случае быть пропущен. Если азиатский способ производства действительно существует, придется признать наличие двух типов общества, коренным образом отличных друг от друга, и двух видов развития.

Основанные на этом способе производства великие империи Азии или Ближнего Востока отличались исключительной устойчивостью. Подобная социальная структура одновременно проста и прочна. Государство вбирает в себя все руководящие функции. Когда управление возлагается только на государство, общество однородно и в то же время иерархизировано. Социальные группы различаются по образу жизни, но ни одна из них не обладает собственной властью, так как все они — составные части государственной структуры.

Некоторые из черт таких бюрократических империй явно обнаруживаются в обществе советского типа: государство — единственный управляющий

коллективным трудом, государственная бюрократия — единственный привилегированный класс, противоречия есть, но без классовой борьбы в западном понимании. В прошлогоднем курсе* я указывал, что классовая борьба в западном смысле слова требует не только разнообразия социальных групп, но и способности этих групп к самоорганизации, к способности выдвигать и отстаивать свои требования. В обществе советского типа образ жизни и уровни доходов различаются по группам, но ни одна из групп не может быть автономной, ни одна не может противопоставить себя другим.

Такой вид социальной структуры, судя по всему, вполне обычен, и его нельзя счесть переходным. Он — неизбежное следствие отмены какой бы то ни было частной собственности, какого бы то ни было рыночного механизма. Вследствие подобных коренных преобразований руководитель предприятия — не более чем государственный служащий, а каждый гражданин получает право на власть или богатство, только если принадлежит к государственному привилегированному классу.

В связи с этим возникают два вопроса. Известные в прошлом азиатские деспоты были связаны с обществами, где структура экономики была неизменной. Возможно ли возникновение и длительное существование «азиатских» феноменов в постоянно развивающихся индустриальных обществах?

Идеологический фанатизм, полицейский террор — все это явления скорее революционного, чем бюрократического характера. Можно ли предположить, что некоторые из черт советского режима, которые я разбирал в последних лекциях, действительно объясняются тем, что ему предшествовало азиатское общество?

Теперь мы подошли к последней попытке осмысления, сделанной с марксистских, точнее — неомарксистских позиций.

Ее примером могут служить книги Исаака Дойчера, деятеля троцкистского толка. Троцкий — его

---

* *«Классовая борьба».*

герой, и Дойчер, подобно ему, допускает, что революция коммунистического типа соответствовала исторической обстановке в России. Далее он оправдывает на марксистский лад индустриализацию как необходимую для России 1930 года, окруженной врагами и находившейся под угрозой нападения. Режиму требовалось всячески ускорить создание тяжелой промышленности, чтобы дать отпор внешней угрозе и вместе с тем удовлетворить потребности современного общества.

Вот почему главную роль в данных условиях сыграл Сталин. Подобно самому Троцкому, Дойчер не хочет объяснять поражение своего героя случайными причинами. Где-то он пишет, что Троцкий во всех отношениях превосходил Сталина, был выше как мыслитель, оратор, марксист, полководец. Если ограничиться одним только сравнением достоинств обоих деятелей, победить надлежало Троцкому. Победил же, всему вопреки, Сталин, поскольку истории понадобился Сталин, а не Троцкий.

Истолкование Дойчера не кажется мне убедительным. Сталин обладал преимуществами, которые, возможно, оказались решающими: превосходством положения, поскольку был Генеральным секретарем коммунистической партии,— и тактическим превосходством. Коммунистической партией он вертел куда лучше, чем удалось бы Троцкому. Успеха в партии или в бюрократическом государстве достигают не обязательно самые сильные теоретики или наиболее умные, а те, кому удалось заручиться поддержкой активистов или партийных лидеров. Пожалуй, нет нужды ссылаться на законы истории, чтобы объяснить, почему в конце концов партия предпочла Сталина Троцкому.

Как бы там ни было, неомарксистское истолкование представляет то, что произошло в Советской России, как следствие исторической обстановки и прежде всего индустриализации. Правоверные граждане СССР заявляют: «Мы построили социализм». Тут они вступают в противоречие с марксизмом, поскольку социализм может наступить лишь после того, как разовьются производительные силы. Неомарксисты же говорят: «Россия создала разви-

тую промышленность», что было уже проделано на Западе.

Но чтобы достичь этого, России пришлось прибегнуть к наводящим ужас средствам. Чтобы вырвать Россию из варварства, Сталин действовал варварскими методами. Во время трагедии индустриализации всплыла, как говорится, варварская сущность режима. По мере развития производительных сил все больше шансов на то, что социалистические надежды воплотятся в жизнь. Или, говоря более определенно, демократизация советского общества тем вероятнее, чем ощутимее развитие производительных сил.

Такая неомарксистская попытка осмысления советского режима объясняет его деспотичность, или тираничность, ссылками, с одной стороны, на нужды индустриализации, а с другой — на влияние русской культурной среды. Вместе с тем она не отвергает надежду на построение социализма, откладывая демократизацию жизни до того времени, когда развитие производительных сил обеспечит высокий уровень жизни.

Неомарксистская попытка осмысления в лучшем случае проливает свет на явления, связанные с первой пятилеткой и коллективизацией в деревне, однако не объясняет великую чистку, идеологический и полицейский террор после успешного завершения первой пятилетки, когда (по логике подобных рассуждений) Россия должна была вступить в период стабилизации.

Более того, такое осмысление начисто игнорирует связь между методами коммунистической партии и характерными для режима явлениями. Это захват власти, осуществленный одной партией, и демократический централизм как принцип построения партии. Заметно логическое взаимодействие насильственных методов большевистской партии с установлением однопартийного режима.

Дойчер объясняет великую чистку, процессы, признания обвиняемых древними традициями России. Он игнорирует важный аспект режима: связь между стремлением к идеологической ортодоксальности и постоянством террора.

Наконец, мне представляется недоказанной связь

экономического прогресса и демократии. Вероятно, советский режим станет не столь безжалостным по отношению к несогласным с официальной линией, когда достигнет более высокого уровня развития производительных сил. Вряд ли можно утверждать, что для создания демократического режима достаточно экономического прогресса, что экономическое развитие автоматически приводит к созданию политического режима определенного типа.

Какие же выводы надлежит сделать, рассмотрев все эти попытки теоретического осмысления?

Применительно к советскому режиму осмысление должно быть комплексным. Всевозможные аспекты режима не объяснимы одной взятой отдельно причиной. Заслуга большевиков состоит в открытии метода индустриализации, не известного до них, о котором они также не имели заранее четкого представления. Метод использован политическим режимом, построенным на сочетании абсолютной власти (одного лидера или группы) и многочисленной бюрократии, выполняющей всю совокупность функций, связанных с техническим, хозяйственным, административным и идеологическим руководством.

Этот бюрократический абсолютизм напоминает аналогичные явления прошлого. Подобные государственные структуры были присущи многим азиатским империям. Но советский режим сохранил своего рода рефлексы, обусловленные революционным происхождением. Противоречивый характер его как раз и объясняется тем, что бюрократический абсолютизм не исключает революционности. СССР по-прежнему вдохновляется стремлением к экспансии, к установлению господства своей идеологии и могущества. По-прежнему государство оставляет за собой исключительное право на идеологическую истину, и единоверие вменяется в обязанность всем гражданам.

Деспотии прошлого провозглашали приверженность какой-то религии; советский деспотизм клянется в верности претендующей на рационализм идеологии западного происхождения. На обычные черты бюрократических деспотий накладываются воля к переменам, присущая революционной

партии, и идеология рационалистского толка, сама по себе представляющая критику действительности.

Наконец, современное индустриальное общество наделило советский режим средствами, которыми не располагала в прошлом ни одна деспотия. Это — исключительный контроль над средствами убеждения и новые методы психологического воздействия.

В азиатский деспотизм не входили составной частью ни задачи «формирования нового человека», ни ожидание конца доисторической эпохи.

XVII

Куда движется советский режим?

Марксистские или неомарксистские истолкования советского режима — не единственно возможные. Он объясним также через историю большевиков или самой России.

В начале века большевистская партия состояла из немногочисленной группы революционеров-профессионалов. Сегодня она хозяйничает в огромной империи, но люди, прошедшие этот необычайный путь, мыслят шаблонами времен своей юности. Одним из примеров может служить навязчивая идея о вездесущей полиции. Почему впавшего в немилость сановника немедленно называют агентом Интеллидженс сервис или гестапо? Ответ, возможно, заключается в том, что перед революцией 1917 года один из пяти членов подпольного Центрального Комитета компартии был и в самом деле агентом охранки, то есть русской полиции. После взятия власти большевиками его разоблачили и казнили. В свое время Ленин неоднократно ручался за его честность. Этот эпизод отчасти помогает понять, почему партийное руководство верило, что оппозиционер обязательно дойдет до конца и станет вражеским агентом. Мир, отражающийся в московских процессах, и поныне, сорок лет спустя, выглядит таким,

каким его могли бы представить себе заговорщики:

Существует огромная литература о связях нынешнего режима с российскими традициями. В историческом плане режим бюрократической иерархии — это режим царской империи: связи между государством и религией являются частью традиции. Русские по отношению к Западу всегда занимали двойственную позицию, что свойственно и теперешним большевикам, которые и стремятся догнать США, и мечут в сторону Запада громы и молнии. Это двойственная позиция, одновременно западническая и славянофильская (если пользоваться классической терминологией), — результат продолжения главного спора минувшего века.

Своеобразие коммунистического режима прослеживается в трех аспектах:

1) он располагает полицейскими и пропагандистскими институтами, которых не было ни у одного деспотического режима в прошлом. Население более чем в прежних обществах сосредоточено в городах, то есть в большей степени подвержено идеологической обработке;

2) режиму свойственно странное сочетание авторитарной бюрократии и стремления к построению социализма. Бюрократическое управление экономикой — явление заурядное, новизна тут лишь в том, что цель управления — ускоренное развитие средств производства;

3) бюрократический аппарат подчинен партии, что имеет революционный смысл. Отсюда проистекает опять-таки странное соединение авторитарной бюрократии и революционных феноменов. Партия, сравнимая с якобинской, занимает свое место в бюрократическом, на первый взгляд стабильном государстве.

Указанная специфика советского режима позволяет сделать несколько замечаний о его дальнейшей судьбе. Я предположил, что конституционно-плюралистический режим может подвергнуться разложению. Мой долг — остановиться на возможности разложения и режима во главе с монополизировавшей власть партией. Разложение такого режима означало бы его *десоветизацию*. Объективно гово-

ря, разложение — это отказ от ряда присущих режиму функций.

Простейший, как мне кажется, способ анализа этой проблемы — противопоставление оптимистической и пессимистической версий марксизма.

Оптимистическая выдвинута Исааком Дойчером, который связывает прискорбные проявления советского режима с экономическим развитием. Приверженность идеологической ортодоксальности, террор, процессы, эксцессы однопартийности он объясняет необходимостью индустриализации. Когда этот этап пройдет, все, что нам, на Западе, не нравится в советском режиме, будет постепенно отмирать, коль скоро его патологические черты объяснялись либо особенностями личности Сталина, либо требованиями индустриализации.

Пессимистический марксизм руководствуется концепцией азиатского способа производства, объясняет советский режим полным обюрокрачиванием жизни и утверждает, что явления, расцениваемые оптимистами как патологические, изначально присущи режиму бюрократического абсолютизма, однопартийности, идеологической ортодоксальности.

Между оптимистической и пессимистической версиями найдется место для любых промежуточных вариантов. Мы ставим вопрос так: какие черты советского режима следует приписать нуждам индустриализации? А какие объясняются принципиальной структурой советского режима?

Вначале напомним об основных преобразованиях после 1953 года.

1. В том, что касается личных свобод или прекращения террора, произошли важные перемены. Нет больше массовых чисток наподобие чистки 1936 года; не организуют больше и сенсационных процессов с фальшивыми признаниями; объявлена широкая амнистия; концлагеря исчезают; смягчились законы и судебная практика. Официально отменен принцип аналогии, в соответствии с которым деяния, не предусмотренные впрямую Уголовным кодексом, можно было квалифицировать как правонарушения. Распущена специальная полицейская комиссия, имевшая право судить при закрытых дверях и

отправлять в концлагеря всех подозреваемых в контрреволюционной деятельности. Отменены также статьи кодекса, предусматривавшие возможность осуждения в 24 часа обвиняемых в контрреволюционной деятельности, причем без предоставления им каких-либо гарантий справедливого суда.

Угрозы, принуждения, тяготевшие над советским гражданином, ослабли. Стали возможными контакты с иностранцами. Наступила «оттепель»: дискуссии проводятся шире, политика в области истории или искусства уже не столь ортодоксальна. По сравнению с тем, что наблюдалось до 1953 года, общий характер режима изменился.

Эти глубокие, важнейшие перемены — еще не революция.

Десталинизация часто проводится сталинскими методами. После устранения маршала Берии Хрущев не мог не назвать его предателем или зарубежным агентом — как сам маршал Берия называл тех, кого желал устранить. Многое из того, о чем теперешний Генеральный секретарь поведал в своей знаменитой речи, оказалось не более достоверным, чем то, о чем сообщалось в речах официальных лиц в прежние времена. Сталин не был тем гротескным персонажем, неспособным анализировать и направлять военные операции, каким его живописал Хрущев. Изображать недоумком того, кого обожествляли еще несколько лет назад, значит создавать новый миф.

2. Полиция не играет прежней роли, а главное — не действует в ущерб партии, как это было еще несколько лет назад. Она находится в распоряжении правительства и подчиняется его решениям. Полицейский аппарат пребывает в состоянии полупокоя; впрочем, уверенности в том, что покой станет полным, пока нет.

3. Грандиозные чистки в духе 1936 года больше не проводятся, но постоянно идет какое-то подобие чистки. Это заметно при сравнении состава Центрального Комитета от пленума к пленуму. Циркуляция элиты (выражение итальянского социолога Парето) идет по-прежнему быстро — по прошествии определенного времени те или иные

крупные государственные деятели исчезают с горизонта. Но их не казнят, как ранее. Постоянно сменяются те, кто занимал крупные посты, что свидетельствует о продолжении борьбы фракций и лидеров.

4. Наконец — и это главное — полностью остается в силе теоретическое положение о руководящей роли партии как в экономике, государственных делах, так и в духовной жизни. В своих главных чертах режим остается неизменным. По-прежнему налицо ортодоксальность и политическое единовластие партии. Устранены лишь странности и перегибы прежнего Генерального секретаря под конец жизни.

Нам известно, что произошла сенсационная с политической точки зрения перемена. Воцарения очередного «Великого Правителя» не состоялось. Правда, некоторые журналисты уже говорят, что Хрущев побил рекорд Сталина, добившись победы за более короткий отрезок времени, но мне не кажется, что это справедливо. Хрущев ныне — самый могущественный человек в Советском Союзе, но его могущество не похоже на то, каким с 1934 года располагал Сталин. Теперешний Генеральный секретарь, в отличие от Сталина, не предмет обожествления. Нет оснований полагать, что он наводит ужас на своих соратников. А ведь именно атмосфера страха, в которой пребывали ближайшие соратники Верховного Правителя, составляла, если верить Хрущеву, главную особенность сталинского режима на последнем этапе. Ни у одного из тех, кто теперь наблюдает Россию вблизи, нет ощущения, что члены Политбюро (Президиума) или члены Центрального Комитета живут в страхе перед Генеральным секретарем и всякий раз, приходя к нему, опасаются, что уже не выйдут свободными. Партия по-прежнему играет главную роль в обществе, но структура партии не та, что в сталинскую эпоху. Создается впечатление, что Центральный Комитет вновь приобрел определенную власть. Похоже, что в 1957 году, не получив большинства в Президиуме, Хрущев одержал победу над «антипартийной группировкой», поскольку срочно собрал Центральный Комитет.

Несколько более гибкими, чем раньше, стали отношения со странами народной демократии. Правда, главное не изменилось: господство Советского Союза над странами Восточной Европы сохраняется, однако национальным правительствам предоставлена определенная свобода.

Наблюдаются изменения и в экономической области. Теперешние руководители больше уделяют внимания повышению уровня жизни, стараются производить больше товаров широкого потребления, а главное, более гибкими стали их методы. Для того чтобы повысить производство сельскохозяйственной продукции, они, как во всех западных странах, решительно прибегают к ценовому механизму, материальному стимулированию, что, по сути дела, вполне нормально, стоит лишь отойти от теоретического безумия.

Один из примеров новой политики — ликвидация машинно-тракторных станций. Она показывает, как структура, не имеющая ничего общего с марксистским или ленинским учением, может стать жертвой и составной частью идеологии, а затем — вновь простым орудием труда. Сталин неоднократно называл эти станции составной частью социалистической теории, а потому ликвидация их, продажа тракторов колхозам означает рецидив прошлого. Хрущев счел станции бесполезными: колхозы разбогатели за счет повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, они могут трактора покупать. Вероятно, в Кремле решили, что, если машины станут собственностью колхозников, обращаться с ними будут лучше. А может быть, это вызвано стремлением несколько снизить рост покупательной способности, чтобы не вызвать инфляцию.

С хозяйственной и с политической точки зрения перемены не затрагивают того, что нам представлялось сутью экономической системы. Еще чаще провозглашается приоритет тяжелой промышленности, появляются новые цели, в жертву которым (если возникнет необходимость) будет принесено все остальное, планирование осуществляется при помощи указов. Правда, пространства для маневров и свободы у предприятий стало больше.

Я прихожу к следующему выводу: до сих пор

наблюдались изменения внутри режима, но не изменения самого политико-экономического режима, который проводит различные реформы, не затрагивая основ. Какие же перемены должны произойти, чтобы можно было говорить об изменении сути режима?

Мне кажется, что важнейшие черты режима — следующие:

1) однопартийность и сохранение идеологической ортодоксальности, единственный выразитель которой — партия;

2) централизованное планирование, осуществляемое бюрократией;

3) наличие бюрократической иерархии — причины неравенства в обществе.

Нет, не может и не должно быть никаких автономных сил помимо государства. Любое западное общество по сути своей — классовое, оно состоит из групп, которые отличаются друг от друга, вступают в соперничество, в борьбу между собой. Группы советского общества включены в бюрократическую, в государственную иерархию. Структура остается нерушимой и через пять лет после смерти Сталина, и пока ничто не свидетельствует о готовности наследников посягнуть на нее.

Каковы более отдаленные перспективы разложения или преображения советского режима? Я приведу несколько отвлеченных схем. Прежде всего оптимистическую — возможного преображения самой системы.

Эту неомарксистскую схему я рассматривал в предыдущей главе. Всю жестокость советского режима она объясняет экономическим положением. По неомарксистской теории, уровень жизни растет и будет расти, как и культурный уровень населения. Оба эти обстоятельства несомненны. В условиях советского режима теория обнищания столь же неверна, что и в условиях капиталистического режима. Никакой индустриальный режим, каким бы безумствам ни предавались его правительства, не препятствует повышению уровня жизни в результате роста производительности труда. Это может происходить быстрее или медленнее, но оно обязательно для всех индустриальных обществ.

Повышение уровня жизни и культурного уровня способствует либерализации советского режима. Для управления городским населением — рабочими и служащими, получившими техническое образование, не годятся те приемы, что подходят для крестьянской массы.

Но неомарксистская схема предполагает прямую взаимосвязь между уровнем жизни и культуры — и демократическими или либеральными формами государственных институтов. Наличие такой взаимосвязи не доказано, и, к сожалению, нам известен трагический опыт гитлеровской Германии. Уровень жизни был высоким, культуры — тоже, однако население приняло режим с монополизировавшей власть партией и поразительно тупоумной идеологией. Опыт однопартийных режимов и демократических стран подтверждает, что даже просвещенные люди легко принимают более или менее нелепые идеологические построения. В определенных обстоятельствах кто угодно готов уверовать во что угодно.

Допустим, русские все меньше придерживаются своей идеологии (а такое не исключено): это не значит, что идеология перестанет играть существенную роль. Большинство официальных доктрин сохранялось как средство управления десятилетиями, а иной раз и веками уже после того, как утрачивалась вера в эти доктрины, во всяком случае — среди образованных людей.

Наконец, с какой стати режим индустриального общества непременно должен оказаться конституционно-плюралистическим? Режим бюрократической иерархии, авторитарного планирования вполне совместим с развитым индустриальным обществом. Мне кажется невозможным утверждать заранее, что развитое индустриальное общество обязательно приведет к социально-политическому режиму, подобному западному.

Вторая оптимистическая точка зрения на будущее советского режима — это схема метаморфозы революций. У революций, видимо, есть одно общее: они не бесконечны. Энтузиазм изнашивается, со временем происходит возврат революционеров к сереньким будням, выражаясь словами Макса Вебера (пример-

ный перевод выражения «die Veralltäglichung der Revolution»). В Советском Союзе коммунистической партии уготована судьба всех революционеров, пуритан, якобинцев и прочих, которые от избытка поражений или успехов в конечном итоге смирились с тем, что людей не изменить. Коммунисты в конце концов тоже смирятся с устоявшимся порядком вещей.

Подобные доказательства основываются на идеях постепенного отмирания революционной веры либо постепенного становления какого-то привилегированного класса. Изначально большевики были партией профессиональных революционеров, душой и телом преданных выполнению задач разрушения. Сегодня в странах Восточной Европы эти профессиональные революционеры заняли такое место в государствах, что у них в руках — все привилегии. Джилас обвиняет своих бывших товарищей в обуржуазивании. Но если в глазах революционера это — разложение революции, то для социолога, настроенного не столь оптимистически, этот процесс необходим и означает возврат к норме существования.

Схема постепенного угасания революционного пыла представляется мне убедительной: по прошествии длительного периода революционеры — или их сыновья — могут и обуржуазиться. Пожалуй, по другую сторону «железного занавеса» этот процесс идет. Мне также представляется вероятным, что марксистская вера слабеет по мере того, как накапливается опыт. Советские граждане, разумеется, не отказались от марксистской основы полностью: у них по-прежнему в ходу марксистский лексикон, все усиливают определенный набор марксистских идей. Однако марксизм все в меньшей степени будет определять мышление лидеров и рядовых граждан. Они будут продолжать падать ниц перед учением, которое, однако, перестанет диктовать поступки.

Пока что эволюция зашла не так уж далеко, и сам Хрущев заверяет нас, что она не наступит.

Если он ошибается, то эволюция не обязательно приведет к потрясению режима. Самое большое, что может случиться,— исчезновение некоторых явле-

ний, связанных с постоянством революционного пыла: например — пристрастия к идеологическому террору. Зато уцелеют единовластие партии, идеологическая правоверность и бюрократический абсолютизм. Режим в своих структурных чертах сможет продержаться еще долго.

Третья схема, которую рассматривают социологи, верящие в преображение режима,— рационализация.

Американский социолог Баррингтон-Мур, написавший весьма интересные книги о Советском Союзе, усматривает в советском режиме сочетание трех начал — традиционного, рационального и террористического. Со временем режим должен становиться все более традиционным и рациональным. Традиционным в том смысле, что укоренятся определенные привычки; рациональным — поскольку русские лидеры будут стараться производить как можно больше и как можно дешевле, уделяя все меньше внимания идеологии, а значит, все реже склоняясь к использованию крайних средств.

Лично я был бы склонен допустить, что в длительной перспективе экономические соображения должны стать преобладающими. Тем не менее оптимистические выводы делать рано. Вполне правдоподобно, по-моему, что завтрашние руководители советской экономики будут меньше озабочены теорией и больше — производительностью труда, об этом уже свидетельствует ряд признаков. Но неизбежно возникает вопрос (быть может, шокирующий): духовная свобода, многопартийность — это рациональные феномены? Если правительства хотят максимально расширить производство, сохранив при этом какие-то привилегии для себя, станут ли они прилагать усилия, чтобы предоставить гражданам право обсуждать правительственные решения? Станут ли правительства терпеть многопартийность как форму борьбы за власть? Рационализация экономического и политического режима, устранение таких патологических излишеств, как жесткое планирование или чистки,— это и в самом деле вещь вполне вероятная, но совсем другое дело — установить режим, подобный западным. Считать рационализацию советского режима явлением, сопутствующим демок-

ратизации, значит, по меньшей мере соглашаться со спорным утверждением о том, что многопартийный режим — единственно рациональный для экономики, ориентированной на развитие промышленности.

Какой же вывод я хочу сделать из этого краткого анализа?

Я принимаю часть аргументов, представленных оптимистами. Я думаю, уровни жизни населения по обе стороны «железного занавеса» будут сближаться. Достаточно даже мимолетного визита, чтобы заметить: многое из того, что волнует нас на Западе, наблюдается и по другую сторону «железного занавеса» и связано с тем же — построением индустриального общества. Я допускаю, что управление хозяйством будет все более рациональным, условия существования всех граждан станут улучшаться. Я допускаю, что идеологическая разрядка более вероятна, чем сохранение крайних форм ортодоксальности или идеологического террора, и допускаю, что мир Джорджа Оруэлла существовал в 1951—1952 годах, но вряд ли он возможен в 1984-м. Похоже, такие крайности — современники начальных этапов индустриализации, а не эпохи экономической зрелости. Наконец, я допускаю, что бюрократическая иерархия может склоняться к поискам устойчивости. Но и с учетом всего сказанного я не могу избавиться от одного сомнения, даже если в значительной степени согласен с оптимистами.

Дело в том, что преображения ни в коей мере нельзя счесть несовместимыми с основами самого режима. Во-первых — *единовластием* партии. Это обстоятельство исключает или на худой конец затрудняет проведение курса на конституционность борьбы за власть, идеологический плюрализм. Во-вторых — *бюрократическим абсолютизмом* Раз весь привилегированный класс заодно с государством, создание центров независимых сил почти невозможно. Сохранение основ весьма важно. Оно соответствует сути режима, заключающейся в том, что духовная свобода жестко ограничивается, поскольку нельзя ставить под сомнение идеологию и существует возможность применения насилия и террора. Наконец,

и это, пожалуй, главное: в таком режиме решающая роль отведена партийцу, аппаратчику. Оптимистические прогнозы преображения советского режима основаны зачастую на уверенности в том, что специалисты, хозяйственники непременно должны взять верх над аппаратчиками.

Однако в борьбе между наследниками Сталина победу одержал прежде всего партиец. В настоящее время идет не реставрация, а утверждение решающей роли партии и ее аппарата в управлении советским обществом.

Те, кто обладают привилегиями при данном режиме, не делятся на фракции, как в западных партиях. Нелепо думать, будто существует партия специалистов, выступающая против партии идеологов,— или военных, или полицейских. Многие специалисты — члены партии. Верно, что различные категории руководителей имеют свои предпочтения или особые привычки, но совершенно не обязательно, что они придерживаются противоположных учений. Партийцы принимают все большее участие в делах административных, в пропаганде, они составляют основную часть политического персонала, который в значительной мере определяет главные черты режима. У нас на Западе тоже есть группы профессиональных политиков. В США символы режима — Трумэн или Никсон, в Великобритании — Макмиллан или Гейтскелл. Стоит ли поражаться тому, что в Советском Союзе режим по-прежнему формируют аппаратчики, раз уж мы находим это естественным в западных режимах? Мне хорошо известно, что на Западе многие считают политических деятелей марионетками, которых дергают за ниточки олигархи, монополисты. Такое представление о капиталистических олигархах, верховодящих политиками, наводит на мысль, что и в Советском Союзе есть лица, которые куда могущественнее, чем профессиональные политики.

Возьмем очевидные факты: на Западе политические деятели улаживают определенным образом правительственные проблемы, есть свои методы прихода к власти, свои способы проверить преданность граждан. Конституционно-плюралистические режимы

действенны тогда, когда профессиональным политикам удается сохранять в силе конституционные процедуры и добиваться успеха. В Советском Союзе таким политическим деятелям соответствуют аппаратчики.

Во всех индустриальных обществах есть хозяйственники, управляющие коллективным трудом, собственники или директора заводов. И везде они отчасти похожи друг на друга, поскольку решают сходные проблемы, а условия их жизни и деятельности вполне сопоставимы. Не так обстоит дело с политиками. Конечно, иные проблемы универсальны: как удержаться у власти, как править страной, как уладить конфликт. Но решают их по-разному. Политики могут конституировать единую партию, с особым характером соперничества в ней. Однопартийность дает значительные преимущества. Партия постоянно может оправдывать себя идеологией, провозглашающей законность установленной власти и правомерность действий властителей, может не признавать официально существование конфликтов. В таком обществе царит принципиальная однородность. Легко понять, что политики, привыкшие к однопартийному режиму, стремятся эту структуру сохранить. Предсказуемые перемены, связанные с развитием промышленности, повышением уровня жизни, не приведут к устранению однопартийности наряду с идеологической ортодоксальностью, не связаны они и с исчезновением бюрократической иерархии, равно присущей обществу и государству.

Означает ли это приближение буржуазной стабилизации?— Почему бы и нет? Экономическую рационализацию?— Почему бы и нет? Смягчение террора?— Вероятно. Отказ от патологических форм насилия?— Вполне допустимо. Введение многопартийности и либеральных институтов власти, как на Западе?— Возможно, но нельзя доказать необходимость или даже вероятность того, что эволюция индустриального общества непременно приводит к этим последствиям, представляющимся нам желательными.

Исаак Дойчер полагает, что рабочий класс станет по мере повышения уровня жизни более активным и более динамичным в политическом

плане. Ну, а я думаю, что советский рабочий класс должен чувствовать себя все менее удовлетворенным, хотя условия жизни улучшаются, а давление властей уменьшается. Почему же в развивающемся режиме народные массы должны испытывать все большую неудовлетворенность, почему они вдруг захотят радикальных перемен?

Я оставил в стороне одну гипотезу, о которой хотел бы сказать, прежде чем завершить обзор. Я имею в виду гипотезу революции. Нам известны революции против плюралистических режимов. Почему не может быть революций против режимов с единовластной партией? Точнее — против псевдорежимов такого рода? Две революции произошли до сих пор в Восточной Европе против режимов — или, точнее, псевдорежимов с единовластной партией. В самом деле, в Польше, как и в Венгрии, не хватало главного: национального характера самого режима. Ни там, ни тут режим не смог бы ни утвердиться, ни стать долговечным без Советского Союза. Еще и ныне польский режим Гомулки — компромисс между чувствами народа и велениями политической географии. Все поляки поддерживают Гомулку, и в Варшаве одни говорят, будто поддерживают его поскольку он коммунист, а другие — вопреки тому, что коммунист. В Венгрии режиму не хватало минимальной всенародной поддержки, необходимой для любого авторитарного режима такого типа.

Для революции при таком режиме, как советский,— укоренившемся, с единовластной партией, необходим раскол в правящем меньшинстве. Пока политики и вся бюрократия выступают единым фронтом, трудно представить, что управляемые могли бы взбунтоваться. Пока нет оснований предполагать, что у них есть такое желание. Возможно, в условиях свободных выборов они не стали бы голосовать за режим, подобный советскому, но он возник не на основе свободных выборов, да и судьбу свою выборам не вверяет. Для СССР характерна убежденность управляемых в том, что никто не станет у них спрашивать, как они относятся к государству. Режим обеспечил Советскому Союзу величие, могущество, ежегодные успехи в эконо-

мическом развитии. Потребовался бы странный оптимизм или необычный пессимизм, чтобы рассчитывать на потрясение основ, в то время как русский народ сегодня гордится положением второй державы мира и убежден: завтра она станет первой.

Остается предполагать, что свобода — самое сильное и самое постоянное желание всех людей, но само слово «свобода» слишком многозначно, и это снимает необходимость дальнейших исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XVIII

О несовершенстве всех режимов

Итак, впереди две последние главы. Начну с того, что поясню смысл противопоставления одной разновидности режима другой; затем попытаюсь рассмотреть место такого противопоставления в историческом плане. Иными словами, анализ будет сперва статическим, а потом динамическим.

Существуют четыре момента противопоставления конституционно-плюралистического и единовластного режимов: *конкуренция и монополия, конституция и революция, плюрализм социальных групп и бюрократический абсолютизм, государство партий и государство, основанное на господстве единственной партии* (последнюю антитезу можно выразить еще и так: государство светское — государство идеологическое).

Противопоставление конкуренции и монополии заимствовано из лексикона политической экономии. Этот стилистический оборот представляется мне правомерным, но необходимы кое-какие оговорки.

В политическом, как и в экономическом плане, встает вопрос о распределении дефицитных благ. Не всякий может стать депутатом или министром. Конкуренция вокруг политических благ может быть сравнена с конкуренцией вокруг богатств.

Однако такое сопоставление не вполне корректно. Строго говоря, в политике нет либеральной конкуренции. Экономист сформулировал бы так: политическая конкуренция неизменно олигополистична. В конкуренции за приобретение благ, из которых главнейшее — право на власть, участвует ограниченное число лиц или групп. Наиболее совершенная с точки зрения организованности политика сводит многополюсность к двухполюсности, двум партиям. Чем лучше организована конкуренция, тем ме-

нее (в определенном плане) она демократична и тем меньше возможностей для выбора остается у простого гражданина. В случае двухполюсности выбирать следует одно из двух. Если конкуренция организована менее удачно (во Франции, например), можно в каком-то смысле говорить о более совершенном выражении демократии, так как у граждан наибольшее количество вариантов выбора.

Независимо от численности групп или партий, смысл политической конкуренции меняется в соответствии с тем, как устроены сами партии. В них опять-таки наблюдается многополюсная или двухполюсная конкуренция, и структура партий дополняет, а то и корректирует структуру режима, определяемую межпартийными отношениями. В каком-то крайнем случае воплощением всей партии становится один всемогущий человек; противоположная крайность — максимально свободная конкуренция.

Два следующих понятия — *конституция* и *революция* — из лексикона не политической экономии, а юриспруденции.

У понятия конституционности — несколько значений. Конституционна конкуренция за право на реализацию власти, а вместе с ней — и подчинение этой конкуренции неким конкретным правилам. Другая, вероятно, более важная форма конституционности — подчинение каким-то правилам решений правительства. Для принятия закона правительству при конституционном режиме требуется вмешательство других органов власти. При авторитарном режиме решение правителей становится законом автоматически. В крайнем случае законом становится воля отдельной личности. Яркий пример того — разгром заговора (или мнимого заговора), учиненный Гитлером 30 июня 1934 года, когда Гитлер велел казнить заговорщиков (или мнимых заговорщиков). Задним числом был принят закон, в соответствии с которым казни без суда и следствия объявлялись правомерными действиями. Это выглядело сочетанием произвола с пародией на законность.

В своих взаимоотношениях с отдельными лицами государству не следует выступать истцом и судьей одновременно. У арестованного и подвергнутого издевательствам есть — или должна быть — возмож-

ность воззвать к беспристрастным судам с требованием защиты от чиновников, повинных в несоблюдении тех или иных правил. Можно сказать иначе: лицу, интересы которого ущемлены указом администрации, должна быть предоставлена возможность обжалования этого указа в каких-то юридических инстанциях — обычных или административных судах. Органы, не зависимые от правительства и уполномоченные выносить решения по вопросам о взаимоотношениях между государством и отдельной личностью, образуют третью форму конституционности.

Зато революция представляется мне по самой своей сути отрицанием законности. Конечно, я имею в виду буквальное значение слова. Один французский политический деятель высказывался о «революции посредством закона». На деле никакой революции не было; тем не менее можно представить себе настолько значительные преобразования, совершаемые с помощью законов, что в широком смысле их уместно было бы назвать революционными. Мне кажется предпочтительным сохранять за понятием революции его подлинный смысл, а именно — прекращение законности. В этом смысле режимы с единовластной партией по сути своей изначально революционны, коль скоро орудие захвата власти — насилие. Революционными они остаются в течение более или менее длительного периода. Правители не соглашаются ограничить свою власть конституцией или законами. В Советском Союзе партия приняла конституцию, а точнее,— три конституции, но никогда не чувствовала себя связанной конституционными правилами. Режимы с единовластной партией, в частности — коммунистические, склонны оставаться режимами перманентной революции. Источником гордости становится для них то обстоятельство, что они пребывают в состоянии перманентной революции, пока не достигнут своих целей.

Следующая антитеза — плюрализм групп общества и бюрократический абсолютизм — всего-навсего возвращает нас к прошлогоднему разбору*, касав-

* *См. «Классовую борьбу».*

шемуся социальной структуры стран советского и западного типов. Все общества разносоставны, им присущи различные уровни жизни, образ жизни тоже различен. У групп, с одной стороны, есть право на сплочение, на самоосознание, на гласное противоборство, а с другой — отдельные личности и группы подчиняются единообразной, бюрократической иерархии.

В социологическом смысле слово «бюрократ» — не человек за окошечком или в люстриновых нарукавниках, а представитель анонимного порядка, он действует не как индивидуум, а как должностное лицо с определенными функциями, с определенным местом в иерархии. У каждого — своя роль, и все должны подчиняться правилам. В крупных американских фирмах — точно такие же бюрократии, как на советских государственных предприятиях.

Нашу эпоху назвали административным веком. Административные здания — такой же отличительный признак промышленной цивилизации, как и фабрики. Своеобразие режимов советского типа не в этом.

Говорить о бюрократическом абсолютизме можно, поскольку все руководители включены в единую администрацию, вместо того чтобы рассеяться по независимым предприятиям, обладающим собственными бюрократиями. В однопартийном режиме все руководители коллективного труда принадлежат к государственной иерархии. На предприятиях и в министерствах карьеру делают одни и те же люди. Впрочем, и на Западе встречаются такие примеры. Во всех национализированных секторах наблюдается слияние карьеры главы предприятия с карьерой государственного служащего. И все же именно огосударствливание бюрократии, доведенное до крайности,— главная черта режимов с единовластной партией. Те, кто обязан государству всем — и трудом, и доходами, и все теряет при увольнении или же чистке, составляют один привилегированный класс. К росту по службе, к почестям ведет в итоге только один путь — через государственную бюрократию, и такое прохождение «по инстанциям» непременно обрекает людей на унижения.

Четвертое противопоставление — *государства партий* и *государства, выражающего интересы одной-*

единственной партии. В первом случае — многообразие конкурирующих партий, у каждой из которых — свое собственное представление об общем благе, а во втором — единственная партия, чье представление об общем благе обязательно для всех. Я использовал еще одно выражение из эпохи политической борьбы: «противопоставление светского и идеологического государств», то есть государств, связанных с какой-то религией, государствам, отделенным от какой бы то ни было религии.

Эта антитеза отнюдь не проста. У любого сообщества должны быть некие общие ценности. Иначе оно перестало бы существовать как таковое. В странах светских идея государства все больше сводится к самому конституционному устройству. Главная мысль, лежащая в основе конституционно-плюралистического режима,— священный характер конституции: все граждане изъявляют согласие на улаживание своих ссор сообразно конституционным правилам. Отказ от насилия становится, так сказать, идеологией неидеократического режима. Потому государство, не выступающее в качестве выразителя интересов какой-то одной партии, государство, допускающее многообразие партий и учений, не превращается в пустую оболочку — ведь отказ от насилия сопряжен с определенной философской концепцией. Этот отказ предполагает веру в свободные дискуссии, в возможность постепенных преобразований. Любой политический режим определяется особой формой улаживания социальных конфликтов и обновления стоящих у власти групп. Конституционно-плюралистический режим стремится к мирному улаживанию конфликтов и равномерному обновлению таких групп.

Какой вывод можно сделать на основе нашего сравнительного анализа?

Было бы неразумно утверждать, что один режим хорош, а другой плох, один воплощает добро, а другой — зло. Оба несовершенны, хотя и по-разному. Несовершенство конституционно-плюралистических режимов проявляется в каких-то частностях, что же касается режима с единовластной партией, то речь идет о сути.

Конституционно-плюралистические режимы несовершенны по причине избытка либо олигархии, либо демагогии — и почти всегда отличаются ограниченной эффективностью.

Избыток олигархии — когда за действиями партий скрывается всемогущество некоего меньшинства. Избыток демагогии — когда группы в условиях партийной борьбы забывают о нуждах всего социума и о смысле общего блага. Ограничения же эффективности обусловлены тем, что режим, где у каждой группы есть право защищать свои интересы, часто не в состоянии принимать радикальные меры.

Несовершенство режима с одной партией проявляется иначе и затрагивает саму его сущность. Единовластие партии ничем не обосновано, если общество идеологически однородно, если в нем нет конфликтов между группами и оно существует в условиях плановой экономики с общественной собственностью на средства производства. Но если мнения не могут высказываться свободно, если сохраняется ортодоксальность, значит, общество не однородно. В этом случае группа, утверждающая свою власть насилием, возможно, и действует ради заслуживающей восхищения идеи, но нельзя сказать, что таким образом устанавливается демократия.

Рассмотрим Советскую Конституцию и процедуру выборов. Если сами по себе выборы лишены значения, если конституционные формы не наполнены конкретным смыслом, чего ради советский режим сохраняет столько церемоний: выборы и созыв какого-то подобия парламента? Выборы — это прежде всего уважение к смыслу процедуры. Если власть не исходит от управляемых, то зачем нужны выборы? То, что они в Советском Союзе проводятся, как и существование там парламента, доказывает: намерения восстановить в будущем демократические процедуры еще не окончательно исчезли. Их отмена или использование в узкокорыстных интересах объясняются ссылками на обстоятельства: общество, мол, еще недостаточно однородно. Возможность поступать иначе возникнет тогда, когда общество станет однородным. Это значит, что в силу своих методов и идей режим с единовластной партией — всего лишь переходный этап, даже если он длите-

лен и необходим. Впрочем, это его не оправдывает.

Тем не менее часто предпринимаются многочисленные попытки найти прагматические оправдания режиму.

Иногда невозможно устранить олигархию, не прибегая к насилию. Порой все сводится к выбору между бесплодным консерватизмом и насилием. Обращение к насилию не преступно само по себе. Если бы правительства на Западе заявили о непримиримой враждебности к насилию, они заявили бы о неприятии собственных предков. В Англии и во Франции отрубали головы королям. Англичане часто задумываются, правы ли они тогда были. Французы спорят об этом меньше. В обоих случаях революция свергла традиционную власть. У истоков конституционно-плюралистического режима в США тоже революция: война за освобождение. Режимы Запада не проявляют непременной враждебности к насилию. Но насилие должно приводить к стабилизации в виде конституционных правил. Насилие, питающее само себя, само выносит себе приговор.

Единовластие какой-то партии после революционного этапа может быть полезным для построения государства. Оправдание бывает двух видов: «передовой отряд» и «школьный учитель». Допустим, единовластная партия — передовой отряд народных масс. Она ведет их на завоевание будущего. Она берет лучших, которые в свою очередь образуют отборную группу, контролирующую и поучающую всех прочих. Допустим, что единовластная партия — так сказать, школьный учитель. Ей открыта истина истории, которую она передает еще не просвещенным массам — как наставник передает истины детям.

Весь вопрос в том, чтобы узнать, когда такие оправдания считаются законными,— тут нет единой философской или социологической доктрины. Если вопрос в том, в каких обстоятельствах насилие оправдано, договориться будет нелегко. Жертвам насилия трудно согласиться с его необходимостью: современникам вообще труднее, чем потомкам, признать законность насилия. Все эти утверждения, однако, слишком очевидны. Важно, что пока нет единой теории, которая дала бы возможность определить, в каких случаях насилие оказывается обосно-

ванным с исторической точки зрения. Можно вслед за Кантом утверждать, что насилие морально преступно, однако придется добавить — опять же вслед за Кантом,— что это морально преступное насилие оказалось исторически необходимым при создании государств и что без насилия не поднять людей до уровня разума.

Возможно ли окончательное определение режима с единовластной партией? На уровне идеи?

Такое определение можно было бы позаимствовать у Шпенглера. Человек — хищное животное, по природе своей он склонен к насилию, и режимы, пытающиеся устранить насилие,— это режимы упадка. Тут совмещены две системы аргументов: метафизическая, согласно которой насилие, хотя и отвратительно, присуще человеческой природе; и историческая — в соответствии с которой режимы, будь то конституционные или уравнительные, являются провозвестниками упадка.

Но людям не свойственны пессимистические настроения Шпенглера, они не считают себя хищными зверями и не желают ими быть. Шпенглер, вероятно, возразил бы, сказав, что это лишь доказывает их лицемерие. Такой ответ достаточно серьезен и все же не убедителен. Люди не считают себя склонными исключительно к насилию, их поведение частично определяют суждения о добре и зле. Невозможно руководствоваться шпенглеровской философией в политике. Став политиком, Шпенглер сам был бы обречен на лицемерие, потому что люди не приемлют роль, которую он им отводит.

Теория человека-агрессора привела бы в эпоху термоядерных войн к самоистреблению человечества. Контраргумент, хоть и основанный на частности, достаточно действен: если войны неизбежны, то человечество при технических средствах, которыми оно располагает, рано или поздно обречено на гибель. Псевдореалистическая философия Шпенглера опровергается исторической действительностью.

Современные общества подчинены рациональным началам. Антропологическая концепция Шпенглера не приспособлена к природе индустриальных обществ, характеризующихся совместным трудом, который требует равных шансов для отдельных личностей и уж

во всяком случае минимального образования для всех. Социалистическая и уравнительная тенденция, по мнению Шпенглера, а может быть, и Ницше, представлявшая собой знамение упадка, сегодня следствие скорее социальной необходимости, чем человеческой воли.

Можно сделать вывод, что каждый режим несовершенен по-своему. Это вызовет многочисленные возражения, которые мне хотелось бы обсудить.

Вот два основных.

1. Соответствует ли государство партий назначению современного общества? Уместно ли во Франции 1958 года, наблюдая за пошлостями и гнусностями режимов партий (как их описывают изо дня в день), утверждать, что режимы эти соответствуют сути общества?

2. Не стремится ли государство с единовластной партией, государство, отражающее чаяния одной партии, создавать ценности, коренным образом отличные от ценностей многопартийного государства?

Начнем с первого возражения. Не является ли государство партий столь же несовершенным, что и государство с партией, монополизировавшей власть?

Я думаю здесь об исследовании политических партий, проведенном Симоной Вейль. Она советовала запретить все партии, чтобы вернуть демократии ее чистоту. Жан-Жак Руссо безоговорочно осуждал фракции, частичные и односторонние объединения граждан в рамках Республики. По его мнению, подлинной демократии не свойственно соперничество убежденно оппозиционных группировок. А я изобразил множественность партий как одну из основ конституционно-плюралистических режимов. Не в моих намерениях отрицать недостатки, свойственные партиям. Если я и готов защищать партии вообще, то лишь потому, что не состою ни в одной. Для меня важна их отвлеченная правомерность, даже если я вижу частные недостатки. Если вообразить людей иными, чем они есть, вполне мыслим режим со свободными выборами и со свободой дискуссий, где механический характер выборов, всегда неприятный и зачастую скверный, не оказывает влияния на избирателей. Партии, так сказать, продуцируют демагогию, вынуждают своих членов не выходить даже в мыс-

лях за некие пределы, не выступать в защиту непартийных интересов. Любому политику известно, что невозможно быть одновременно членом партии и ученым, и это так или иначе сводится к признанию: партиец не всегда в состоянии говорить правду. Принципиальность в духе Симоны Вейль, убежденность в том, что всякое отклонение от истины — абсолютное зло, приводят к безоговорочному осуждению свары, которую называют партийной борьбой. Это не избавляет от необходимости понимать черты, соответствующие сути современных многопартийных обществ.

Во-первых, следует наладить соперничество. Я уже говорил о конкуренции и о монополии. Используя параллель с экономикой, я предлагал допустить, что современным экономическим обществам свойственна конкуренция в большинстве областей. Политическое функционирование конституционно-плюралистических режимов — это организация соперничества, причем и организация, и соперничество неизбежны в наших обществах, так как уже немыслимы правители, ниспосланные Богом или традицией. Раз больше нет правителей, законных по праву рождения, то откуда возьмутся законные правители, если не в результате конкуренции? Если она не организована, она приведет к произволу и насилию.

Во-вторых, важнейшую роль играет потенциальное участие всех граждан в политической жизни. Современные выборы, возможно, всего лишь карикатура на идею участия граждан в делах государства, но в любом случае они остаются символом того, что может воплотиться в жизнь.

Важным в многопартийном режиме является и свобода обсуждений всего, что надлежит предпринять, и, конечно же, модификаций конституции. Думаю, предоставление права участвовать в обсуждении всем, кому этого хочется, соответствует сути наших обществ и призванию человека. Я не забываю об остроумном возражении Поля Валери: политика в течение долгого времени была искусством мешать людям интересоваться тем, что их волнует, теперь же она превратилась в искусство расспрашивать их о том, чего они не знают. Афоризм — блистательный, но если

не докучать людям расспросами, они навсегда останутся в неведении. Режим такого рода вселяет надежду на то, что расспросы когда-нибудь сделают граждан менее невежественными.

Свободные дискуссии затрагивают несколько взаимосвязанных тем. Это и распределение ресурсов сообщества, и организация труда, и структура политического режима, и, наконец, интересы данного сообщества в сопоставлении с другими.

Граждане могут разумно и гласно обсуждать распределение ресурсов сообщества или организацию труда. Трудно, к сожалению, обсуждать проведение внешней политики.

Конституционно-плюралистические режимы более соответствовали бы своей сути, если бы способ отбора правителей и сама конструкция казались всем более приемлемыми.

Гласное обсуждение управления экономическим режимом не только разумно, но и способствует эффективности. Зато во время смут, когда интересы одного сообщества противопоставляются интересам других, любое действие может быть сковано именно вследствие того, что каждое решение гласно оспаривается.

Все эти явления (да и множество других) связаны с человеческой природой и чертами современного общества, и мне не кажется, что они подрывают доверие к взглядам, которые я собираюсь отстаивать. В современных обществах я не вижу возможности налаживать соревнования, обеспечивать всем участие в выборах и дискуссиях, не нарушая принципов нашей цивилизации.

Теперь перейдем ко второму возражению, относительно особых ценностей, присущих режимам с единовластной партией.

В таких случаях чаще всего говорят о подлинной свободе, в отличие от свободы формальной, и о создании нового человека в результате построения социализма.

Слово «свобода» имеет много значений. По Монтескье, свобода означает безопасность, гарантию того, что граждан не потревожат, если они соблюдают законы. Далее, свобода означает для граждан право придерживаться приемлемых для них мнений

обо всем или о большинстве вопросов, причем государство не навязывает какие-либо мнения. Для Руссо свобода означает участие в делах сообщества, в назначении правителей, причем отдельный гражданин, подчиняющийся государству, должен испытывать такое чувство, будто он подчиняется только самому себе.

В политической философии эти три представления считаются классическими. Я добавлю еще два.

Тот, кого с юных лет преследует чувство, что он заперт в клетке жизни без всякой надежды на изменение своего положения, освобождение и какую-то более высокую ступень в обществе, может счесть себя несвободным. В наше время свобода предполагает какой-то минимум социальной подвижности.

Наконец, в своей работе человек должен чувствовать, что с ним обращаются справедливо и он не во власти произвола, что за свои усилия он получает пропорциональное вознаграждение.

Конечно, чувство свободы в конкретном смысле слова определяется многими обстоятельствами.

Вполне могу представить, что советский гражданин, получавший стипендию при обучении в среднем, а затем в высшем учебном заведении, поднявшийся по ступенькам социальной иерархии и сегодня занимающийся делом, которое приносит ему удовлетворение, чувствует себя свободным, хотя, возможно, он не пользуется полной безопасностью или правом оценивать как угодно марксистскую философию. Восхождение по ступеням социальной лестницы (или надежда на это) может возбудить в нем чувство гордости, даже если у него нет иных форм свободы.

Чувство свободы определяется и представлением о справедливости и несправедливости. Когда рабочий считает частную собственность злом, а прибыли крупных фирм — результатом эксплуатации, то даже наслаждаясь безопасностью, правом читать по утрам «Юманите» и бранить правительство, он, вероятно, полагает, что в какой-то мере лишен свободы. Чувство свободы не пропорционально ее объективным гарантиям, если брать слово «свобода» в трех его первых значениях.

Два последних значения слова «свобода» я привел, чтобы показать: в критике конституционно-плюралистических режимов есть доля истины. Приходится слышать, что конституционные свободы важнее для представителей привилегированных классов и, в частности, интеллигенции, чем для простых граждан, что конституционно-плюралистические режимы лишают народные массы тех двух последних форм конкретной свободы, каковыми являются сознание заслуженности своего места в обществе, справедливости вознаграждения за свой труд — и надежды на социальный успех.

Безопасность, свобода мысли и участие в реализации верховной власти оказываются недостаточными. Конституционно-плюралистические режимы не являются гарантами всех свобод. Но это не означает, что у слова «свобода» другой смысл в режимах с единовластной партией, которые тоже не всегда обеспечивают рабочим свободу труда и справедливость его оплаты. Не думаю, чтобы хоть один теоретик коммунистической партии всерьез полагал, будто безопасность гражданина, свобода мысли и участие в реализации верховной власти не являются полноценными формами свободы. Зато теоретики указывали (порою справедливо), что в конституционно-плюралистических режимах не всегда гарантируются какие-то иные аспекты свободы.

Из данного спора следует, что в режимах с единовластной партией нет особого понимания свободы, отличного от того, которым пользуются режимы конституционно-плюралистические. Неверно, что смысл слова «свобода» различен по разные стороны «железного занавеса». Верно только, что до сих пор все свободы никогда не гарантировались одновременно всем гражданам. Каждый теоретик поет хвалу своим взглядам, выделяя то, что дает его режим и в чем отказывает другой. Подобные споры о достоинствах и недостатках режимов понятны и уместны.

Возможна ли философская концепция свободы, которая оправдала бы выбор в пользу определенного режима,— в частности, режима с единовластной партией? Не думаю. Философы охотно объясняют, что высшая свобода сливается с разумом. Став разумным, человек поднимается над конкретикой и дости-

гает некоей всеобщности. Но, как сказали Кант и Огюст Конт, такое воспитание разума непременно проходит через подчинение труду и закону, и оно обязательно везде и всегда.

Лично мне не кажется, что в индустриальных обществах есть режим, который и в самом деле создает нового человека. Будучи обществами наслаждения, индустриальные общества не могут не пробуждать у граждан индивидуальных интересов и, как сказали бы моралисты прошлого, эгоизма. Ограничению доходов членов коммунистической партии был быстро положен конец. Ленин вначале ввел правило, согласно которому аристократ режима — член коммунистической партии — не имел права получать заработную плату выше рабочего. Но иерархия заработной платы была восстановлена, поскольку неравенство в вознаграждении за труд было сочтено технически необходимым для функционирования промышленной экономики. Можно ли предположить, что режим с единовластной партией создает нового человека благодаря своей идеологии? Мне кажется, подобные режимы окажутся не в состоянии пропагандировать материалистическую веру так, чтобы устранить религии.

Будет ли этот гипотетический «новый человек» (не имеющий права уподобиться в эгоизме своему ближнему из буржуазных стран) новым в силу того, что принимает государственное учение? Такое принятие — постоянное и всестороннее — в конечном счете невозможно. Привлекательность учения, вызываемый им энтузиазм объясняются надеждами активистов. А если учение стало оправданием государственной практики, то несовпадение грандиозных ожиданий и действительности хоть и не принуждает к отказу от учения (можно полагать, что среди всех возможных режимов данный является наилучшим), но подтачивает веру в него. Человек, порожденный коммунистическим режимом,— не цельное существо, слившееся с определенным верованием и определенным обществом, а двойственная натура, он приемлет общие принципы с большей или меньшей убежденностью, зная, что можно, а что нельзя говорить с учетом реального положения дел. Это человек человечный, принадлежащий к индустриальным обще-

ствам, оснащенный учением, по отношению к которому он испытывает то скептицизм, то фанатизм.

Вот почему я не думаю, что противопоставление друг другу двух типов режима означает противопоставление двух идей, коренным образом отличных. Нет оснований предполагать, что современный мир раздирается двумя идеологиями, обреченными на постоянную борьбу. Можно попытаться установить различие между очевидными недостатками конституционно-плюралистических режимов и сущностным несовершенством режимов с единовластной партией. Но в некоторых обстоятельствах несовершенный по сути своей режим предпочтительнее режима, несовершенного в частностях. Иначе говоря, возможно, режимы и не сопоставимы с точки зрения их ценности, но это не дает научных или философских оснований диктовать действия, необходимые в какой-то данный момент. У политиков довольно причин, чтобы утверждать: нет истины, соотносимой с действием. Однако это не означает, будто философы не правы, напоминая, что режим, в котором царит мир, лучше режима, основанного на насилии.

XIX

Об исторических схемах

Конституционный режим как таковой предпочтительнее режима с единовластной партией, если только отдавать предпочтение свободе дискуссий, миру, а не насилию и войне. Тезис этот приводит, как я пытался показать, к выводу, что у режима с единовластной партией нет вообще собственных функций — даже создания нового человека или завоевания истинной свободы. В заключение мне хотелось бы остановиться на исторических схемах, дающих возможность рассмотреть в перспективе различные типы режимов. Я буду анализировать четыре основные схемы.

Первая (и самая модная ныне) описывает одностороннюю эволюцию по направлению к какому-то данному режиму. Она основана на понятии прогресса, венцом которого для марксистов становится режим советского типа, а для западных демокра-

тов — режим, сравнимый с западными. По мнению советских специалистов, будущее принадлежит коммунизму. Западные специалисты (и подчас даже западные марксисты, вроде Исаака Дойчера) считают, что по мере развития производительных сил и накопления капитала политические режимы приблизятся к западной модели. На мой взгляд, истинность этих двух тезисов не доказана.

Режим с единовластной партией может в каких-то обстоятельствах быть необходимым — например, для создания основ промышленности, но нельзя полагать, что он универсален. Все те функции, которые декларируются как присущие только ему, есть и у режимов другого типа.

Первая функция, о специфике которой охотно говорят,— первоначальное развитие производительных сил. Как известно, Маркс считал, что эту задачу выполняет капитализм. Опыт доказывает: накопление капитала и индустриализация осуществимы и вне капитализма.

Вторая функция — устранение классов, создание однородного общества. Если допустить, что классы существуют только при наличии частной собственности на средства производства, что классы отмирают, как только она исчезает, то соответственно для устранения классов необходима ликвидация частной собственности. Но такое утверждение, строго говоря, тавтологично, раз оно вытекает из самого определения. Приняв обычный смысл понятий «класс» или «разнородность», мы видим, что отмена частной собственности на средства производства оставляет нетронутыми значительные различия в образе жизни социальных групп. Общество, где образ жизни, образ мыслей для всех одинаковы,— цель, достижимая и в режимах с частной собственностью, и в режимах с единовластной партией. Основное условие — развитие средств производства, но можно сказать, что необходимое условие заключается и в экономике изобилия, к которой режим западного типа приводит не менее успешно, чем режим восточного типа.

И последнее. Пролетариат — и только он — мог бы, в историческом плане, создать бесклассовое общество. Подобная аргументация кажется мне лишенной какой бы то ни было ценности уже потому,

что в обществах советского типа пролетариат эту функцию не выполняет. Она отведена его представителю — партии. Значит, следовало бы доказать, что функции партии универсальны, но и тогда мы вновь стоим перед необходимостью доказать, что для достижения венца исторического развития требуется режим с единовластной партией.

Предположим, мы достигли того, что называют конечным состоянием однородного общества. Будет ли политика иметь какой-то смысл в однородном обществе и в обществе изобилия? Во всяком случае, для отмирания политики потребовалось бы, чтобы оставалось только одно, всемирное государство — а не множество сообществ. Но в едином сообществе, вероятно, сохранится соперничество из-за тех благ, которые не могут доставаться сразу всем, например — главенствующего положения в руководстве государственными делами. Продолжалась бы, надо полагать, и борьба за руководящие позиции, за власть, за славу. В однородном обществе политика в большей степени уподоблялась бы той, что свойственна конституционным, а не единовластным режимам, поскольку политика мира, как мне кажется, предпочтительнее политики насилия и выглядит более естественной в спокойное время.

Что касается другого тезиса, в соответствии с которым наследницей единовластной партии станет конституционность, то он исходит из необыкновенно оптимистического предположения: одна и та же политическая надстройка должна быть присущей всем индустриальным обществам, и в условиях индустриальной цивилизации ей соответствует один — и только один — режим. Я считаю этот тезис необоснованным. У политических режимов индустриальных обществ будут какие-то общие черты: расширение административной сферы, рост бюрократии,— но чего ради все индустриальные общества должны выбирать между крайней бюрократической централизацией советского типа — и крайним плюрализмом автономных сил западного типа?

Оставим в стороне оба варианта односторонней эволюции и рассмотрим еще одну схему, близкую социологии Макса Вебера.

Каждая разновидность экономики, каждый тип

экономического развития более или менее благоприятны для какого-то определенного режима. Можно установить взаимосвязь какого-то этапа экономического развития и вероятности возникновения определенного режима.

Нам известны все обстоятельства, благоприятные для режима с единовластной партией. Это — периоды быстрого накопления или же перехода от традиционного общества к обществу промышленному. Аристотель считал переходные этапы благоприятными для тирании. По его мнению, древняя тирания — режим, утверждавшийся обычно тогда, когда патриархальное общество превращалось в общество торговое. В периоды социальных потрясений напряженность между группами принимает формы насилия: трудно принудить представителей разных классов к мирному сотрудничеству, еще труднее сделать так, чтобы государство оставалось нейтральным, а граждане смирились с безымянной и разумной властью. В подобных обстоятельствах единовластному режиму свойственно много функций: он заменяет частное предпринимательство, занимается идеологическим самооправданием, обрекает на жертвы и возвещает изобилие (лучший способ сделать жертвы приемлемыми — обещать, что в будущем бедность уступит место абсолютному богатству), создает моральный и социальный порядок в обществе, утратившем свою организационную структуру, выступает в качестве орудия временного сплочения тогда, когда отдельные лица уже не в состоянии ни жить в прежних условиях, ни мириться с медлительным формализмом парламентских процедур.

Ни одна промышленно развитая страна до сих пор не наделяла себя по доброй воле режимом с единовластной партией коммунистического типа. Но вряд ли стоит из этого делать какие-либо выводы о будущем. В современном мире коммунистические режимы могут устанавливаться извне, благодаря идеологической «заразе», без всякого завоевания. И в промышленно развитых обществах рождались режимы с единовластной партией. Так, гитлеровский режим стал наследником Веймарской республики. Уязвимость конституционных режимов проявляется не в одном, а в двух обстоятельствах. Опасность возни-

кает на начальном этапе индустриализации и в любую кризисную пору. Между двумя войнами мы пережили кризисы экономического порядка, а со времени второй мировой войны нам ведомы кризисы иного рода. Такой конституционно-плюралистический режим, как французский, не застрахован от неожиданностей.

Другая схема — разнообразие режимов из-за многообразия обстоятельств.

Сразу по достижении бывшими колониями независимости в них возникали режимы, в значительной степени конституционные, но не плюралистические, если иметь в виду многопартийность. Это были конституционные режимы с партией, осуществлявшей единовластие на деле, но не по праву. Я думаю о Тунисе, управляемом на основе Конституции, но имеющем только одну политическую партию, потому что до независимости именно она представляла и воплощала волю народа. Один тунисец, слушающий данный курс, недавно спросил меня, должны ли в фактически однопартийном режиме непременно развиваться патологические феномены, которые я счел неизбежными в режимах с партией, монополизировавшей власть. Я ответил ему, что в этом нет, как мне думается, ни малейшей необходимости: дело в том, что фактическая однопартийность на этапе, начинающемся сразу после борьбы за независимость, является почти естественной. Такой же режим существовал и в Турции после революции Ататюрка.

Есть еще одна категория стран, о которых мне хотелось бы сказать без всякого желания подвергнуть их критике. Там не установились ни конституционный плюрализм, ни монопольное право на идеологию. Я думаю об Испании и о Португалии. Это — невысокоразвитые промышленные страны. Они — исключения из общего хода политической эволюции в Европе. Они никоим образом не относятся к режимам с единовластной партией: ни к фашистским, ни к коммунистическим, там провозглашается приверженность католическому мировоззрению, но допускается многообразие сил, хоть и не многопартийность. В какой мере можно сочетать плюрализм семейных, региональных и профессио-

нальных организаций с недопущением многопартийности? Вопрос не решен, о чем свидетельствуют нынешние выборы в Португалии. В данном случае это не режим с единовластной партией, где оппозиционеры по любому поводу вынуждены кричать о своей восторженной поддержке. В Португалии допускается возможность одного кандидата от оппозиции, однако шансы его равны нулю. Там нет места для открытого соревнования, но это и не режим с единовластной партией, где все обязаны присягать на верность учению, в истинность которого не верят.

Третий случай — революционные движения и режимы, к которым не применим эпитет «идеологические», или движение с националистической идеологией. Я говорю о странах Ближнего Востока, в частности о Египте. Они не относятся к режимам с единовластной партией. Но их режимы нельзя назвать и конституционно-плюралистическими. Государство не допускает организованной оппозиции, провозглашает приверженность определенной идее и в этом смысле не является ни нейтральным, ни светским, как это бывает в государстве партий. Взгляды, утверждаемые носителями власти, не похожи на систематически навязываемую всем идеологию. Их выражение — воля, цель, которую ставит перед собой нация,— что делает невозможной конституционное соперничество партий. Но это вовсе не значит, что постепенно разовьются террор или идеологический догматизм. Мне представляется, что тут уживаются традиция и революция. Эти страны находятся на том этапе революционного преобразования, который не следует отождествлять с переходным от традиционных обществ к индустриальным, что мы пережили на Западе. Они проходят через двойную революцию: индустриализацию и вместе с ней формирование нации. Совмещение двух революций — типичное явление.

Четвертая схема — цикл, о чем так часто писали классические авторы.

Примем за исходный пункт конституционный плюрализм. Схема выглядит так: режим впадает в анархию, из которой в ходе революционного процесса образуется однопартийный режим, воодушевляемый догматической идеологией. По мере властвования

единственной партии идеологическая вера изнашивается, пыл угасает, и режим, оставаясь однопартийным, сближается с бюрократическим самодержавием, причем автократия все менее догматична. Рационализированная бюрократия, эта единая партия, однажды решает, что фундамент общества достаточно крепок, чтобы не препятствовать развитию в рамках определенных правил соперничества между партиями, и тут более или менее все возвращается на круги своя.

Такой цикл легко себе представить. Его очерк вы найдете в одном из примечаний в книге Эрика Вейля «Политическая философия». Пока нам не удалось наблюдать завершение полного цикла. Действительно, Веймарская республика впала в анархию, если принять этот термин для ее последних лет, но затем власть была захвачена идеологической партией, утвердился режим с единовластной партией, взявшей на вооружение некую теорию. А вот следующий этап — бюрократизация и рационализация однопартийного режима — так и не завершился. Что касается России, то исходным моментом здесь был не конституционный плюрализм, а традиционный самодержавный режим, свергнутый именно тогда, когда он пытался вступить на путь конституционного развития. Однопартийный режим в Советском Союзе, возможно, находится на стадии превращения в рациональную бюрократию, но ничто пока не говорит о том, что он отказался от идеологического догматизма, и совершенно не очевидно, что такой отказ неизбежен.

К несчастью, либерализация режимов с единовластной партией не предусмотрена заранее в книге Истории. К счастью или к несчастью, но не кажется неотвратимым и наступление анархии в конституционно-плюралистических режимах. Цикл возможен, однако вряд ли необходим.

Разбор указанных схем приводит к двум важнейшим положениям.

Различные этапы экономического роста более или менее благоприятно сказываются на том или ином режиме, но, если забыть об абсолютном изобилии, ничто не доказывает, что в индустриальных обществах возможен только один тип политической над-

стройки. Можно представить себе высокоразвитую индустриальную цивилизацию с разнообразными режимами.

Ныне нации и экономика принадлежат в разных странах к настолько несхожим эпохам, что налицо — крайнее разнообразие политических структур. Государства, достигшие лишь национального уровня, по-видимому, не могут допускать соперничество партий, которое тяжким бременем ложится уже и на развитые страны. Государства, проходящие начальные стадии индустриализации, вероятно, тоже оказываются в затруднительном положении, когда речь заходит о том, чтобы установить конституционно-плюралистические режимы, то есть допустить борьбу соперничающих партий. Не думается, что есть хотя бы один неизбежный цикл, подчиняющийся каким-то закономерностям.

Заканчивая главу и книгу, я хотел бы перейти к соображениям, вначале самым общим, а затем весьма конкретным, и вновь обратиться к моим любимым авторам — Алексису де Токвилю и Марксу, после чего завершить разбор положения во Франции.

Вначале сошлемся на Токвиля и на Маркса, которые дали мне исходную точку в разработке социологии индустриальной цивилизации. Мне кажется, что довольно легко зафиксировать как их открытия, так и их упущения.

Аналитик Токвиль выявил присущую всем современным обществам тенденцию к демократизации наряду с постепенным стиранием различий социального статуса, но недооценивал — а может быть, и просто игнорировал — индустриальную цивилизацию, в которой усмотрел лишь одну из форм торговых обществ. Его мысль — еще политическая по своей сути. Он поражен исчезновением сословий старой Франции. Исчезновение аристократии повлекло за собой установление общества, где на первом месте экономическая деятельность, поскольку обеспечивает богатство и престиж. Токвилю так и не удалось четко выявить своеобразие современных обществ: я имею в виду способность производить, благодаря которой эти общества в состоянии постепенно смягчить не

только различия социального положения, но и различия в доходах и образе жизни.

Маркс прекрасно видел специфику наших обществ. Он обнаружил — и в этом его заслуга,— что из-за необычайного развития производительных сил современные общества нельзя соизмерять с обществами прошлого на основе одних и тех же критериев. В «Коммунистическом манифесте» Маркс пишет, что за несколько десятилетий образ жизни и средства производства человечества изменились сильнее, чем за предшествующие тысячелетия. Маркс почему-то не сделал всех возможных выводов из анализа индустриального общества. Вероятно, потому, что был и памфлетистом, и политиком, и ученым одновременно. Как памфлетист он возложил ответственность за все грехи современного общества на то, что не любил, то есть на капитализм. Он объявил капитализм виновным в том, что можно объяснить ролью современной промышленности, бедностью и начальными этапами индустриализации, а затем вообразил режим, где будет покончено со всем тем, что казалось ему омерзительным в современных ему обществах. Прибегнув к крайнему упрощенчеству, он заявил, что для ликвидации всех неприятных и ужасных черт индустриального общества необходимы национализация орудий производства и планирование.

Такой прием действен с точки зрения пропаганды, но едва ли оправдан при научном анализе. Если говорить яснее, Маркс переоценил значение классовых конфликтов. Считая, что капитализм не в состоянии распределить между всеми плоды технического прогресса, Маркс возвестил о грядущих апокалипсических потрясениях, которые, как он надеялся, должны привести сразу к устранению классовых различий и проявлений несправедливости, свойственных капитализму.

Нынешний мир явно не согласуется ни с одной упрощенной схемой. Можно повторить, что у индустриальных обществ есть выбор между либеральной демократией и демократией тиранической. Так, на основе противопоставления друг другу двух типов современных режимов, происходит возвращение к альтернативе, сформулированной Токвилем.

Можно также было бы сказать, что у индустриальных обществ есть выбор между двумя типами экономической организации: режимом рынка и частной собственности — и режимом общественной собственности и планирования. Мы находимся на стадии неравномерного развития, как экономического, так и национального.

В развитых странах идет несколько анахронический конфликт идеологий. Он связан с наследием, оставленным мифологиями XIX века. Общества, полагающие, что они наиболее враждебны друг другу, то есть советские и западные, меньше отличаются друг от друга (при условии промышленного развития), чем от обществ, которые только начинают промышленный путь. Вот почему мне кажутся тщетными попытки предвидения. Так или иначе, слишком много факторов, от которых зависит будущее экономических режимов, чтобы угадать, какой именно тип режима возьмет верх. Даже если предположить, что есть исходная идеальная схема развития индустриального общества и неизбежна победа режимов, где царит мир, этого все равно недостаточно. Может восторжествовать режим, который окажется просто сильнее в битве между государствами. Не доказано, что режим, более соответствующий призванию человечества, вместе с тем лучший и для ведения войны, «холодной» или «горячей».

Оставим прогнозы и ограничимся констатацией: альтернативы по-прежнему существуют, диспропорции экономического и социального развития обрекают нынешний мир на разнообразие, в рамках которого идеологические конфликты частично оказываются конфликтами мифов, а мифы долго могут выдерживать конфликт с действительностью.

Перейдем наконец к нынешнему положению во Франции.

Разбирая несколько месяцев тому назад разложение французского общества, я выделял то, что, на мой взгляд, было определяющей чертой всего сложившегося положения; часть французского сообщества отказывалась допускать возможность перемен в алжирской политике Франции.

Вот уже два года непрестанно ведется кампания по убеждению французской общественности в том,

что в несчастьях страны в основном виновата система функционирования Республики. Война в Алжире тянется якобы оттого, что французские правительства бездарны, а государство — слабое. Я говорил вам, что режим — на грани краха, он утратил свой престиж, ослаблен, его недостатки бросаются в глаза.

На протяжении примерно двух веков ни один французский режим не укоренился настолько, чтобы противостоять любому кризису, поражающему страну. Неуверенность французской общественности в законности режима неизбежно приводит к тому, что всякий раз, когда стране предстоит решить трудную проблему, предметом нападок становится сама организация государственной власти. Франция переживает, особенно в последние два года, тяжелый кризис, и, как обычно, ее раздирают противоречия, касающиеся понимания того, что хорошо и что плохо в настоящем и будущем всего общества. Некоторые французы считают: в Алжире Франция отстаивает свой последний шанс на величие. Будучи уверенными, что утрата Империи не сулит Франции ничего хорошего в будущем, они оказываются в плену воззрений, которые я называю испанским комплексом. Но многие полагают, что призвание Франции обязывает ее не препятствовать борьбе бывших колоний за независимость. Страстное стремление сохранить колонии является анахронизмом в условиях XX века, когда колониальное владычество из вероятного источника прибылей превратилось в бремя. Сторонники этой точки зрения свободны от испанского комплекса и черпают свою уверенность в голландском примере. Впрочем, все одинаково убеждены в своей правоте.

Впервые за долгое время на кризис национального сознания накладывается кризис сознания, который поразил армию. Начиная с 18 брюмера, французская армия была на стороне сил порядка. Несмотря на множество государственных переворотов и революций, она никогда не была непосредственно повинна в прекращении действия законов. Не армия совершала революции 1830 или 1848 годов или даже государственный переворот Наполеона III — ему пришлось заняться поисками генера-

лов, которые согласились бы на его затею. На протяжении всей истории III Республики армия оставалась дисциплинированной, хотя военные руководители никогда не испытывали восторга по поводу республиканского режима, в чем, кстати, походили на многих других французов.

Последние годы Конституция оставалась в силе,— но лишь потому, что парижские правительства пресмыкались перед французским меньшинством в Алжире. От левых сил (не коммунистов) и до крайне правых все политики проводили курс, который примерно соответствовал воле алжирских французов и пользовался поддержкой всех так называемых национальных партий. Правда, многие политики испытывали сомнения в правильности такой политики, но выражали их частным образом.

В течение года некое меньшинство внутри парламентского большинства бросало всем прочим парламентариям двойной вызов. Во-первых утверждалось, что без него нельзя править, так как за неимением этих 50—60 голосов парламентское большинство должно включить в себя коммунистов. Во-вторых, представители меньшинства заявляли, что любое изменение курса в Алжире чревато бунтом алжирских французов, к которому присоединится армия.

События подтвердили это, и возникает вопрос: не те ли, кто пугал этой опасностью, содействовали ее реализации? Оставим вопрос историкам. Выбор пал на человека, чьи высказывания и статьи давали основания предположить, что он намерен слегка изменить политический курс. Этого оказалось достаточно, чтобы произошли события, которых последние два года опасался каждый.

Встают два вопроса, важнейшие для будущего, которое ожидает французский конституционно-плюралистический режим. Они напоминают об условиях функционирования конституционного режима. Возможно ли и нормально ли, чтобы меньшинство нации навязывало свою волю всем?

Уцелеет ли конституционная законность и произойдет ли законный переход от этого режима к другому? В XX веке Франция продемонстрировала искусство законных государственных переворотов

или, если так можно выразиться, искусство придавать государственным переворотам законный вид.

Нынешнее положение характеризуется невообразимой мешаниной законности и беззакония*. Картину усложняет человек, которому приписывают самые различные намерения. В Римской республике было установление, которое, очевидно, отвечает нуждам французов,— диктатура. В Риме она была противоположностью тирании: какому-то человеку вручалась вся полнота власти, однако в соответствии с законом и на ограниченный срок. Можно предположить, что тот, о ком я думаю, возьмет на себя функции римского диктатора. Кандидат в диктаторы, то есть кандидат на всемогущество в рамках закона, возможно, захочет не продлевать существование нынешнего режима, но преобразить его. Следовательно, если вновь обратиться к античным понятиям, он должен быть не только диктатором, но и законодателем.

До недавних пор он был надеждой и нескольких «ультра», и многих, называющих себя либералами. Вот уже несколько дней, как в Алжире его приветствуют те, кто вчера еще ненавидел, и страшатся люди, призывавшие его всей душой. Поскольку он окутывает свои действия тайной (если верить, ему необходимой), то неизвестно, чьи надежды осуществятся. Трудно предположить, что в тот день, когда этому человеку придется действовать, все противоборствующие партии будут довольны.

Вернемся к общим положениям. В индустриальном обществе государственные перевороты и прекращение действия законов чаще всего — катастрофы в масштабе всей страны. Когда гражданское правительство уже не в силах принимать решения и навязывать свою волю, единство родины оказывается в опасности. Те, кто противятся ныне конституционным процедурам (и неважно, насколько они искренни), привержены скорее традиционным ценностям, чем надеждам на будущее Франции. Кризис, который мы переживаем, вероятно, нельзя было предотвратить. Не могла больше продолжаться политика, которую официально поддерживали все, а частным образом

---

* *19 мая 1958 г.*

критиковал каждый. Из нынешнего зла, возможно, родится добро.

Несмотря ни на что, переживаемые нами события подтверждают: конституционно-плюралистический режим, который, я полагаю, единственный подходит индустриальной цивилизации во Франции, еще не крепок, и общество, раздираемое такими же глубокими противоречиями, как и в прошлом веке, располагает лишь одной формой защиты от угрозы гражданского насилия. Эту форму несколько месяцев назад я назвал «шелковой нитью законности». Шелковая нить еще не порвалась. Да будет угодно небу, чтобы этого не случилось никогда!

Коротко об авторе

Французский философ, политолог, социолог и публицист Реймон Арон родился 14 марта 1905 года в Париже.

В 1924 году он поступает в Высшую педагогическую школу, где знакомится, в частности, с Жан-Полем Сартром. В 1930 году читает лекции в Кельнском университете, потом — с 1931 по 1933 год преподает в Берлине. В это же время углубленно изучает немецкую философию. Вернувшись из Германии, Арон в 1933—1934 годах преподает в университете в Гавре, сменив на должности преподавателя Сартра. В 1934—1939 годах работает в Париже секретарем Центра общественной документации Высшей педагогической школы. В 1938 году он защищает две диссертации: «Введение в философию истории» и «Критическая философия истории».

Когда начинается война, Арон вступает в ряды «Сражающейся Франции», ему поручают возглавить редакцию газеты «Свободная Франция». После войны он долгое время совмещает преподавательскую и научную работу с карьерой политического обозревателя в различных периодических изданиях: «Комба» (1945—1946 гг.), «Фигаро» (1947—1977 гг.), «Экспресс», (1977—1983 гг.). На страницах этих и других газет и журналов, а также в университетских аудиториях Арон активно участвует в дискуссиях по проблемам войны и мира, марксизма и неомарксизма, гонки вооружений и мирного сосуществования.

Убежденный антикоммунист, Арон издает в 1955 году нашумевшую книгу «Опиум для интеллигенции», в которой содержится острая критика марксизма, продолженная позже практически во всех работах ученого.

Свою научную деятельность Арон посвящает двум темам: философии истории («Измерения исторического сознания», 1961; «Эссе о свободах», 1965; «Важнейшие этапы социологической мысли», 1967) и будущему человеческого общества. Причем будущее он рассматривает с самых разных точек зрения: с дипломатически-стра-

тегической («Мир и война между нациями», 1962; «Великий спор», 1963; «Размышления о войне: Клаузевиц», 1976), философской («Разочарование в прогрессе», 1963; «В защиту упадочной Европы», 1977) и экономико-политической («Восемнадцать лекций об индустриальном обществе», 1962; «Классовая борьба», 1964; «Демократия и тоталитаризм», 1965, и др.).

Откликается он и на наиболее важные события современности, как правило, остро и полемично («От одного святого семейства к другому. Очерки о воображаемых марксизмах», 1969; «Неуловимая революция. Размышления о майской революции», 1969, и др.).

Несмотря на сложность многих работ Арона, все они расходились большими тиражами во всем мире и получили высокую оценку не только научных кругов, но и самых широких слоев интеллигенции. Бестселлером стала и его последняя книга «Мемуары: 50 лет политических размышлений», вышедшая незадолго до смерти ученого.

Скончался Реймон Арон в Париже 17 октября 1983 года.

Содержание

Режимы, которые мы выбираем. От издательства/5

ВВЕДЕНИЕ/7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПОНЯТИЯ И ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

I. О политике/21

II. От философии к политической социологии/33

III. Основные черты политического порядка/45

IV. Многопартийность и однопартийность/61

V. Главная переменная величина/74

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

КОНСТИТУЦИОННО-ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

VI. Анализ главных переменных величин/91

VII. Об олигархическом характере конституционно-плюралистических режимов/106

VIII. В поисках устойчивости и эффективности/121

IX. О разложении конституционно-плюралистических режимов/135

X. Неизбежно ли разложение/149

XI. Разложение французского режима/165

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

РЕЖИМ С ПАРТИЕЙ, ЕДИНОЛИЧНО ВЛАДЕЮЩЕЙ ВЛАСТЬЮ

XII. Шелковая нить и лезвие меча/183

XIII. Советская Конституция: фикция и действительность/196

XIV. Идеология и террор/213

XV. О тоталитаризме/228

XVI. Советский режим и попытки его осмысления/242

XVII. Куда движется советский режим?/256

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XVIII. О несовершенстве всех режимов/273

XIX. Об исторических схемах/287

Коротко об авторе/301

РЕЙМОН АРОН

ДЕМОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Редакторы А. Ю. Гаврилов, Д. М. Фельдман
Редактор-организатор В. К. Черникова
Художественный редактор Н. С. Антонов

Арон Р.

А 84 Демократия и тоталитаризм. Пер. с франц.— М.: Текст, 1993.—303 с.

ISBN 5-87106-073-0

Один из наиболее известных трудов знаменитого французского политолога и философа долгое время был закрыт для нашего читателя. Работа Р. Арона особенно актуальна сейчас, когда перед нами открыты оба пути, обозначенные в названии книги, которая впервые издается в нашей стране.

ББК 66.2(0)

Подписано в печать 22.06.93. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 15,40. Тираж 50 000 экз. Заказ 6815.

Издательство «Текст»; 125190, Москва, а/я 89

Литературно-издательская студия «РИФ»
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12 а

Типография издательства «Самарский Дом печати»
443086, Самара, проспект Карла Маркса, 201

800 г

ТЕКСТ